НЕКРАСОВ





БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

БОЛЬШАЯ СЕРИЯ

ЛЕНИНГРАД 1949

Н. А. НЕКРАСОВ

СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья
А. М. Еголина

Подготовка текста и примечания
К. И. Чуковского

Н. А. НЕКРАСОВ

Творчество и литературно-общественная деятельность Н. А. Некрасова имели выдающееся значение в освободительном движении России. Стихи Некрасова были источником воспитания и воодушевления ряда поколений революционных борцов. Н. Г. Чернышевский писал: «Его слава будет бессмертна... вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов».

В эпоху 60—70-х годов, наряду с Чернышевским и Добролюбовым, Некрасов был «властителем дум» передовых людей. Некрасов изображает революционеров как «народных заступников», которые ведут борьбу за свержение политического и экономического гнета, опираясь на крестьянские массы. Революционный интеллигент Гриша Добросклонов спаян с крестьянской массой, он — «посланец» родной «вахлачины».

Поэзия Некрасова — знамя гражданской, высокоидейной русской литературы. А. А. Жданов в своем докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград» говорил: «Некрасов называл свою поэзию «музой мести и печали». Чернышевский и Добролюбов рассматривали литературу как святое служение народу. Лучшие представители российской демократической интеллигенции в условиях царского строя гибли за эти благородные высокие идеи, шли на каторгу, в ссылку. Как можно забыть эти славные традиции? Как можно пренебречь ими, как можно допустить, чтобы ахматовы и зощенки протаскивали реакционный лозунг «искусства для искусства», чтобы, прикрываясь маской безидейности, навязывали чуждые советскому народу идеи?!

Ленинизм признает за нашей литературой огромное общественно-преобразующее значение».[1]

Вопросы идейности искусства, партийности литературы, так оживленно обсуждающиеся в наше время, поднимают интерес к твор-

---

[1] Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Госполитиздат, 1946, стр. 26.

честву Некрасова, преисполненному мотивами борьбы за народное счастье, за «кровный союз» поэта с массами. Отмечая столетие со дня рождения Н. А. Некрасова, правильно сказал А. В. Луначарский: «Нет в русской литературе, во всей литературе такого человека, перед которым с любовью и благоговением мы склонялись бы ниже, чем перед памятью Некрасова».[1]

I

Николай Алексеевич Некрасов родился в местечке Немирове, Винницкого уезда, Каменец-Подольской губернии, 11 декабря 1821 года.[2] Отец его — Алексей Сергеевич Некрасов, офицер, владелец небогатого имения под Ярославлем; мать — Елена Андреевна Закревская, дочь помещика. Когда мальчику было около 3 лет, отец вышел в отставку и поселился с семьей в родовом имении Грешнево, близ Ярославля. Здесь-то и прошли детство и отрочество будущего поэта.

Вспоминая самые ранние свои впечатления, Некрасов всегда называет ярославскую деревню и волжскую природу:

— О Волга! .. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?

Учился Некрасов в Ярославской гимназии; учебными занятиями интересовался мало, но с огромным увлечением отдавался чтению книг и журналов. Отец отправил Некрасова в 1838 году учиться в Петербург, в Дворянский полк (закрытое военно-учебное заведение), но сын нарушил волю отца: он решил учиться в университете, так как любил литературу. Тогда отец отказал 17-летнему юноше в какой-либо материальной помощи, и Некрасов вынужден был несколько лет влачить жизнь столичного бедняка, выдерживая безмерно трудную борьбу за свое существование. Будущий великий поэт, достойный наследник Пушкина и Лермонтова, свой литературный путь начал как чернорабочий от литературы: писал рецензии, мелкие рассказы, куплеты для водевилей видных тогда литераторов и т. д.

В литературной жизни своего времени Некрасов занял одно из первых мест потому, что его талант питался передовыми идеями сороковых годов. Поэт в ту глухую эпоху решительно и до конца отстаивал кровные интересы русского народа. Именно Некрасов — в значительной мере благодаря влиянию Белинского — идеологически

[1] «Некрасов в русской критике». М., Гослитиздат, 1944, стр. 90.
[2] «Когда и где родился Некрасов?» Сообщение А. Попова. — «Литературное наследство», вып. 49—50. М., 1946, стр. 605—610.

и теоретически оказался подготовленным к той великой роли в литературе, которую он в полной мере сыграл спустя десятилетие, в обстановке большого общественного подъема, в окружении и при поддержке Белинского, Чернышевского и Добролюбова.

Некрасов несколько десятилетий являлся одним из фактических руководителей литературного движения в России. Он возглавлял лучшие журналы XIX века — «Современник» в течение двадцати лет и «Отечественные записки» в течение десяти лет. Особенно велика его роль в борьбе с царской цензурой за свободное печатное слово. Недаром Некрасов в глазах властей считался неблагонадежным человеком. Продажный журналист Фаддей Булгарин доносил начальству: «Некрасов — самый отчаянный коммунист: стоит прочесть стихи его и прозу в С.-Петербургском Альманахе, чтобы удостовериться в этом. Он страшно вопиет в пользу революции».[1]

1848—1855 годы были необычайно тяжелыми для передового русского общественного движения. «Темная, семилетняя ночь пала на Россию», — писал Герцен. Но, несмотря на чудовищные трудности, Некрасов сумел и в эту пору лихолетья сохранить передовое направление своего «Современника». В этом бессмертная заслуга Некрасова перед русским обществом. Свою работу в журнале, борьбу с царской цензурой Некрасов рассматривал как деятельность гражданина, как вид общественного служения.

Чтобы сохранить журнал и вместе с тем выдержать его демократическое направление, Некрасову приходилось жертвовать всем — и своими силами, и временем, и здоровьем, и даже прекращать свои занятия поэзией. В письмах Некрасова встречаются сетования, что ему некогда писать стихи. К тому же и добиться пропуска его стихотворений в печать было почти невозможно.

Его стихотворения сильно искажались цензурой. В 1847 году в письме к Никитенко поэт бросает замечание: «Нельзя ли напечатать прилагаемое стихотворение... Ей-ей — я наполовину вынул из него силы и желчи».

Не желая изменять демократическое направление своей поэзии, Некрасов предпочитал вовсе не писать стихов (так, в 1849 году им было написано только одно стихотворение).

В 1848—1851 годах он, в соавторстве с А. Я. Панаевой, написал большие романы: «Три страны света» в восьми частях и «Мертвое озеро» в пятнадцати частях.

Хотя Некрасов не придавал значения своей прозе, тем не менее его беллетристические произведения имели довольно широкое распро-

---

[1] «Некрасов в русской критике». М., Гослитиздат, 1944, стр. 7.

странение. Так, роман «Три страны света» переиздавался три раза — в 1849, 1851 и 1872 годах.

В 50-х годах Чернышевский и Добролюбов при прямом содействии Некрасова превратили «Современник» в боевой орган революционной демократии. Ленин отмечал, что Чернышевский умел «и подцензурными статьями воспитывать настоящих *революционеров»*.[1] В этом известная доля заслуги принадлежала и Некрасову. «Некрасов, — писал Чернышевский в конце 1888 года, — мой благодетель. Только благодаря его великому уму, высокому благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность писать, как я писал. Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее; но все мои заслуги перед нею — его заслуги».

Некрасов не отвернулся от своего друга после его ареста и заточения и всегда оказывал значительную материальную помощь его семье.

В период временного прекращения «Современника» в 1862 году Некрасов переживал трудные дни. Нападки многочисленных врагов из реакционного лагеря усилились. Стали распускать нелепый, клеветнический слух, что Некрасов отошел от своих прежних убеждений. Как всегда, поэт не защищался, не публиковал опровержений, которые, все равно, трудно было бы провести через цензуру. Вместо открытых выступлений Некрасов, оставшийся без друзей и журнала, изливал свою горечь и досаду в частных письмах. В письме от 3 ноября 1862 года он говорит:

«Про меня здесь распустили слухи, что я отступился от прежних сотрудников, набираю новых, изменяю направление журнала, все это завершается прибавлением, что я предал Чернышевского и гуляю по Петербургу».

И только в качестве утешения Некрасов мог возлагать надежды на будущее: «Начнет выходить «Современник», дело разъяснится для публики. . .»

Действительно, Некрасов и без Чернышевского издавал «Современник» (после восьмимесячного запрещения), продолжая линию великого революционера-демократа. Верность направлению Чернышевского подчеркивалась самим фактом сотрудничества в журнале петропавловского узника: начиная с мартовского номера 1863 года «Современник» печатал знаменитый роман Чернышевского «Что делать?», развернувший программу борьбы, как ее понимал великий учитель демократической интеллигенции шестидесятых годов.

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. V, изд. 4-е, стр. 26.

С возобновлением «Современника» Некрасов вновь вступил в единоборство с цензурой. В этой изнурительной борьбе поэт руководился исключительно общественными мотивами: отстаиванием революционно-демократического направления в литературе.

В письме к своему брату Некрасов жаловался: «Я, по обыкновению, провожу время в треволнениях». А волноваться было из-за чего! Условия работы в журнале становились все труднее и труднее. Реакция усиливалась. Гонения на журнал стали чудовищными. В 1865 году последовали одно за другим два предостережения «Современнику»: первое — 10 ноября, второе — 4 декабря, причем второе предостережение было вызвано стихотворением Некрасова «Железная дорога».

Особенно тяжелым положение Некрасова было весной 1866 года. 4 апреля 1866 года студент Каракозов совершил неудачное покушение на Александра II. В ответ правительство повело решительное наступление против передовой части русского общества. Журналу «Современник» оставалось жить считанные дни. Ради его спасения Некрасов пустился на «сделку с совестью своей»: написал стихотворение в честь «спасителя» царя — Осипа Комиссарова, а 16 апреля на торжественном обеде прочел стихотворное послание палачу польского восстания 1863 года Муравьеву-Вешателю.

Вечером того же дня поэт написал покаянное стихотворение, где со всей силой изобразил впечатление, которое должен был произвести на общество его ошибочный поступок:

Ликует враг, молчит в недоуменьи
Вчерашний друг, качая головой,
И вы, и вы отпрянули в смущеньи,
Стоявшие бессменно предо мной
Великие, страдальческие тени,
О чьей судьбе так горько я рыдал,
На чьих гробах я преклонял колени
И клятвы мести грозно повторял.
Зато кричат безличные: «Ликуем!»,
Спеша в объятья к новому рабу
И пригвождая жирным поцелуем
Несчастного к позорному столбу.

Некрасов стал получать много писем от своих читателей, которые были смущены его «неверными звуками».

Однако оба выступления Некрасова успеха не имели. 1 июня 1866 года по «высочайшему повелению» «Современник» был закрыт навсегда «вследствие доказанного с давнего времени вредного его направления». Так закончил свое существование самый боевой и лучший из всех русских журналов XIX века.

Еще ранее, до апрельских событий, один читатель Некрасова выразил в стихах свои сомнения и послал их поэту за подписью «Неизвестный друг». Говоря о распространявшихся лживых слухах о Некрасове, «Неизвестный друг» обращался к поэту — «нашему гению, гордости нашей»:

«Но отчего ж весь мир сильней любить
Мне хочется, стихи твои читая?»

Через некоторое время Некрасов ответил «Неизвестному другу». Поэт написал стихотворение-признание, где объяснил, почему он «к цели шел колеблющимся шагом»:

...Давно я одинок;
Вначале шел я с дружною семьею,
Но где они, друзья мои, теперь?
Одни — давно расстались со мною,
Перед другими сам я запер дверь;
Те жребием постигнуты жестоким,
А те прешли уже земной предел...
За то, что я остался одиноким,
Что я ни в ком опоры не имел,
Что я, друзей теряя с каждым годом,
Встречал врагов все больше на пути, —
За каплю крови, общую с народом,
Прости меня, о родина! прости!..

Некрасов чувствовал себя в подавленном состоянии. 19 мая 1866 года поэт признавался брату: «Я так измучился с журналом, что желал бы в деревне отдохнуть в полном спокойствии».

Но без журнала Некрасов, человек с темпераментом боевого общественного деятеля, жить не мог.

Вскоре Некрасов становится редактором журнала «Отечественные записки». Подобно тому как два десятилетия назад Некрасовым был совершенно преобразован журнал Плетнева «Современник», он придает новое направление журналу Краевского «Отечественные записки». К сотрудничеству в «Отечественных записках» Некрасов привлек старый состав основных сотрудников «Современника» — Г. З. Елисеева и М. Е. Салтыкова.

Некрасов был замечательным редактором, обладавшим тонким эстетическим чутьем. По первому произведению он безошибочно угадал исключительное дарование в Л. Толстом; он был проникновенным критиком творчества Тургенева; сумел оценить по достоинству Тютчева, ранее числившегося в разряде «второстепенных поэтов».

За сорок лет своей поэтической деятельности Некрасов создал великое наследие, отобразившее в существенных чертах русскую

жизнь на важнейшем историческом этапе XIX века и проложившее путь социалистической литературе.

Умер Некрасов 8 января 1878 года. В похоронах поэта участвовали революционные организации, почти «весь штаб русской революции» (Плеханов).

II

В. И. Ленин отмечает в творчестве Некрасова черты разоблачительства и в этом отношении ставит его рядом с гениальным сатириком М. Е. Салтыковым-Щедриным.

«Еще Некрасов и Салтыков учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов, а современный российский интеллигент, мнящий себя хранителем демократического наследства, принадлежащий к кадетской партии или к кадетским подголоскам, учит народ хамству и восторгается своим беспристрастием беспартийного демократа. Зрелище едва ли не более отвратительное, чем зрелище подвигов Дубасова и Столыпина...» [1]

Ленин рассматривает Некрасова как русского демократа, сторонника великого Н. Г. Чернышевского. Ленин видел в Некрасове выразителя революционных устремлений задавленного крепостничеством крестьянства. Борьба Некрасова с либералами и консерваторами ведется с точки зрения защиты крестьянских интересов. Поэт осуждает те черты крестьянина, которые служили тормозом к пробуждению его политической сознательности. Некрасов призывал народ к восстанию: «Чем хуже был бы твой удел, когда б ты менее терпел?» Недаром так много в поэзии Некрасова указаний на крестьянские бунты, прославлений революционеров.

Имея в виду события 1905 года и оценку их «веховцами», Ленин писал:

«Некрасов восклицал в давно-давно прошедшие времена:

...Придет ли времячко
(Приди, приди, желанное!),
Когда народ не Блюхера
И не милорда глупого,
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

Желанное для одного из старых русских демократов «времячко» пришло. Купцы бросали торговать овсом и начинали более выгодную

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. XIII, изд. 4-е, стр. 40.

торговлю — демократической дешевой брошюрой. Демократическая книжка стала базарным продуктом. Теми идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими Некрасову — как и всякому порядочному человеку на Руси — была пропитана сплошь эта новая базарная литература...

...Какое «беспокойство!» — воскликнула мнящая себя образованной, а на самом деле грязная, отвратительная, ожиревшая, самодовольная либеральная свинья, когда она увидала на деле этот «народ», несущий с базара... письмо Белинского к Гоголю.

И, собственно говоря, ведь это же — «интеллигентское» письмо — провозгласили «Вехи», под гром аплодисментов Розанова-Нововременца и Антония-Волынского.

Какое позорное зрелище! — скажет демократ из лучших народников. Какое поучительное зрелище! — добавим мы. Как оно отрезвляет тех, кто сентиментально смотрел на вопросы демократии, как оно закаляет все живое и сильное среди демократии, беспощадно отметая гнилые, барски-обломовские иллюзии!

Разочароваться в либерализме весьма полезная вещь для того, кто был когда-либо им очарован. А тот, кто пожелает вспомнить давнюю историю русского либерализма, тот уже в отношении либерала Кавелина к демократу Чернышевскому увидит точнейший прообраз отношения кадетской партии либеральных буржуа к русскому демократическому движению масс. Либеральная буржуазия в России «нашла себя» или, вернее, нашла свой хвост. Не пора ли демократии в России найти свою голову?

Особенно нестерпимо бывает видеть, когда субъекты, вроде Щепетева, Струве, Гредескула, Изгоева и прочей кадетской братии, хватаются за фалды Некрасова, Щедрина и т. п. Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского. Некрасов по той же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и публично каялся в них:

Не торговал я лирой, но бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры *звук неверный* исторгала
Моя рука...

«Неверный звук» — вот так называл сам Некрасов свои либерально-угоднические грехи. А Щедрин беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой: «применительно к подлости».[1]

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. XVIII, изд. 4-е, стр. 286—287.

«Я лиру посвятил народу своему»,— имел полное основание сказать Некрасов, подводя итоги своему творческому пути. Самые лучшие произведения поэта — о народе. Свою музу он назвал «сестрой народа». Поэзия Некрасова будила умы и сердца от векового рабского застоя.

Поэт лелеял надежду увидеть свою родину «свободной, гордой и счастливой». Но всю жизнь Некрасов видел вокруг себя страдающих крестьян и городских бедняков, забитых нуждой и бесправием.

Народ, родина, революция — это коренные темы некрасовского творчества. Думы о России являются центральным мотивом всех произведений Некрасова. Поэт гордился великим чувством свободы, глубоко коренившимся в сердцах передовых людей эпохи. Идеал Некрасова — свободная родина. Поэт боролся за родину для народа, за право народа быть истинным хозяином своей страны. Во имя этой любви к родине люди отдавали свою жизнь в войнах с иноземными врагами. В борьбе против царской власти лучшие люди России тысячами погибали в Сибири, «в пустынях снеговых». Реакционные силы царской России угнетали подлинных патриотов. Подвергались гонениям Пушкин, Лермонтов, Герцен, Салтыков-Щедрин, Чернышевский и многие другие. Некрасов говорил, что «со стороны блюстителей порядка» он «был вечно под судом».

В написанной с изумительной силой поэме «Несчастные» Некрасов, по его признанию, «хотел вылить всю свою душу». Поэт с особой задушевностью говорит о родине, русском революционном размахе, о Руси. Чутьем гениального художника Некрасов угадал великую освободительную роль России и высокое назначение ее народа. Он отделял, как внешнее, наносное, официальную императорскую Россию от родины и народа-богатыря.

Некрасов уважал в русском народе активное начало, «привычку к труду благородную», стремление и способность добиться свободы революционным путем:

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ.

. . . .

Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.

Задача поэта, по мысли Некрасова, состоит в том, чтобы напоминать человеку высокое его призвание. Поэт верил, что

Сбирается с силами русский народ
И учится быть гражданином.

Поэт болел за судьбы России и всей своей поэзией призывал к работе по преобразованию ее в «могучую» и «всесильную» страну.

Творчество Некрасова резко противостояло народнической теории о «герое» и пассивной толпе. Его стихи обращались непосредственно к народу, поэт от самого народа ждал активных и решительных действий за свое освобождение.

Некрасов воплотил в своем творчестве образ непобедимого русского народа. Поэт знал ту силу, которая сохранила живой ум русского крестьянина и вывела его из-под унизительного гнета крепостного состояния. Поэт-трибун прославлял тех, у кого «ноги босы и едва прикрыта грудь». Некрасов предсказывал им «славный путь».

Величие Некрасова в том, что он сквозь мрачную действительность крепостнической России провидел светлое будущее своего народа и воспел его в волнующих стихах. Даже во времена крепостного права Некрасов не сомневался в торжестве народного дела:

Над всею Русью тишина,
Но не предшественница сна;
Ей солнце правды в очи блещет,
И думу думает она.

Мы ценим Некрасова не только за реалистическое изображение прошлого. Поэт нам бесконечно близок своей устремленностью вперед. Рисуя безотрадную картину родины, Некрасов с удивительной проницательностью бросал пытливый взгляд в заманчивое будущее. Своеобразие подхода к изображению жизни отражено в словах Некрасова:

Привычная дума поэта
Вперед забежать ей спешит...

Типична в этом отношении поэма «Дедушка». Рассказывая о чудесных картинах жизни в Тарбагатае, где люди вольготно живут, так как «волю да землю им дали», поэт при помощи прямого сопоставления говорит об ужасах окружающего:

Ну... а покуда подумай,
То ли ты видишь кругом:
Вот он, наш пахарь угрюмый,
С темным, убитым лицом:
Лапти, лохмотья, шапчонка...

Некрасов предчувствует наступление «иных времен». В те далекие времена, когда «над великою русской рекой» стоял «стон бесконечный», поэт смело рисовал картины грядущего светлого дня. Как близка к современной действительности некрасовская картина будущего Волги:

Я слушал жадно иногда
И тот напев унылый,
Но гул довольного труда
Мне слаще слышать было.

Увы! Я дожил до седин,
Но изменился мало,
Иных времен, иных картин
Провижу я начало...
В случайной жизни берегов
Моей реки любимой:
Освобожденный от оков,
Народ неутомимый
Созреет, густо заселит
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит:
По гладкой их равнине
Суда-гиганты побегут
Несчетною толпою,
И будет вечен бодрый труд
Над вечною рекою.
Мечты!.. Я верую в народ.

Вера в счастливое будущее своей родины никогда не покидала революционного поэта. Он знал, что народ не вечно будет подавлен самодержавием и угнетен помещиками и капиталистами.

Поэт ждал наступления новой эры в жизни родной страны, он призывал грядущее:

О время, время новое!
Ты тоже в песне скажешься,
Но как?.. Душа народная!
Воссмейся ж наконец!..

Некрасов жил в то «горькое время», когда у него, как у народного поэта, должны были преобладать «горькие песни», отражающие народные бедствия. Некрасов это прекрасно сознавал, но он жадно тянулся ко «времени новому», во имя которого он жил и боролся. Наблюдая кошмарные явления современной ему действительности, Некрасов неустанно мечтал о том времени, когда будет возможно подлинное просвещение.

Мечту о прекрасном будущем России диктовала Некрасову его вера в высокие моральные качества и силы русского народа.

Некрасов восхищался теми скрытыми силами, которые заложены и в крестьянине-богатыре, и в «величавой славянке», и в богатейшей русской природе.

Поэт верил в русский народ:

В рабстве спасенное,
Сердце свободное —
Золото, золото
Сердце народное!

Некрасов глубоко сожалел, что творческие силы русского народа подавлены, забиты, что крепостнический строй и капиталистическая

эксплоатация губят страну, но он не сомневался, что крестьянские «топоры лежат — до поры», что придет время и восстанет народ. Революционное мировоззрение вдохновило Некрасова на создание гениальной песни «Русь», которая останется в веках как изумительное произведение о неисчерпаемых силах великого русского народа.

Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная,
Матушка-Русь!

Недаром наши великие вожди Ленин и Сталин обращались к этим строкам Некрасова. Характеризуя положение нашей страны в различные периоды ее исторического развития, Ленин в марте 1918 года писал, что надо «...добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной. Она может стать таковой... У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь».[1]

Товарищ Сталин в своей речи о задачах хозяйственников вспоминал некрасовские слова из стихотворения «Русь», когда говорил о старой России, о ее отсталости.[2]

Ни один писатель до Некрасова не ставил так настойчиво вопроса о народном счастье, о путях его осуществления. Как поэт, живущий интересами народа, Некрасов поднял извечный вопрос: «А где же ты, тайна довольства народного?» Некрасов превратил крестьянина в героя, судью, допрашивающего: «кому живется весело, вольготно на Руси?» Впервые в русской литературе крестьянин был возведен на такую высоту, впервые с такой реалистической силой все стороны жизни были оценены с точки зрения крестьянства.

Некрасов не мог по историческим условиям дать в своем творчестве ни образа пролетарского революционера, ни рабочего, сознающего свои классовые интересы. Только в союзе с рабочим классом, под его руководством, крестьянство оказалось той побеждающей силой, какой мечтал его увидеть Некрасов.

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. XXII, изд. 3-е, стр. 376.

[2] И. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, Госполитиздат, 1945, стр. 328.



Некрасов мечтал создать радостную, победную песню, которая раздавалась бы над просторами родных рек:

Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой...

Сколько горечи и досады слышится в словах поэта, что ему приходится пока «песни петь унылые». Для Некрасова характерны горячее стремление петь песни радости, жажда счастья и веселья. В этом — одна из обаятельных черт его творчества. Крупнейшее свое произведение — поэму «Кому на Руси жить хорошо» — Некрасов заключил главой «Доброе время — добрые песни». Устами счастливого Гриши автор говорит о веселой песне как «воплощении счастия народного»:

Удалась мне песенка! — молвил Гриша прыгая: —
Горячо сказалася правда в ней великая!
Завтра же спою ее вахлачкам — не всё же им
Песни петь унылые...

III

Установившаяся традиция видеть в Некрасове поэта уныния — явно ошибочна. Некрасов называл себя поэтом «мести и печали».

В своих произведениях он дал яркие картины народного гнева и беспощадной расправы над поработителями.

Выражая в своих стихах печаль и скорбь народа, Некрасов звал к мести угнетателям:

Взрослые люди — не дети,
Трус, кто сторицей не мстит,
Помни, что нету на свете
Неотразимых обид.

У Некрасова никогда не было изображения печали без гнева. Он был поэтом великой борьбы, идеологом революционного крестьянства.

Несчастья и муки людей взывали к яростному возмездию:

Но кипит в тебе живая кровь,
Торжествует мстительное чувство...

Бескорыстная, святая любовь к родине неизбежно, по мнению Некрасова, связана с ненавистью к тем, кто мешает освобождению народа:

Так глубоко ненавижу,
Так бескорыстно люблю!

Всю жизнь Некрасовым владела одна великая идея — идея народного освобождения. Его стихи — «свидетели живые за мир пролитых слез» — были преисполнены «музыки злобы». Поэт отвергал «миролюбивую лиру», музу, «ласково поющую и прекрасную», ее «песню сладкогласную», «гармонию волшебную».

Некрасов гордо и вызывающе заявлял: «Лелеяли мой слух суровые напевы». Поэт прославляет Гоголя-сатирика, который «в диких криках озлобленья» искал и находил общественно-психологическую опору для своего обличительного творчества.

В глазах Некрасова именно поэт-обличитель является «благородным гением»:

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.
Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.
И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья...

В то время, когда некоторые литературоведы изображали Некрасова поэтом безысходной тоски, дореволюционная «Правда» подчеркивала в творчестве Некрасова жизнеутверждающее начало.

«Правда» в связи с тридцатилетием со дня смерти Некрасова писала о нем как о «нашем любимом поэте-гражданине». По прямому указанию Ленина — цитировать и растолковывать творчество писателей старой народнической демократии,[1] «Правда» за короткий период (ноябрь 1912 г. — октябрь 1913 г.) поместила о Некрасове четыре статьи, инструктивное письмо и обращение к культурно-просветительным организациям.

В эпоху борьбы с самодержавием и капитализмом наша партия видела в Некрасове своего союзника. Центральный орган партии знал, как много говорила сердцам передовых людей рабочего класса поэзия Некрасова. «Правда» (от 29 декабря 1912 г.) писала: «...если кто трудится и борется в надежде на лучшее будущее, какой бы черный и неблагодарный труд ни утомлял его к концу рабочего дня, нужен его душе и отдых, и светлый праздник мысли, и поддержка дружеского сочувствия... Пусть позовет он к себе Не-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. XXIX, изд. 3-е, стр. 75.

красова, пусть перечтет его страницы, полные горячей любви к человеку, — с этих страниц вольются в утомленную душу такое тепло и такая жажда иной, лучшей жизни, что захочется снова работать, снова бороться, снова отдавать свои силы черному дню настоящего во имя света завтрашнего дня...»[1]

Иногда литературоведы не видели или не хотели видеть той выдающейся роли, которую играл Некрасов в литературно-общественном движении 60—70-х годов. Но уже в 1862 году Ап. Григорьев признавал, что «молодое поколение в настоящее время никого, кроме его (Некрасова. — *А. Е.*), не читало».[2]

Поэзия Некрасова, несмотря на обилие в ней картин народных бедствий, носит бодрый, оптимистический характер. Поэт любуется картиной крестьянского труда. Некрасов очарован красотой человеческих чувств, красотой любви крестьянской женщины к мужу, детям и родителям.

Нашлись критики, которые уже в наше время доказывали, что Некрасов, идеализируя зажиточного крестьянина, иногда выступал чуть ли не певцом деревенского кулака. Не чем иным, как чудовищной клеветой на народного поэта, нельзя назвать эти выступления критиков!

В доказательство своего нелепого утверждения эти критики цитировали обычно «Дедушку» и «Мороз, Красный нос». Но в том и другом произведениях Некрасов говорит только об идеале зажиточной жизни для забитого, нищего, голодного крестьянина.

Творчество Некрасова, представляющее изумительный образец спаянности поэзии с жизнью, содержит немало рельефных картин, где кулачество, как и всякая другого рода эксплоатация, разоблачается морально и социально.

В «Горе старого Наума», в подзаголовке, именуемом «Волжской былью», Некрасов бичует кулака словами самого героя:

Округа вся в горсти моей,
Казна — надежней цепи:
Уж нет помещичьих крепей,
Мои остались крепи.

В стихотворении, начинающемся словами: «Да! провинция пустеет», Некрасов говорит, что «земледелец наш беднеет», а

Народившийся кулак
По селеньям зверем рыщет,
Выжимает четвертак.

---

[1] «Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе». М.-Л., Гослитиздат, 1936, стр. 122—123.

[2] Ап. Григорьев. Собр. соч., вып. 13-й. М., 1915, стр. 20.

Некрасов всюду подчеркивает антинародную сущность кулака. В своих крупнейших произведениях («Кому на Руси жить хорошо», «Современники») Некрасов обнажает эксплоататорскую роль буржуазии, показывает изнанку буржуазного прогресса, связанного с разорением крестьянина:

Знаю: на место сетей крепостных
Люди придумали много иных.

Некрасов презрительно говорит о торгашах, купцах, в первую очередь отмечая их антиморальную сущность («купчик-выжига, с Лубянки первый вор»). Многострадальный крестьянин Яким Нагой, из деревни Босово, вконец разорился из-за тяжбы с купцом:

Яким, старик убогонький,
Живал когда-то в Питере,
Да угодил в тюрьму:
С купцом тягаться вздумалось!
Как липочка ободранный,
Вернулся он на родину
И за соху взялся.

А эпоху пореформенного развития капитализма в целом Некрасов определил стихами:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

IV

Поэт благоговел перед родиной. Он говорил о ней тепло и задушевно:

Родина-мать! по равнинам твоим
Я не езжал еще с чувством таким!
Вижу дитя на руках у родимой,
Сердце волнуется думой любимой...

Некрасов с сердечной нежностью изображает деревню, крестьянские избы:

Опять она, родная сторона,
С ее зеленым, благодатным летом,
И вновь душа поэзией полна...
Да, только здесь могу я быть поэтом!

Из этой пламенной любви к родине, к ее великому народу, к изумительной русской природе и выросла та поэзия, которая составляет наше национальное богатство.

Несовершенство общественных отношений не давало возможности наслаждаться красотой природы. Значит, надо бороться и бороться за изменение основ социальной жизни.

На ручей рябой и пестрой
За листком летит листокъ,
И струей сухой и острой
Набегает холодокъ.

Полумрак на все ложится;
Налетев со всех сторонъ,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и воронъ.

Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перед закрыт;
И „пошел!" привстав с нагайкой
Ямщику деньщик кричит.

«Родная земля» способна вдохновить его на продолжение и усиление борьбы:

За дальним Средиземным морем,
Под небом ярче твоего,
Искал я примиренья с горем,
И не нашел я ничего!
Я там не свой: хандрю, немею;
Не одолев мою судьбу,
Я там погнулся перед нею,
Но ты дохнула — и сумею,
Быть может, выдержать борьбу!

Некрасову была чужда национальная ограниченность. Он презрительно говорил о казенном патриотизме. Некрасову были совершенно несвойственны шовинистические настроения, подменяющие понятие родины понятием о властях, любовь к отечеству — любовью к царям.

Поэт с чувством нескрываемого отвращения и презрения относился к реакционерам — «патриотам» и славянофилам, проповедывавшим националистические чувства. Еще в начале сороковых годов в своих рецензиях (например, на книгу «Русский патриот», 1842) Некрасов, повидимому под благотворным влиянием Белинского, осуждает квасной патриотизм, дает отрицательную оценку псевдопатриотическим виршам. То же многократно выражал Некрасов и в своих стихотворениях.

В «Недавнем времени» он дал едкую, но правдивую характеристику славянофилов:

Наезжали к нам славянофилы,
Светский тип их тогда был таков:
В Петербурге шампанское с квасом
Попивали из древних ковшей,
А в Москве восхваляли с экстазом
Допетровский порядок вещей,
Но, живя за границей, владели
Очень плохо родным языком,
И понятья они не имели
О славянском призваньи своем.

В поэме «Кому на Руси жить хорошо» поэт также осуждающе говорит о реакционных лжепатриотах:

...Бахвал мужик!
Каких-то слов особенных
Наслушался: Атечество,
Москва первопрестольная,
Душа великорусская,
«Я — русский мужичок!»

Поэт посылал проклятья угнетателям русского трудового народа, «владельцам роскошных палат», помещикам и капиталистам.

Некрасов — поэт крестьянской демократии: все свои симпатии он отдает крестьянину-бунтарю. Некрасов видел зреющую силу в крестьянском движении, в стремлении народа опрокинуть весь строй неправды и надругательства над человеком труда. В своем творчестве он запечатлел рост сознания в русском крестьянстве, развитие в нем чувства человеческого достоинства.

Знаменательно для Некрасова, что из всех крестьянских образов в его творчестве наиболее ярким был образ бунтаря Савелия. Этого несгибаемого человека, отдавшего всю свою жизнь борьбе за интересы крестьянства, поэт запечатлевает с необыкновенной силой. Савелий вынес

Лет двадцать строгой каторги,
Лет двадцать поселения, —

но не сдался. Уже столетним стариком, в ответ на упреки окружающих, что он «клейменый, каторжный», Савелий с гордостью, «весело» скажет:

Клейменый, да не раб!

Выдающуюся роль в освободительной борьбе Некрасов отводил передовой интеллигенции. Разоблачая либеральных болтунов, «богатых словом — делом бедных», клеймя «ликующих, праздно болтающих», поэт-революционер с восхищением отзывался о подлинных борцах за народное дело. «На Руси жить хорошо», по мнению Некрасова, лишь революционерам, так как только их жизнь полна великого смысла, красоты и правды.

Некрасов испытывает чувство гордости за свою страну, выдвинувшую самоотверженных борцов с темными силами царской реакции:

Быть может, мы, рассказ свой продолжая,
Когда-нибудь коснемся и других,
Которые, отчизну покидая,
Шли умирать в пустынях снеговых.
Пленительные образы! Едва ли
В истории какой-нибудь страны
Вы что-нибудь прекраснее встречали.
Их имена забыться не должны.

Некрасов был убежден, что только народная революция может осуществить его заветные мечты. И только после этого будут созданы благоприятные условия для развития богато одаренного русского народа и полного использования природных богатств нашей родины.

Некрасов неустанно подчеркивал, что любовь к родине органически связана с протестом против крепостнического строя. Декабрист «дедушка» из любви к родине и народу не мог не бороться против общественного порядка, поддерживавшего рабство и надругательство над личностью крестьянина:

Кто же имеющий душу
Мог это вынести? Кто?
. . . .
Непроницаемой ночи
Мрак над страною висел...
Видел — имеющий очи
И за отчизну болел.

Создавая галлерею героических образов революционеров, рисуя крестьян-бунтарей, Некрасов звал к революции, он верил в ее очистительный огонь, который уничтожит все мерзости эксплоататорского строя.

Поэт-революционер, Некрасов всю жизнь грезил картиной народного восстания. Поэзия Некрасова всегда служила живым источником вдохновения и призывом к борьбе.

Невозможно представить себе более кровную связь поэта с родиной, чем та, которая существовала у Некрасова. Взаимоотношения гражданина и родины Некрасов уподобляет отношениям сына и матери. Самый большой проступок для человека — это забвение своего долга перед родиной. Осуждая либералов, заявлявших на словах о своей любви к народу, но на деле не желавших палец о палец ударить, чтобы реализовать эти обещания, Некрасов писал:

Страшись их участь разделить, —
Богатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть!

По мнению Некрасова, человек не может иметь интересов, расходящихся с интересами народа. Эгоистов, думающих только о личном благополучии, не связанном с благом народа, поэт презирает и третирует как недостойных имени гражданина. Ради свободы родины человек должен итти на любые жертвы. Жена декабриста — Трубецкая во имя любви к родине безропотно переносит все лишения.

Исполненная решимости выполнить гражданский долг до конца, она говорит:

Нет, я не жалкая раба,
Я женщина, жена!
Пускай горька моя судьба —
Я буду ей верна!

О, если б он меня забыл
Для женщины другой,
В моей душе достало б сил
Не быть его рабой!
Но знаю: к родине любовь
Соперница моя,
И если б нужно было, вновь
Ему простила б я!..

Истинный патриот и гражданин, по мнению Некрасова, неизбежно должен быть революционером. Поэт с восхищением отзывается о «достойных гражданах» — революционерах:

...Хоть мало
И среди нас судьба являла
Достойных граждан... Знаешь ты
Их участь?.. Преклони колени!..

Беззаветная преданность революционно-демократическим убеждениям вдохновила Некрасова на такие выдающиеся произведения, как «Поэт и Гражданин», «Белинский», воспевавшие революционную борьбу.

Стихи Некрасова стали знаменем революционной интеллигенции, с этим знаменем она без страха и сомнения вступила в неравную борьбу с царизмом.

Поэт, самоотверженно любивший русский народ, признавал:

Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата-человека,
Только тот себя переживет...

Некрасов всю жизнь терзался из-за того, что для борьбы с царизмом он не ушел в подполье, не стал человеком революционного подвига, подобно Чернышевскому, Михайлову и другим своим единомышленникам. Гениальный поэт, воспитавший поколения революционных борцов своими стихами, создатель легальной трибуны русской демократической мысли (журналы «Современник» и «Отечественные записки»), Некрасов, тем не менее, бичевал себя за то, что не ушел «в стан погибающих», что к революционной цели шел, «не жертвуя собой». Отсюда — самоосуждение, покаяния Некрасова. Он писал:

Народ! Народ! Мне не дано геройства
Служить тебе, — плохой я гражданин,
Но жгучее, святое беспокойство
За жребий твой донес я до седин!

V

Некрасов, занимавший передовые позиции в литературной борьбе эпохи 60-х годов, как и следовало ожидать — имел смертельных врагов в реакционном и либеральном лагере. Поэт имел твердые революционные убеждения и поэтому не считал нужным оправдываться от всякого рода клеветнических обвинений. Некрасов отлично понимал, что он и его враги — два антагонистических лагеря, у которых нет и не может быть ничего общего. Гордо и решительно поэт заявлял:

> ...мой судья — читатель-гражданин,
> Лишь в суд его храню слепую веру.

Назначение своей поэзии Некрасов видел в том, чтобы «напоминать человеку высокое призвание его».

Вожди революционной демократии — Белинский, Чернышевский и Добролюбов — были для поэта «светильниками разума». Естественно, что Некрасов создал поэзию, которая и своим содержанием, и своей формой противостояла традиционной литературе, оторванной от народа и далекой от его интересов.

Характер своей поэзии Некрасов определял словами: «У всякого писателя есть своя своеобразность, у меня — реальность». А враждебно настроенный в отношении Некрасова критик Авсеенко, желая оскорбить поэта и унизить его творчество, свою статью о нем назвал: «Реальнейший поэт», имея в виду, что Некрасов — художник, не чуждающийся самых разнообразных и «грубых» жизненных тем. С нашей точки зрения, это определение Некрасова является высшей похвалой поэту.

Вокруг творчества «старого русского демократа» (так Ленин называл Некрасова) как при жизни поэта, так и после его смерти велись страстные споры. Если сторонники эксплоатации и угнетения испытывали злую ненависть к музе Некрасова, то в революционной и демократической среде его стихи, зовущие к борьбе, встречались с чувством горячей любви и восхищения.

Поэзия Некрасова отражала кровные, насущные нужды и интересы народа. Стихи Некрасова читались с увлечением, зажигая сердца молодежи горячей любовью к народу и ненавистью к его поработителям.

Выражая мнение передовой части общества, Добролюбов характеризовал Некрасова: «Любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии, единственный талант, в котором теперь есть жизнь и сила».[1]

---

[1] «Книга и Революция», 1921, № 2 (14), стр. 72.

Политическое значение поэзии Некрасова то же, что и публицистических и критических статей Чернышевского. В разных областях литературной деятельности они выражали одну идею — идею борьбы за освобождение народа.

Чернышевский рассматривал поэзию Некрасова как оружие революционной борьбы с самодержавием и крепостничеством. Он писал Некрасову:

«Правда, и людям самостоятельным критика может быть полезна, когда в состоянии обнаружить недостатки в их убеждениях (только в убеждениях, в понятиях о жизни) и заставить их вернее смотреть на жизнь, — но в этом отношении Вам опять-таки критика вовсе не нужна: я не знаю, какие ошибочные убеждения нужно было бы Вам исправлять в себе». [1]

Идейная близость Некрасова и Чернышевского видна и из факта совместного писания ими публицистических статей. А. Н. Пыпин говорит, что «Заметки о журналах» в «Современнике» составлялись так: «Заметки ведены были Чернышевским, но (вначале, сколько я помню) иногда с близким участием Некрасова: есть страницы, начатые одним и продолженные другим». [2]

Дружба великих деятелей демократии не прекращалась на протяжении всей их жизни.

В центральном своем произведении — поэме «Кому на Руси жить хорошо» — Некрасов всесторонне изображает дореформенную и пореформенную Россию. Показывая угнетенное крестьянство и эксплоатирующих его старых и новых хищников — помещиков и капиталистов, Некрасов призывает разночинную интеллигенцию к борьбе за «народное дело», призывает ее итти на помощь начинающей пробуждаться исполинской силе Савелия-богатыря. Борцом за дело народа Некрасов изображает Гришу Добросклонова. Сын дьячка, жившего «беднее захудалого последнего крестьянина», и «батрачки безответной», Гриша выступил как защитник интересов крестьянства.

С горячей нежностью и любовью нарисован образ Гриши — революционного демократа. Поэт понимает, что Гриша не один, что за ним идет «рать неисчислимая», обладающая несокрушимой силой. Тяжел путь Гриши, но и славен, потому что величайшее счастье, по

---

[1] Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А. С. Зеленым. М.-Л., «Моск. рабочий», 1925, стр. 25.

[2] А. Пыпин. Некрасов. СПб., 1905, стр. 38. Часть этих статей найдена и перепечатана А. Я. Максимовичем в «Литературном наследстве», вып. 49—50. М., 1946, стр. 225—298.

мысли Некрасова, состоит в борьбе за освобождение угнетенных. На вопрос: «Кому на Руси жить хорошо?» Некрасов отвечает: — Борцам за счастье народа. — В этом и заключается смысл концовки поэмы:

Быть бы нашим странникам под родною крышею,
Если б знать могли они, что творилось с Гришею;
Слышал он в груди своей силы необъятные,
Услаждали слух его звуки благодатные,
Звуки лучезарные гимна благородного —
Пел он воплощение счастия народного!

Поэзия Некрасова преисполнена революционного энтузиазма и веры в конечную победу народа. Наряду с крестьянством автор значительное место уделяет изображению революционной интеллигенции. Поэт прославляет революционных борцов, противопоставляя их либеральным реформаторам.

Обращаясь к истории, к прошлому своей страны и народа, Некрасов выделяет деятелей освободительного движения. В начале семидесятых годов печатаются знаменитые историко-революционные поэмы: «Дедушка», «Недавнее время», «Русские женщины». Через образы борцов предшествующих поколений Некрасов устанавливает живую преемственность идей от декабристов к Белинскому, Петрашевскому, Добролюбову и семидесятникам. Едва ли можно найти в русской литературе более яркое прославление политических ссыльных, чем это сделал Некрасов в поэмах о декабристах. Читая поэмы Некрасова о революционерах прошлого, современные борцы узнавали в них себя. Недаром самую большую популярность из всех произведений Некрасова имели его историко-революционные поэмы. И недаром цензура ни одно произведение Некрасова на современные темы не исказила так, как его поэму «Русские женщины».

Некрасов отстаивал обличительное и протестующее направление, единственно передовое направление в литературе того времени. В письме Тургеневу от 30 декабря 1856 г. он писал: «Есть ли другое — живое и честное (направление — *А. Е.*), кроме обличения и протеста? Его создал не Белинский, а среда, оттого оно и пережило Белинского, а совсем не потому, что «Современник» — в лице Чернышевского — будто бы подражает Белинскому».

Некрасов боролся против теории «искусства для искусства». В «Заметках о журналах за июнь месяц 1855 года» он писал:

«Нет науки для науки, нет искусства для искусства — все они существуют для общества, для облагорожения, для возвышения человека, для его обогащения знаниями и материальными удобствами

жизни».[1] Поэт очень сожалел, что молодой гениальный писатель Л. Толстой «переходит на сторону Дружинина».[2]

Обращаясь к Л. Толстому, Некрасов дал замечательную характеристику революционно-критического направления в литературе: «Особенно мне досадно, что вы так браните Чернышевского... Вам теперь хорошо в деревне, и вы не понимаете, зачем злиться; вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровыми, но забываете, что здоровые отношения могут быть только в здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будет лучше, — т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою родину» (письмо от 22 июля 1856 г.).[3] В другом письме к Л. Толстому Некрасов заявляет со всей решительностью о своей демократической позиции в художественной литературе: «Изменить характер своего писания я не могу... а потому не ждите от меня ничего по части стихов, что б пришлось по вашему вкусу».[4]

Борьба Некрасова с теорией «чистого искусства» нашла отражение во многих его стихах, но полнее всего — в стихотворении «Поэт и Гражданин». Гражданин упрекает Поэта в бездействии. Указывая на перемену, происшедшую в общественной обстановке (стихотворение написано в 1856 г.), Гражданин с возмущением говорит Поэту:

Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость —
Тому теперь не должно спать...

Поэт оправдывается, ссылаясь на лозунги сторонников «искусства для искусства», но эти мотивы решительно отвергаются Гражданином. Обращаясь к Поэту, он говорит:

С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

Затем следует знаменитое обращение к Поэту, где подчеркнута сущность литературно-эстетических взглядов Некрасова:

---

[1] Н. Некрасов. Сочинения, т. III. М.-Л., Госиздат, 1930, стр. 437.
[2] Там же, стр. 273.
[3] Там же, т. V, стр. 252.
[4] Там же, стр. 291.

А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что неимущий хлеба
Не стоит вещих струн твоих!..
. . . .
Будь гражданин! служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей любви...

В течение многих десятилетий эта поэтическая декларация Некрасова служила непререкаемым заветом передовым людям русского общества в борьбе против безидейности, аполитичности в искусстве и литературе.

Некрасовское направление в русской поэзии не могло оставить литературные круги равнодушными: начались страстные споры и разногласия, не затихавшие в течение многих лет.

Литераторы, защитники «чистого искусства», скептически и враждебно относились к демократической поэзии Некрасова. Однако все видные русские писатели, независимо от направления, подчеркивали своеобразие некрасовского творчества. Тургенев в рецензии на стихотворения Тютчева писал: «Легко указать на отдельные качества, которыми превосходят его <Тютчева> более даровитые из теперешних наших поэтов: на пленительную, хотя несколько однообразную грацию Фета, на энергичную, часто сухую, жесткую страстность Некрасова...[1]

Никто из поэтов до Некрасова не спускался так глубоко в «низкую» жизненную прозу, чтобы черпать в ней вдохновение. Поэзия Некрасова всецело соответствовала требованию Белинского к писателю: быть «гражданином, сыном своего общества и своей эпохи».

Никто до Некрасова не поднимал «низкую» прозу жизни на такие вершины поэзии, не был так близок к подлинно демократической точке зрения на социальную действительность. Некрасов имел право сказать, что в его стихе «кипит живая кровь». Только ему оказалась по силам задача создать новый стиль демократической поэзии.

Некрасов создал поэзию, вполне отвечающую задачам революционной демократии. Он чутким ухом поэта-демократа услышал «музыку злобы» преисполненных гневом народных масс. Недаром Тургенев, отрицательно относившийся к его поэзии, высказал истину, заявив, что стихи Некрасова, собранные в один фокус, «жгутся».

Некрасов зажигал своими стихами. Этого мог достичь только первоклассный художник, великий поэт.

---

[1] «Современник», 1854, № 10, отдел критики, стр. 23—26.

Творчество Некрасова оказало плодотворное влияние на все последующее развитие русской поэзии. Если символисты находили Некрасова, с его темой борьбы за гражданские идеалы, «старомодным» и ценили в нем только мастерство, «музыку диссонансов» (Бальмонт), то все демократически настроенные поэты второй половины XIX века и первых десятилетий XX века, вплоть до наших дней, жили и творили, испытывая очарование «музы мести и печали».

Поэзия Маяковского созвучна творчеству Некрасова своим политическим пафосом, глубокой идейностью и ориентацией на народные массы. Из современных советских поэтов по своим творческим принципам особенно близки к Некрасову Демьян Бедный, Лебедев-Кумач, Твардовский, Исаковский, Сурков и многие другие.

Творческое наследие Некрасова, представляющее в истории русской литературы ярчайший пример беззаветного служения народу, оказалось живым, плодотворным и в наше время. Поэт-гражданин получил всеобщее признание в стране победившего социализма.

А. Еголин

СТИХОТВОРЕНИЯ

1845

СОВРЕМЕННАЯ ОДА

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И — беру небеса во свидетели —
Уважаю тебя глубоко...

Не обидишь ты даром и гадины,
Ты помочь и злодею готов,
И червонцы твои не украдены
У сирот беззащитных и вдов.

В дружбу к сильному влезть не желаешь ты,
Чтоб успеху делишек помочь.
И без умыслу с ним оставляешь ты
С глазу на глаз красавицу дочь.

Не гнушаешься темной породою:
«Братья нам по Христу мужички!»
И родню свою длиннобородую
Не гоняешь с порога в толчки.

Не спрошу я, откуда явилося,
Что теперь в сундуках твоих есть;
Знаю: с неба к тебе все свалилося
За твою добродетель и честь!..

Украшают тебя добродетели,
До которых другим далеко,
И — беру небеса во свидетели —
Уважаю тебя глубоко...

В ДОРОГЕ

— Скучно! скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку;
Небылицей какой посмеши,
Или, что ты видал, расскажи —
Буду, братец, за все благодарен. —

«Самому мне невесело, барин:
Сокрушила злодейка-жена!..
Слышь ты, смолоду, сударь, она
В барском доме была учена
Вместе с барышней разным наукам,
Понимаешь-ста, шить и вязать,
На варгане играть и читать —
Всем дворянским манерам и штукам.
Одевалась не то, что у нас
На селе сарафанницы наши,
А, примерно представить, в атлас;
Ела вдоволь и меду, и каши.
Вид вальяжный имела такой,
Хоть бы барыне, слышь ты, природной.
И не то, что наш брат крепостной,
Тоись сватался к ней благородный
(Слышь, учитель-ста врезамшись был,
Баит кучер, Иваныч Торопка),
Да, знать, счастья ей бог не судил:
Не нужна-ста в дворянстве холопка!

Вышла замуж господская дочь
Да и в Питер... А справивши свадьбу,
Сам-ат, слышь ты, вернулся в усадьбу,
Захворал и на Троицу в ночь
Отдал богу господскую душу,
Сиротинкой оставивши Грушу...
Через месяц приехал зятек —
Перебрал по ревизии души
И с запашки ссадил на оброк,
А потом добрался и до Груши.
Знать, она согрубила ему

В чем-нибудь, али напросто тесно
Вместе жить показалось в дому,
Понимаешь-ста, нам неизвестно, —
Воротил он ее на село —
Знай-де место свое ты, мужичка!
Взвыла девка — крутенько пришло:
Белоручка, вишь ты, белоличка!

Как на грех, девятнадцатый год
Мне в ту пору случись... посадили
На тягло — да на ней и женили...
Тоись, сколько я нажил хлопот!
Вид такой, понимаешь, суровый...
Ни косить, ни ходить за коровой!..
Грех сказать, чтоб ленива была,
Да вишь дело в руках не спорилось!
Как дрова или воду несла,
Как на барщину шла — становилось
Инда жалко подчас... да куды! —
Не утешишь ее и обновкой:
То натерли ей ногу коты,
То, слышь, ей в сарафане неловко.
При чужих и туда, и сюда,
А украдкой ревет, как шальная...
Погубили ее господа,
А была бы бабенка лихая!

На какой-то патрет все глядит,
Да читает какую-то книжку...
Инда страх меня, слышь ты, щемит,
Что погубит она и сынишку:
Учит грамоте, моет, стрижет,
Словно барчонка каждый день чешет,
Бить не бьет — бить и мне не дает...
Да недолго пострела потешит!
Слышь, как щепка худа и бледна,
Ходит, тоись, совсем через силу,
В день двух ложек не съест толокна —
Чай, свалим через месяц в могилу...
А с чего?.. Видит бог, не томил
Я ее безустанной работой...

Одевал и кормил, без пути не бранил,
Уважал, тоись, вот как, с охотой...
А, слышь, бить — так почти не бивал,
Разве только под пьяную руку...»

— Ну, довольно, ямщик! Разогнал
Ты мою неотвязную скуку!..

ПЬЯНИЦА

Жизнь в трезвом положении
Куда нехороша!
В томительном борении
Сама с собой душа,
А ум в тоске мучительной...
И хочется тогда
То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.
Все та же хата бедная —
Становится бедней,
И мать — старуха бледная —
Еще бледней, бледней.
Запуганный, задавленный,
С поникшей головой,
Идешь как обесславленный,
Гнушаясь сам собой;
Сгораешь злобой тайною...
На скудный твой наряд
С насмешкой не случайною
Все, кажется, глядят.
Все, что во сне мерещится,
Как будто бы на зло,
В глаза вот так и мечется
Роскошно и светло!
Все — повод к искушению,
Все дразнит и язвит
И руку к преступлению
Нетвердую манит...
Ах! если б часть ничтожную!
Старушку полечить,

Сестрам бы не роскошную
Обновку подарить!
Стряхнуть ярмо тяжелого,
Гнетущего труда, —
Быть может, буйну голову
Сносил бы я тогда!
Покинув путь губительный,
Нашел бы путь иной,
И в труд иной — свежительный —
Поник бы всей душой.
Но мгла отвсюду черная
Навстречу бедняку. . .
Одна открыта торная
Дорога к кабаку.

* * *

Отрадно видеть, что находит
Порой хандра и на глупца,
Что иногда в морщины сводит
Черты и пошлого лица.
Бес благородный скуки тайной,
И на искривленных губах
Какой-то думы чрезвычайной
Печать ложится; что в сердцах
И тех, чьих дел позорных повесть
Пройдет лишь в поздних племенах,
Не все же спит мертвецки совесть,
И, чуждый нас, не дремлет страх.
Что всем одно в дали грядущей —
Идем к безвестному концу,
Что ты, подлец, меня гнетущий,
Сам лижешь руки подлецу.
Что лопнуть можешь ты, обжора!
Что ты, великий человек,
Чьего презрительного взора
Не выносил никто вовек,
Ты — лоб, как говорится, медный,
К кому все завистью полны, —
Дрожишь, как лист на ветке бедной,
Под башмаком своей жены.

* * *

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок;

Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня;

И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена, —

Верь: я внимал не без участья,
Я жадно каждый звук ловил...
Я понял все, дитя несчастья!
Я все простил и все забыл.

Зачем же тайному сомненью
Ты ежечасно предана?
Толпы бессмысленному мненью
Ужель и ты покорена?

Не верь толпе — пустой и лживой,
Забудь сомнения свои,
В душе болезненно-пугливой
Гнетущей мысли не таи!

Грустя напрасно и бесплодно,
Не пригревай змеи в груди,
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

* * *

Пускай мечтатели осмеяны давно,
Пускай в них многое действительно смешно,
Но все же я скажу, что мне в часы разлуки
Отраднее всего, среди душевной муки,
Воспоминать о ней: усилием мечты
Из мрака вызывать знакомые черты,
В минуты горького раздумья и печали
Бродить по тем местам, где вместе мы гуляли, —
И даже иногда вечернею порой,
Любуясь бледною и грустною луной,
Припоминать тот сад, ту темную аллею,
Откуда мы луной пленялись вместе с нею.
Но, больше нашею любовию полны,
Чем тихим вечером и прелестью луны,
Влюбленные глаза друг к другу обращали
И в долгий поцелуй уста свои сливали...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

(ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ)

Спи, пострел, пока безвредный!
Баюшки-баю.
Тускло смотрит месяц медный
В колыбель твою.
Стану сказывать не сказки —
Правду пропою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По губернии раздался
Всем отрадный клик:
Твой отец под суд попался —
Явных тьма улик.
Но отец твой — плут известный —
Знает роль свою.
Спи, пострел, покуда честный!
Баюшки-баю.

Подрастешь — и мир крещеный
Скоро сам поймешь,

Купишь фрак темнозеленый
И перо возьмешь.
Скажешь: «Я благонамерен,
За добро стою!»
Спи — твой путь грядущий верен!
Баюшки-баю.

Будешь ты чиновник с виду
И подлец душой,
Провожать тебя я выду —
И махну рукой!
В день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою...
Спи, пострел, пока невинный!
Баюшки-баю.

Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом,
До хорошего местечка
Доползешь ужом —
И охулки не положишь
На руку свою.
Спи, покуда красть не можешь!
Баюшки-баю.

Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.
Заживешь — и мирно, ясно
Кончишь жизнь свою...
Спи, чиновник мой прекрасный!
Баюшки-баю.

* * *

Я за то глубоко презираю себя,
Что живу — день за днем бесполезно губя;

Что я, силы своей не пытав ни на̀ чем,
Осудил сам себя беспощадным судом,

И, лениво твердя: я ничтожен, я слаб! —
Добровольно всю жизнь пресмыкался, как раб;

Что, доживши кой-как до тридцатой весны,
Не скопил я себе хоть богатой казны,

Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,
Да и умник подчас позавидовать мог!

Я за то глубоко презираю себя,
Что потратил свой век, никого не любя,

Что любить я хочу... что люблю я весь мир,
А брожу дикарем — бесприютен и сир,

И что злоба во мне и сильна, и дика,
А хватаюсь за нож — замирает рука!

1846

ОГОРОДНИК

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,
Не лежал я во рву в непроглядную ночь —
Я свой век загубил за девицу-красу,
За девицу-красу, за дворянскую дочь.

Я в немецком саду работа́л по весне,
Вот однажды сгребаю сучки да пою,
Глядь, хозяйская дочка стоит в стороне,
Смотрит в оба да слушает песню мою.

По торговым селам, по большим городам
Я недаром живал, огородник лихой,
Раскрасавиц девиц насмотрелся я там,
А такой не видал, да и нету другой.

Черноброва, статна, словно сахар бела! ..
Стало жутко, я песни своей не допел.
А она — ничего, постояла, прошла,
Оглянулась: за ней, как шальной, я глядел.

Я слыхал на селе от своих молодиц,
Что и сам я пригож, не уродом рожден, —
Словно сокол гляжу, круглолиц, белолиц,
У меня ль молодца кудри — чесаный лен. . .

Разыгралась душа на часок, на другой. . .
Да как глянул я вдруг на хоромы ее —
Посвистал и махнул молодецкой рукой,
Да скорей за мужицкое дело свое!

А частенько она приходила с тех пор
Погулять, посмотреть на работу мою,
И смеялась со мной и вела разговор:
Отчего приуныл? что давно не пою?

Я кудрями тряхну, ничего не скажу,
Только буйную голову свешу на грудь...
«Дай-ка яблоньку я за тебя посажу,
Ты устал — чай, пора уж тебе отдохнуть».

— Ну, пожалуй, изволь, госпожа, поучись,
Пособи мужику, поработай часок. —
Да как заступ брала у меня, смеючись,
Увидала на правой руке перстенек:

Очи стали темней непогодного дня,
На губах, на щеках разыгралася кровь.
— Что с тобой, госпожа? Отчего на меня
Неприветно глядишь, хмуришь черную бровь? —

«От кого у тебя перстенек золотой?»
— Скоро старость придет, коли будешь все знать. —
«Дай-ка я погляжу, несговорный какой!» —
И за палец меня белой рученькой хвать!

Потемнело в глазах, душу кинуло в дрожь,
Я давал — не давал золотой перстенек...
Я вдруг вспомнил опять, что и сам я пригож,
Да не знаю уж как — в щеку девицу чмок!..

Много с ней скоротал невозвратных ночей
Огородник лихой... В ясны очи глядел,
Расплетал, заплетал русу косыньку ей,
Целовал-миловал, песни волжские пел.

Мигом лето прошло, ночи стали свежей,
А под утро мороз под ногами хрустит.
Вот однажды, как я крался в горенку к ней,
Кто-то цап за плечо: «держи вора!» кричит.

Со стыдом молодца на допрос привели,
Я стоял да молчал, говорить не хотел...

И красу с головы острой бритвой снесли,
И железный убор на ногах зазвенел.

Постегали плетьми и уводят дружка
От родной стороны и от лапушки прочь
На печаль и страду! .. Знать, любить не рука
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь!

ТРОЙКА

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу —
Все лицо твое вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед? ..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий непрочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается легкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.

Поживешь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна, и легка...
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.

Завязавши подмышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и черной, и трудной
Отцветешь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,
Будешь няньчить, работать и есть.

И в лице твоем, полном движенья,
Полном жизни, — появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки, и сыты, и бойки, —
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой...

РОДИНА

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,

Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно-растленной,
Так рано отлетел покой благословенный
И неребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег...
Воспоминания дней юности — известных
Под громким именем роскошных и чудесных, —
Наполнив грудь мою и злобой, и хандрой,
Во всей своей красе проходят предо мной...

Вот темный, темный сад... Чей лик в аллее дальной
Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил... о! знаю, знаю я!..
Навеки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде —
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы...
Но знаю: не была душа твоя бесстрастна;
Она была горда, упорна и прекрасна,
И все, что вынести в тебе достало сил,
Предсмертный шопот твой губителю простил.

И ты, делившая с страдалицей безгласной
И горе, и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила...
Но матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодною и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.

Вот серый старый дом... Теперь он пуст и глух:
Ни женщин, ни собак, ни гаеров, ни слуг, —
А встарь?.. Но помню я: здесь что-то всех давило,
Здесь в малом и в большом тоскливо сердце ныло.
Я к няне убегал... Ах, няня! сколько раз

Я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час;
При имени ее впадая в умиленье,
Давно ли чувствовал я к ней благоговенье?

Ее бессмысленной и вредной доброты
На память мне пришли немногие черты,
И грудь моя полна враждой и злостью новой...
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но все, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым, —
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..

И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор —
В томящий летний зной защита и прохлада, —
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьем,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий.
И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действовал, и жил...

ПЕРЕД ДОЖДЕМ

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.

На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей сухой и острой
Набегает холодок.

Полумрак на все ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.

Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перед закрыт;
И «пошел», привстав с нагайкой,
Ямщику жандарм кричит...

* * *

(ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ)

В неведомой глуши, в деревне полудикой
Я рос средь буйных дикарей,
И мне дала судьба, по милости великой,
В руководители — псарей.
Вокруг меня кипел разврат волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубые черты.
И прежде чем понять рассудком неразвитым,
Ребенок, мог я что-нибудь,
Проник уже порок дыханьем ядовитым
В мою младенческую грудь.
Застигнутый врасплох, стремительно и шумно
Я в мутный ринулся поток,
И молодость мою постыдно и безумно
В разврате безобразном сжег...
Шли годы. Оторвав привычные объятья
От негодующих друзей,
Напрасно посылал я поздние проклятья
Безумству юности моей.
Не вспыхнули в груди растраченные силы —
Мой ропот их не пробудил;
Пустынной тишиной и холодом могилы
Сменился юношеский пыл,
И в новый путь, с хандрой, болезненно развитой,
Пошел без цели я тогда,
И думал, что душе, довременно убитой,
Уж не воскреснуть никогда.
Но я тебя узнал... Для жизни и волнений
В груди проснулось сердце вновь:
Влиянье ранних бурь и мрачных впечатлений
С души изгладила любовь...

Во мне опять мечты, надежды и желанья...
    И пусть меня не любишь ты,
Но мне избыток слез и жгучего страданья
    Отрадней мертвой пустоты...

ПСОВАЯ ОХОТА

Провидению угодно было создать человека так, что ему нужны внезапные потрясения, восторг, порыв и хотя мгновенное забвение от житейских забот; иначе, в уединении, грубеет нрав и вселяются разные пороки.

(Реутт, Псовая охота)

1

Сторож вкруг дома господского ходит,
Злобно зевает и в доску колотит.

Мраком задернуты небо и даль,
Ветер осенний наводит печаль,

По небу тучи угрюмые гонит,
По полю листья — и жалобно стонет...

Барин проснулся, с постели вскочил,
В туфли обулся и в рог затрубил.

Вздрогнули сонные Ваньки и Гришки,
Вздрогнули все — до грудного мальчишки.

Вот, при дрожащем огне фонарей,
Движутся длинные тени псарей.

Крик, суматоха! .. ключи зазвенели,
Ржавые петли уныло запели;

С громом выводят, поят лошадей,
Время не терпит — седлай поскорей!

В синих венгерках, на заячьих лапках,
В остроконечных, неслыханных шапках

Слуги толпой подъезжают к крыльцу.
Любо глядеть — молодец к молодцу!

Хоть и худеньки у многих подошвы —
Да в сюртуках зато желтые прошвы;

Хоть с толокна животы подвело —
Да в позументах под каждым седло,

Конь — загляденье, собачек две своры,
Пояс черкесский, арапник и шпоры.

Вот и помещик. Долой картузы!
Молча он крутит седые усы,

Грозен осанкой и пышен нарядом,
Молча поводит властительным взглядом.

Слушает важно обычный доклад:
«Змейка [1] издохла, в забойке — Набат,

Сокол сбесился, Хандра захромала».
Гладит, нагнувшись, любимца Нахала,

И, сладострастно волнуясь, Нахал
На спину лег и хвостом завилял.

2

В строгом порядке, ускоренным шагом
Едут псари по холмам и оврагам.

Стало светать; проезжают селом —
Дым поднимается к небу столбом,

Гонится стадо, с мучительным стоном
Очеп [2] скрипит (запрещенный законом);

---

[1] Змейка, Набат, Сокол, Хандра, Нахал и далее употребляющиеся в этой пьесе названия — Свиреп, Терзай, Ругай, Угар, Замашка, Победка — собачьи клички.

[2] Так называется снаряд особого устройства, имеющий в спокойном положении форму неправильного треугольника. С помощью этого снаряда в некоторых наших деревнях достают воду из колодцев, что производится с раздирающим душу скрипом.

(Все примечания, помещенные под строкой, принадлежат Некрасову. *Ред.)*

Бабы из окон пугливо глядят,
«Глянь-ко, собаки!» — ребята кричат...

Вот поднимаются медленно в гору.
Чудная даль открывается взору:

Речка внизу, под горою, бежит,
Инеем зелень долины блестит,

А за долиной, слегка беловатой,
Лес, освещенный зарей полосатой.

Но равнодушно встречают псари
Яркую ленту огнистой зари.

И пробужденной природы картиной
Не насладился из них не единый.

«В Банники,[1] — крикнул помещик, — набрось!» [2]
Борзовщики [3] разъезжаются врозь,

А предводитель команды собачьей,
В острове [4] скрылся крикун-доезжачий.

Горло завидное дал ему бог:
То затрубит оглушительно в рог,

---

[1] Банники — название леска.

[2] Набрасывать — техническое выражение: спускать гончих в остров для отыскания зверя (остров — отъемный лес, удобный, по положению своему, для охотников). Набрасывает гончих обыкновенно так называемый доезжачий; бросив в остров, он поощряет их порсканьем (порскать — значит у охотников криками понуждать гончих к отысканию зверя и подбивать всю стаю на след, отысканный одною) и вообще содержит в неослабном повиновении своему рогу и арапнику. Помощник его называется подъезжим. При выезде из дому или переходе от одного острова к другому соблюдается обыкновенно такой порядок: впереди доезжачий, за ним стая гончих, а за нею подъезжий, всегда готовый с криком: «в кучу!» хлестнуть арапником собаку, отбившуюся от стаи, — а за ним уже барин и остальные борзовщики. Обязанность борзовщика — стеречь зверя с борзыми близ острова, переменяя место по направлению движения стаи. В уменьи выбрать хорошую позицию, выждать зверя, выгнанного наконец гончими из острова, хорошо принять его (т. е. во-время показать собакам) и хорошо потравить — заключается главная задача охотника и великий источник его наслаждения.

[3] Борзовщики. См. прим. 2.

[4] Остров. См. прим. 2.

То закричит: «добирайся, собачки!
Да не давай ему, вору, потачки!»

То заорет: «го-го-го! — ту!-ту!!-ту!!!»
Вот и нашли — залились на следу.

Варом-варит[1] закипевшая стая,
Внемлет помещик, восторженно тая,

В мощной груди занимается дух;
Дивной гармонией нежится слух!

Однопометников лай музыкальный
Душу уносит в тот мир идеальный,

Где ни уплат в Опекунский совет,
Ни беспокойных исправников нет!

Хор так певуч, мелодичен и ровен,
Что твой Россини! что твой Бетховен!

8

Ближе и лай, и порсканье, и крик —
Вылетел бойкий русак-материк!

Гикнул помещик и ринулся в поле...
То-то раздолье помещичьей воле!

Через ручьи, буераки и рвы
Бешено мчится! не жаль головы!

В бурных движеньях — величие власти,
Голос проникнут могуществом страсти,

---

[1] Варом-варит — техническое выражение, употребляется, когда гонит вся стая дружно, с неумолкающим лаем и заливаньем, что бывает, когда собаки попадут на след только что вскочившего зайца (называемый горячим следом) или когда зверь просто у них в виду. В последнем случае говорится: гонят по зрячему, и гон бывает в полном смысле неистовый. При жарком и дружном гоне хорошо подобранной стаи голоса гончих сливаются в довольно стройную и не чуждую дикой приятности гармонию, для охотников ни с чем не сравнимую.

Очи горят благородным огнем —
Чудное что-то свершилося в нем!

Здесь он не струсит, здесь не уступит,
Здесь его Крез за мильоны не купит!

Буйная удаль не знает преград,
Смерть иль победа — ни шагу назад!

Смерть иль победа! (Но где ж, как не в буре,
И развернуться славянской натуре?)

Зверь отседает [1] — и в смертной тоске
Плачет помещик, припавши к луке.

Зверя поймали — он дико кричит,
Мигом отпазончил, [2] сам торочит, [3]

Гордый удачей любимой потехи,
В заячий хвост отирает доспехи

И замирает, главу преклоня
К шее покрытого пеной коня.

4

Много травили, много скакали,
Гончих из острова в остров бросали,

Вдруг неудача: Свиреп и Терзай
Кинулись в стадо, за ними Ругай,

Следом за ними Угар и Замашка —
И растерзали в минуту барашка!

---

[1] Зверь отседает — говорят, когда заяц, уже нагнанный борзыми, вдруг оставляет их далеко за собою, обманув неожиданным уклонением в сторону, прыжком вверх или другим каким-нибудь хитрым и часто разительным движением. Иногда, например, он бросается просто к собакам; собаки с разбега пронесутся вперед и когда попадут на новое направление зайца, он уже далеко.

[2] Отпазончить — отрезать задние лапы в среднем суставе.

[3] Торочить, приторачивать — привязывать зайца к седлу, для чего при охотничьих седлах находятся особенные ремешки, называемые тороками.

Барин велел возмутителей сечь,
Сам же держал к ним суровую речь.

Прыгали псы, огрызались и выли
И разбежались, когда их пустили.

Ревма-ревет злополучный пастух,
За лесом кто-то ругается вслух.

Барин кричит: «Замолчи, животина!»
Не унимается бойкий детина.

Барин озлился и скачет на крик,
Струсил — и валится в ноги мужик.

Барин отъехал — мужик встрепенулся,
Снова ругается; барин вернулся,

Барин арапником злобно махнул —
Гаркнул буян: «Караул, караул!»

Долго преследовал парень побитый
Барина бранью своей ядовитой:

Мы-ста тебя взбутетеним дубьем,
Вместе с горластым твоим халуем!

Но уже барин сердитый не слушал,
К стогу подсевши, он рябчика кушал,

Кости Нахалу кидал, а псарям
Передал фляжку, отведавши сам.

Пили псари — и угрюмо молчали,
Лошади сено из стога жевали.

И в. обагренные кровью усы
Зайцев лизали голодные псы.

5

Так отдохнув, продолжают охоту,
Скачут, порскают[1] и травят без счету.

Время меж тем незаметно идет,
Пес изменяет и конь устает.

Падает сизый туман на долину,
Красное солнце зашло вполовину,

И показался с другой стороны
Очерк безжизненно-белой луны.

Слезли с коней; поджидают у стога,
Гончих сбивают, сзывают в три рога,

И повторяются эхом лесов
Дикие звуки нестройных рогов.

Скоро стемнеет. Ускоренным шагом
Едут домой по холмам и оврагам.

При переправе чрез мутный ручей,
Кинув поводья, поят лошадей —

Рады борзые, довольны тявкуши:[2]
В воду залезли по самые уши!

В поле завидев табун лошадей,
Ржет жеребец под одним из псарей.

Вот наконец добрались до ночлега.
В сердце помещика радость и нега —

Много загублено заячьих душ.
Слава усердному гону тявкуш!

---

[1] Порскать. См. прим. на стр. 21.

[2] Тявкуша — то же, что гончая, иногда также называются выжлецами (в женском роде — выжловка); от этого слова доезжачий, заправляющий ими, называется еще выжлятником.

Из лесу робких зверей выбивая,
Честно служила ты, верная стая!

Слава тебе, неизменный Нахал, —
Ты словно ветер пустынный летал!

Слава тебе, резвоножка-Победка!
Бойко скакала, ловила ты метко!

Слава усердным и бурным коням!
Слава выжлятнику, слава псарям!

6

Выпив изрядно, поужинав плотно,
Барин отходит ко сну беззаботно,

Завтра велит себя раньше будить.
Чудное дело — скакать и травить!

Чуть не полмира в себе совмещая,
Русь широко протянулась, родная!

Много у нас и лесов, и полей,
Много в отечестве нашем зверей!

Нет нам запрета по чистому полю
Тешить степную и буйную волю.

Благо тому, кто предастся во власть
Ратной забаве: он ведает страсть,

И до седин молодые порывы
В нем сохранятся прекрасны и живы,

Черная дума к нему не зайдет,
В праздном покое душа не заснет.

Кто же охоты собачьей не любит,
Тот в себе душу заспит и погубит.

1847

* * *

Еду ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день —
Друг беззащитный, больной и бездомный,
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!
Сердце сожмется мучительной думой.
С детства судьба не взлюбила тебя:
Беден и зол был отец твой угрюмый,
Замуж пошла ты — другого любя.
Муж тебе выпал недобрый на долю:
С бешеным нравом, с тяжелой рукой;
Не покорилась — ушла ты на волю,
Да не на радость сошлась и со мной...

Помнишь ли день, как больной и голодный
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему.
Он не смолкал — и пронзительно звонок
Был его крик... Становилось темней;
Вдоволь поплакал и умер ребенок...
Бедная! слез безрассудных не лей!
С горя да с голоду завтра мы оба
Так же глубоко и сладко заснем;
Купит хозяин, с проклятьем, три гроба —
Вместе свезут и положат рядком...
В разных углах мы сидели угрюмо.

Помню, была ты бледна и слаба,
Зрела в тебе сокровенная дума,
В сердце твоем совершалась борьба.
Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили...
Случай нас выручил? Бог ли помог?
Ты не спешила печальным признаньем,
    Я ничего не спросил,
Только мы оба глядели с рыданьем,
Только угрюм и озлоблен я был...

Где ты теперь? С нищетой горемычной
Злая тебя сокрушила борьба?
Или пошла ты дорогой обычной,
И роковая свершится судьба?
Кто ж защитит тебя? Все без изъятья
Именем страшным тебя назовут.
Только во мне шевельнутся проклятья —
    И бесполезно замрут!..

* * *

Если, мучимый страстью мятежной,
Позабылся ревнивый твой друг,
И в душе твоей, кроткой и нежной,
Злое чувство проснулося вдруг, —

Все, что вызвано словом ревнивым,
Все, что подняло бурю в груди,
Переполнена гневом правдивым,
Беспощадно ему возврати.

Отвечай негодующим взором,
Оправданья и слезы осмей,

Порази его жгучим укором —
Всю до капли досаду излей!

Но когда, отдохнув от волненья,
Ты поймешь его грустный недуг
И дождется минуты прощенья
Твой безумный, но любящий друг, —

Позабудь ненавистное слово,
И упреком своим не буди
Угрызений мучительных снова
У воскресшего друга в груди!

Верь: постыдный порыв подозренья
Без того ему много принес
Полных муки тревог сожаленья
И раскаянья позднего слез...

* * *

Ты всегда хороша несравненно,
Но когда я уныл и угрюм,
Оживляется так вдохновенно
Твой веселый, насмешливый ум;

Ты хохочешь так бойко и мило,
Так врагов моих глупых бранишь,
То, понурив головку уныло,
Так лукаво меня ты смешишь;

Так добра ты, скупая на ласки,
Поцелуй твой так полон огня,
И твои ненаглядные глазки
Так голубят и гладят меня, —

Что с тобой настоящее горе
Я разумно и кротко сношу,
И вперед — в это темное море —
Без обычного страха гляжу...

НРАВСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

1

Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Жена моя, закрыв лицо вуалью,
Под вечерок к любовнику пошла:
Я в дом к нему с полицией прокрался
И уличил... Он вызвал: я не дрался!
Она слегла в постель и умерла,
Истерзана позором и печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

2

Приятель в срок мне долга не представил.
Я, намекнув по-дружески ему,
Закону рассудить нас предоставил:
Закон приговорил его в тюрьму.
В ней умер он, не заплатив алтына,
Но я не злюсь, хоть злиться есть причина!
Я долг ему простил того ж числа,
Почтив его слезами и печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

3

Крестьянина я отдал в повара:
Он удался; хороший повар — счастье!
Но часто отлучался со двора
И званью неприличное пристрастье
Имел: любил читать и рассуждать.
Я, утомясь грозить и распекать,
Отечески посек его, каналью,
Он взял да утопился: дурь нашла!
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.

Имел я дочь: в учителя влюбилась
И с ним бежать хотела сгоряча,
Я погрозил проклятьем ей: смирилась
И вышла за седого богача.
Их дом блестящ и полон был, как чаша;
Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша
И через год в чахотке умерла,
Сразив весь дом глубокою печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла...

1848

ВИНО

1

Не водись-ка на свете вина,
Тошен был бы мне свет.
И, пожалуй, — силен сатана! —
Натворил бы я бед.

Без вины меня барин посек,
Сам не знаю, что сталось со мной?
Я не то, чтоб большой человек,
Да лишь дело-то было впервой.
Как подумаю, весь задрожу,
На душе все черней да черней.
Как теперь на людей погляжу?
Как приду к ненаглядной моей?
И я долго лежал на печи,
Все молчал, не отведывал щей;
Нашептал мне нечистый в ночи
Неразумных и буйных речей,
И наутро я сумрачен встал;
Помолиться хотел, да не мог,
Ни словечка ни с кем не сказал
И пошел, не крестясь, за порог.
Вдруг: «Не хочешь ли, братик, вина?» —
Мне вослед закричала сестра.
Целый штоф осушил я до дна
И в тот день не ходил со двора.

2

Не водись-ка на свете вина,
Тошен был бы мне свет.
И, пожалуй, — силен сатана! —
Натворил бы я бед.

Зазнобила меня молодца
Степанида, соседская дочь,
Я посватал ее у отца —
И старик, да и девка непрочь.
Да, знать, старосте вплоть до земли
Поклонился другой молодец,
И с немилым ее повели
Мимо окон моих под венец.
Не из камня душа! Невтерпеж!
Расходилась, что буря, она,
Наточил я на старосту нож
И для смелости выпил вина.
Да попался Петруха, свой брат,
В кабаке: назвался угостить;
Даровому ленивый не рад —
Я остался полштофа распить.
А за первым — другой; в кураже
От души невзначай отлегло,
Позабыл я в тот день об ноже,
А на утро раздумье пришло...

3

Не водись-ка на свете вина,
Тошен был бы мне свет.
И, пожалуй, — силен сатана! —
Натворил бы я бед.

Я с артелью взялся у купца
Переделать все печи в дому,
В месяц дело довел до конца
И пришел за расчетом к нему.
Обсчитал, воровская душа!
Я корить, я судом угрожать.
— Так не будет тебе ни гроша! —

И велел меня в шею прогнать.
Я ходил к нему восемь недель,
Да застать его дома не мог;
Рассчитать было не́чем артель,
И меня, слышь, потянут в острог...
Наточивши широкий топор,
«Пропадай!» — сам себе я сказал;
Побежал, притаился, как вор,
У знакомого дома — и ждал.
Да прозяб, а напротив кабак,
Рассудил: отчего не зайти?
На последний хватил четвертак,
Подрался — и проснулся в части...

* * *

Вчерашний день, в часу шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

* * *

Я посетил твое кладбище,
Подруга трудных, трудных дней!
И образ твой светлей и чище
Рисуется душе моей.
Бывало, натерпевшись муки,
Устав и телом и душой,
Под игом молчаливой скуки
Встречался грустно я с тобой.
Ни смех, ни говор твой веселый
Не прогоняли темных дум:
Они бесили мой тяжелый,
Больной и раздраженный ум.
Я думал: нет в душе беспечной
Сочувствия душе моей,
И горе в глубине сердечной
Держалось дольше и сильней...
Увы, то время невозвратно!
В ошибках юность не вольна:
Без слез ей горе не понятно,
Без смеху радость не видна...
Ты умерла... Смирились грозы.
Другую женщину я знал,
Я поминутно видел слезы
И часто смех твой вспоминал.
Теперь мне дороги и милы
Те грустно прожитые дни, —
Как много нежности и силы
Душевной вызвали они!
Твержу с упреком и тоскою:
«Зачем я не ценил тогда?»
Забудусь, ты передо мною

Стоишь — жива и молода:
Глаза блистают, локон вьется,
Ты говоришь: «Будь веселей!»
И звонкий смех твой отдается
Больнее слез в душе моей...

* * *

Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и не жившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим, —
Нам рано предаваться ей!

Пока еще застенчиво и нежно
Свидание продлить желаешь ты,
Пока еще кипят во мне мятежно
Ревнивые тревоги и мечты, —
Не торопи развязки неизбежной!

И без того она не далека:
Кипим сильней, последней жаждой полны,
Но в сердце тайный холод и тоска...
Так осенью бурливее река,
Но холодней бушующие волны...

* * *

Да, наша жизнь текла мятежно,
Полна тревог, полна утрат,
Расстаться было неизбежно —
И за тебя теперь я рад!
Но с той поры ка́к все кругом меня пустынно!
Отдаться не могу с любовью ничему,
И жизнь скучна, и время длинно,
И холоден я к делу своему.
Не знал бы я, зачем встаю с постели,

Когда б не мысль: авось, и прилетели
Сегодня наконец заветные листы,
В которых мне расскажешь ты:
Здорова ли? что думаешь? легко ли
Под дальним небом дышится тебе?
Грустишь ли ты, жалея прежней доли,
Охотно ль повинуешься судьбе?
Желал бы я, чтоб сонное забвенье
На долгий срок мне на душу сошло,
Когда б мое воображенье
Блуждать в прошедшем не могло...
Прошедшее! его волшебной власти
Покорствуя, переживаю вновь
И первое движенье страсти,
Так бурно взволновавшей кровь,
И долгую борьбу с самим собою,
И не убитую борьбою,
Но с каждым днем сильней кипевшую любовь.
Как долго ты была сурова,
Как ты хотела верить мне,
И как и верила, и колебалась снова,
И как поверила вполне!
(Счастливый день! Его я отличаю
В семье обыкновенных дней;
С него я жизнь мою считаю,
Я праздную его в душе моей!)
Я вспомнил все... одним воспоминаньем,
Одним прошедшим я живу —
И то, что в нем казалось нам страданьем,
И то теперь я счастием зову...

А ты?... ты так же ли печали предана?..
И так же ли в одни воспоминанья
Средь добровольного изгнанья
Твоя душа погружена?
Иль новая роскошная природа,
И жизнь кипящая, и полная свобода
Тебя навеки увлекли,
И разлюбила ты вдали
Все, чем мучительно и сладко так порою
Мы были счастливы с тобою?

Скажи! я должен знать... Как странно я люблю!
Я счастия тебе желаю и молю,
Но мысль, что и тебя гнетет тоска разлуки,
Души моей смягчает муки...

* * *

Так это шутка? Милая моя,
Как боязлив, как недогадлив я!
Я плакал над твоим рассчитанно-суровым,
Коротким и сухим письмом;
Ни лаской дружеской, ни откровенным словом
Ты сердца не порадовала в нем.
Я спрашивал: не демон ли раздора
Твоей рукой насмешливо водил?
Я говорил: «Когда б нас разлучила ссора —
Но так тяжел, так горек, так уныл,
Так нежен был последний час разлуки...
Еще твой друг забыть его не мог,
И вновь ему ты посылаешь муки
Сомнения, догадок и тревог —
Скажи, зачем? .. Не ложью ли пустою,
Рассеянной досужей клеветою,
Возмущена душа твоя была?
И, мучима томительным недугом,
Ты над своим отсутствующим другом
Без оправданья суд произнесла?
Или то был один каприз случайный,
Иль давний гнев? ..» Неразрешимой тайной
Я мучился: я плакал и страдал,
В догадках ум испуганный блуждал,
Я жалок был в отчаяньи суровом...

Всему конец! Своим единым словом
Душе моей ты возвратила вновь
И прежний мир, и прежнюю любовь;
И сердце шлет тебе благословенья,
Как вестнице нежданного спасенья...

Так няня в лес ребенка заведет
И спрячется сама за куст высокий;

Встревоженный, он ищет, и зовет,
И мечется в тоске жестокой,
И падает, бессильный, на траву...
А няня вдруг: ау! ау!
В нем радостью внезапной сердце бьется,
Он все забыл: он плачет и смеется,
И прыгает, и весело бежит,
И падает — и няню не бранит,
Но к сердцу жмет виновницу испуга,
Как от беды избавившего друга...

НА УЛИЦЕ

1

ВОР

Спеша на званый пир по улице прегрязной,
Вчера был поражен я сценой безобразной:
Торгаш, у коего украден был калач,
Вздрогнув и побледнев, вдруг поднял вой и плач.
И, бросясь от лотка, кричал: «Держите вора!»
И вор был окружен и остановлен скоро.
Закушенный калач дрожал в его руке;
Он был без сапогов, в дырявом сюртуке,
Лицо являло след недавнего недуга,
Стыда, отчаянья, моленья и испуга...
Пришел городовой, подчаска подозвал,
По пунктам отобрал допрос отменно строгий,
И вора повели торжественно в квартал.
Я крикнул кучеру: «Пошел своей дорогой!»
И богу поспешил молебствие принесть
За то, что у меня наследственное есть...

2

ПРОВОДЫ

Мать касатиком сына зовет,
Сын любовно глядит на старуху,
Молодая бабенка ревет
И все просит остаться Ванюху,
А старик непреклонно молчит:
Напряженная строгость во взоре,

Словно сам на себя он сердит
За свое бесполезное горе.

Сивка дернул дровнишки слегка —
Чуть с дровней не свалилась старуха.
Ну! нагрел же он сивке бока,
Да помог старику и Ванюха...

3

ГРОБОК

Вот идет солдат. Подмышкою
Детский гроб несет, детинушка.
На глаза его суровые
Слезы выжала кручинушка.

А как было живо дитятко,
То и дело говорилося:
«Чтоб ты лопнуло, проклятое!
Да зачем ты и родилося?»

4

ВАНЬКА

Смешная сцена! Ванька дуралей,
Чтоб седока промыслить побогаче,
Украдкой чистит бляхи на своей
Ободранной и заморенной кляче.
Не так ли ты, продажная краса,
Себе придать желая блеск фальшивый,
Старательно взбиваешь волоса
На голове давно полуплешивой?
Но оба вы — извозчик дуралей
И ты, смешно причесанная дама, —
Вы пробуждаете не смех в душе моей —
Мерещится мне всюду драма.

* * *

Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.

Говори же, когда ты сердита,
Все, что душу волнует и мучит!
Будем, друг мой, сердиться открыто:
Легче мир, и скорее наскучит.

Если проза в любви неизбежна,
Так возьмем и с нее долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья...

МУЗА

Нет, Музы ласково поющей и прекрасной
Не помню над собой я песни сладкогласной!
В небесной красоте, неслышимо, как дух,
Слетая с высоты, младенческий мой слух
Она гармонии волшебной не учила,
В пеленках у меня свирели не забыла,
Среди забав моих и отроческих дум
Мечтой неясною не волновала ум,
И не явилась вдруг восторженному взору
Подругой любящей в блаженную ту пору,
Когда томительно волнуют нашу кровь
Неразделимые и Муза, и Любовь!..

Но рано надо мной отяготели узы
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,
Печальной спутницы печальных бедняков,
Рожденных для труда, страданья и оков, —
Той Музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей,
Которой золото — единственный кумир...
В усладу нового пришельца в божий мир,
В убогой хижине, пред дымною лучиной,
Согбенная трудом, убитая кручиной,
Она певала мне — и полон был тоской
И вечной жалобой напев ее простой.
Случалось, не стерпев томительного горя,
Вдруг плакала она, моим рыданьям вторя,
Или тревожила младенческий мой сон
Разгульной песнею... Но тот же скорбный стон
Еще пронзительней звучал в разгуле шумном.
Все слышалося в нем в смешении безумном:
Расчеты мелочной и грязной суеты,
И юношеских лет прекрасные мечты,
Погибшая любовь, подавленные слезы,
Проклятья, жалобы, бессильные угрозы.
В порыве ярости, с неправдою людской
Безумная клялась начать упорный бой.
Предавшись дикому и мрачному веселью,
Играла бешено моею колыбелью,
Кричала: мщение! и буйным языком
На головы врагов звала господень гром!

В душе озлобленной, но любящей и нежной,
Непрочен был порыв жестокости мятежной.
Слабея медленно, томительный недуг
Смирялся, утихал... и выкупалось вдруг
Все буйство дикое страстей и скорби лютой
Одной божественно-прекрасною минутой,
Когда страдалица, поникнув головой,
«Прощай врагам своим!» — шептала надо мной...

Так вечно плачущей и непонятной девы
Лелеяли мой слух суровые напевы,
Покуда наконец обычной чередой
Я с нею не вступил в ожесточенный бой.

Но с детства прочного и кровного союза
Со мною разорвать не торопилась Муза:
Чрез бездны темные Насилия и Зла,
Труда и Голода она меня вела —
Почувствовать свои страданья научила
И свету возвестить о них благословила. . .

НОВЫЙ ГОД

Что новый год, то новых дум,
Желаний и надежд
Исполнен легковерный ум
И мудрых, и невежд.
Лишь тот, кто под землей сокрыт,
Надежды в сердце не таит! . .

Давно ли ликовал народ
И радовался мир,
Когда рождался прошлый год
При звуках чаш и лир?
И чье суровое чело
Лучом надежды не цвело?

Но меньше ль видел он могил,
Вражды и нищеты?
В нем каждый день убийцей был
Какой-нибудь мечты;
Не пощадил он никого,
И не дал людям ничего!

При звуках тех же чаш и лир,
Обычной чередой
Бесстрастный гость вступает в мир
Бесстрастною стопой —
И в тех лишь нет надежды вновь,
В ком навсегда застыла кровь!

И благо! . . С чашами в руках
Да будет встречен гость,

Да разлетится горе в прах,
Да умирится злость —
И в обновленные сердца
Да снидет радость без конца!

Нас давит времени рука,
Нас изнуряет труд,
Всесилен случай, жизнь хрупка,
Живем мы для минут,
И то, что с жизни взято раз,
Не в силах рок отнять у нас!

Пускай кипит веселый рой
Мечтаний молодых —
Им предадимся всей душой...
А время скосит их? —
Что́ нужды! Снова в свой черед
В нас воскресит их новый год...

1852

* * *

Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства:
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;

Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;
Он чужд сомнения в себе —
Сей пытки творческого духа;

Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.

Дивясь великому уму,
Его не гонят, не злословят,
И современники ему
При жизни памятник готовят...

Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья, —

И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых —
И умных, и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут,
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ

Ах ты, страсть роковая, бесплодная,
Отвяжись, не тумань головы!
Осмеет нас красавица модная,
Вкруг нее увиваются львы:

Поступь гордая, голос уверенный,
Что́ ни скажут — их речь хороша,
А вот я-то войду, как потерянный, —
И ударится в пятки душа!

На ногах словно гири железные,
Как свинцом налита голова,
Странно руки торчат бесполезные,
На губах замирают слова.

Улыбнусь — непроворная, жесткая,
Не в улыбку улыбка моя,
Пошутить захочу — шутка плоская:
Покраснею мучительно я!

Помещусь, молчаливо досадуя,
В дальний угол... уныло смотрю
И сижу неподвижен, как статуя,
И судьбу потихоньку корю:

«Для чего-де меня, горемычного,
Дураком ты на свет создала?
Ни умишка, ни виду приличного,
Ни довольства собой не дала?..»

Ах! судьба ль меня, полно, обидела?
Отчего ж, как домой ворочусь
(Удивилась бы, если б увидела),
И умен, и пригож становлюсь?

Все припомню, что было ей сказано,
Вижу: сам бы сказал не глупей...
Нет! мне в божьих дарах не отказано
И лицом я не хуже людей!

Малодушье пустое и детское,
Не хочу тебя знать с этих пор!
Я пойду в ее общество светское,
Я там буду умен и остер!

Пусть поймет, что свободно и молодо
В этом сердце волнуется кровь,
Что под маской наружного холода
Бесконечная скрыта любовь...

Полно роль-то играть сумасшедшего,
В сердце искру надежды беречь!
Не стряхнуть рокового прошедшего
Мне с моих невыносливых плеч!

Придавила меня бедность грозная,
Запугал меня с детства отец,
Бесталанная долюшка слезная
Извела, доконала в конец!

Знаю я: сожаленье постыдное,
Что, как червь, копошится в груди,
Да сознанье бессилья обидное
Мне осталось одно впереди...

* * *

О письма женщины, нам милой!
От вас восторгам нет числа,
Но в будущем душе унылой
Готовите вы больше зла.
Когда погаснет пламя страсти,
Или послушаетесь вы
Благоразумья строгой власти
И чувству скажете: увы!
Отдайте ей ее посланья
Иль не читайте их потом,
А то нет хуже наказанья,
Как задним горевать числом.
Начнешь с усмешкою ленивой,
Как бред невинный и пустой,
А кончишь злобою ревнивой
Или мучительной тоской...

О ты, чьих писем много, много
В моем портфеле берегу!
Подчас на них гляжу я строго,
Но бросить в печку не могу.
Пускай мне время доказало,
Что правды в них и проку мало,
Как в праздном лепете детей,
Но и теперь они мне милы —
Поблекшие цветы с могилы
Погибшей юности моей!

* * *

(ИЗ ГЕЙНЕ)

Ах, были счастливые годы!
Жил шумно и весело я,
Имел я большие доходы,
Со мной пировали друзья;

Я с ними последним делился,
И не было дружбы нежней,

Но мой кошелек истощился —
И нет моих милых друзей!

Теперь у постели больного —
Как зимняя вьюга шумит —
В ночной своей кофте, сурово
Старуха-Забота сидит.

Скрипя, раздирает мне ухо
Ее табакерка порой.
Как страшно кивает старуха
Седою своей головой!

Случается, снова мне снится
То полное счастья житье,
И станет отраднее биться
Изнывшее сердце мое...

Вдруг скрип, раздирающий ухо, —
И мигом исчезла мечта!
Сморкается громко старуха,
Зевает и крестит уста.

ПРЕКРАСНАЯ ПАРТИЯ

1

У хладных невских берегов,
В туманном Петрограде,
Жил некто господин Долгов
С женой и дочкой Надей.

Простой и добрый семьянин,
Чиновник непродажный,
Он нажил только дом один —
Но дом пятиэтажный.

Учась на медные гроши,
Не ведал по-французски,
Был добр по слабости души,
Но как-то не по-русски:

Есть русских множество семей,
Они как будто добры,

Но им у крепостных людей
Считать не стыдно ребры.

Не отличался наш Долгов
Такой рукою бойкой,
И только колотить тузов
Любил козырной двойкой.

Зато господь его взыскал
Своею благодатью:
Он город за женою взял
И породнился с знатью.

Итак, жена его была
Наклонна к этикету
И дом, как следует, вела
Подстать большому свету:

Сама не сходит на базар
И в кухню ни ногою;
У дома их стоял швейцар
С огромной булавою;

Лакеи чинною толпой
Теснилися в прихожей,
И между ними ни одной
Кривой и пьяной рожи.

Всегда сервирован обед
И чай весьма прилично,
В парадных комнатах паркет
Так вылощен отлично.

Они давали вечера
И даже в год два бала:
Играли старцы до утра,
А молодежь плясала;

Гремела музыка всю ночь,
По требованью глядя.
Царицей тут была их дочь —
Красивенькая Надя.

2

Ни преждевременным умом,
Ни красотой нимало
В невинном возрасте своем
Она не поражала.

Была ленивой в десять лет
И милою резвушкой:
Цветущ и ясен, божий свет
Казался ей игрушкой.

В семнадцать — сверстниц и сестриц
Всех красотой затмила,
Но наших чопорных девиц
Собой не повторила:

В глазах природный ум играл,
Румянец в коже смуглой,
Она любила шумный бал
И не была там куклой.

В веселом обществе гостей
Жеманно не молчала,
И строгой маменьки своей
Глазами не искала.

Любила музыку она
Не потому, что в моде;
Не исключительно луна
Ей нравилась в природе.

Читать любила иногда,
И с книгой не скучала.
Напротив, и гостей тогда,
И танцы забывала;

Но также *синего чулка*
В ней не было приметы:
Не трактовала свысока
Ученые предметы,

Разбору строгому еще
Не предавала чувства,
И не трещала горячо
О святости искусства.

Ну, словом, глядя на нее,
Поэт сказал бы с жаром:
«Цвети, цвети, дитя мое!
Ты создана недаром! ..»

Уж ей врала про женихов
Услужливая няня.
Немало ей писал стихов
Кузен какой-то Ваня.

Мамаша повторяла ей:
«Уж ты давно невеста».
Но в сердце береглось у ней
Незанятое место.

Девичий сон еще был тих
И крепок благотворно.
А между тем давно жених
К ней сватался упорно...

3

То был гвардейский офицер,
Воитель черноокий.
Блистал он светскостью манер
И лоб имел высокий;

Был очень тонкого ума,
Воспитан превосходно,
Читал Фудраса и Дюма
И мыслил благородно;

Хоть книги редко покупал,
Но чтил литературу,
И даже анекдоты знал
Про русскую цензуру.

В Шекспире признавал талант
За личность Дездемоны,
И строго осуждал Жорж Санд,
Что носит панталоны;

Был от Рубини без ума,
Пел басом «caro mio»
И к другу при конце письма
Приписывал «addio».

Его любимый идеал
Был Александр Марлинский.
Но он всему предпочитал
Театр Александринский.

Здесь пищи он искал уму,
Отхлопывал ладони,
И были пó сердцу ему
И Кукольник и Кони.

Когда главою помавал,
Как некий древний магик,
И диким зверем завывал
Широкоплечий трагик,

И вдруг влетала, как зефир,
Воздушная Сюзета —
Тогда он забывал весь мир,
Вникая в смысл куплета.

Следил за нею чуть дыша,
Не отрывая взора;
Казалось, вылетит душа
С его возгласом: фора!

В нем бурно поднимала кровь
Все силы молодые.
Счастливый юноша! любовь
Он познавал впервые!

Отрада юношеских лет,
Подруга идеалам,

О сцена, сцена! не поэт,
Кто не был театралом,

Кто не сдавался в милый плен,
Не рвался за кулисы
И не платил громадных цен
За кресла в бенефисы,

Кто по часам не поджидал
Зеленую карету
И водевилей не писал
На бенефис «предмету»!

Блажен, кто успокоил кровь
Обычной чередою:
Успехом увенчал любовь
И завелся семьею;

Но тот, кому не удались
Исканья, — не в накладе:
Прелестны грации кулис —
Покуда на эстраде;

Там вся поэзия души,
Там места нет для прозы.
А дома сплетни, барыши,
Упреки, зависть, слезы.

Так отдает внаймы другим
Свой дом владелец жадный,
А сам, нечист и нелюдим,
Живет в конуре смрадной.

Но ты, к кому души моей
Летят воспоминанья,
Я бескорыстней и светлей
Не видывал созданья!

Блестящ и краток был твой путь...
Но я на эту тему
Вам напишу когда-нибудь
Особую поэму...

В младые годы наш герой
К театру был прикован,
Но ныне он отцвел душой —
Устал, разочарован!

Когда при тысяче огней
В великолепной зале,
Кумир девиц, гроза мужей,
Он танцовал на бале,

Когда являлся в маскарад
Во всей парадной форме,
Когда садился в первый ряд
И дико хлопал «Норме»,

Когда по Невскому скакал
С усмешкой губ румяных,
И кучер бешено кричал
На пару шведок рьяных, —

Никто б, конечно, не узнал
В нем нового Манфреда...
Но, ах! он жизнию скучал —
Пока лишь до обеда.

Являл он Байрона черты
В характере усталом:
Не верил в книги и мечты,
Не увлекался балом.

Он знал: фортуны колесо
Пленяет только младость;
Он в ресторации Дюссо
Давно утратил радость!

Не верил истине в друзьях,
Им верят лишь невежды, —
С кием и картами в руках
Познал тщету надежды!

Он буйно молодость убил,
Взяв образец в Ловласе,

И рано сердце остудил
У Кессених в танцклассе!

Расстроил тысячу крестьян,
Чтоб как-нибудь забыться...
Пуста душа и пуст карман —
Пора, пора жениться!

4

Недолго в деве молодой
Таилося раздумье...
«Прекрасной партией такой
Пренебрегать — безумье», —

Сказала плачущая мать,
Дочь по головке гладя,
И не могла ей отказать
Растроганная Надя.

Их сговорили чередой
И обвенчали вскоре.
Как думаешь, читатель мой,
На радость или горе?..

ЗА ГОРОДОМ

«Смешно! нас веселит ручей, вдали журчащий,
И этот темный дуб, таинственно шумящий;
Нас тешит песнею задумчивой своей,
Как праздных юношей, вечерний соловей;
Далекий свод небес, усеянный звездами,
Нам кажется простерт с любовию над нами;
Любуясь месяцем, оглядывая даль,
Мы чувствуем в душе ту тихую печаль,
Что слаще радости... Откуда чувства эти?
Чем так довольны мы?.. Ведь мы уже не дети!
Ужель поденный труд наклонности к мечтам
Еще в нас не убил?.. И нам ли, беднякам,
На отвлеченные природой наслажденья
Свободы краткие истрачивать мгновенья?»

— Э! полно рассуждать! искать всему причин!
Деревня согнала с души давнишний сплин.
Забыта тяжкая, гнетущая работа,
Докучной бедности бессменная забота —
И сердцу весело... И лучше поскорей
Судьбе воздать хвалу, что в нищете своей,
Лишенные даров довольства и свободы,
Мы живо чувствуем сокровища природы,
Которых сильные и сытые земли
Отнять у бедняков голодных не могли...

1853

ПАМЯТИ <АСЕНКОВ>ОЙ

В тоске по юности моей
И в муках разрушенья
Прошедших невозвратных дней
Припомнив впечатленья,

Одно из них я полюбил
Будить в душе суровой,
Одну из множества могил
Оплакал скорбью новой...

Я помню: занавесь взвилась,
Толпа угомонилась —
И ты на сцену в первый раз,
Как светлый день, явилась.

Театр гремел: и дилетант,
И скептик хладнокровный
Твое искусство, твой талант
Почтили данью ровной.

И точно, мало я видал
Красивее головок;
Твой голос ласково звучал,
Твой каждый шаг был ловок;

Дышали милые черты
Счастливым детским смехом...
Но лучше б воротилась ты
Со сцены с неуспехом!

Увы, наивна ты была,
Вступая за кулисы —
Ты благородно поняла
Призвание актрисы:

Исканья старых богачей
И молодых нахалов,
Куплеты бледных рифмачей
И вздохи театралов —

Ты всё отвергла... Заперлась
Ты феей недоступной —
И вся искусству предалась
Душою неподкупной.

И что ж? обижены тобой,
Лишенные надежды,
Отмстить решились клеветой
Бездушные невежды!

Переходя из уст в уста,
Коварна и бесчестна,
Крылатым змеем клевета
Носилась повсеместно —

И все заговорило вдруг...
Посыпались упреки,
Стихи и письма, и подруг
Нетонкие намеки...

Душа твоя была нежна,
Прекрасна, как и тело,
Клевет не вынесла она,
Врагов не одолела!

Их говор лишь тогда затих,
Как смерть тебя сразила...
Ты до последних дней своих
Со сцены не сходила.

В сознаньи светлой красоты
И творческого чувства
Восторг толпы любила ты,
Любила ты искусство,

Любила славу... Твой закат
Был странен и прекрасен:
Горел огнем глубокий взгляд,
Пронзителен и ясен;

Пылали щеки; голос стал
Богаче страстью нежной...
Увы! театр рукоплескал
С тоскою безнадежной!

Сама ты знала свой удел,
Но до конца, как прежде,
Твой голос, погасая, пел
О счастьи и надежде.

Не так ли звездочка в ночи,
Срываясь, упадает
И на лету свои лучи
Последние роняет?..

ПОСЛЕДНИЕ ЭЛЕГИИ

1

Душа мрачна, мечты мои унылы,
Грядущее рисуется темно.
Привычки, прежде милые, постылы,
И горек дым сигары. Решено!
Не ты горька, любимая подруга
Ночных трудов и одиноких дум, —
Мой жребий горек. Жадного недуга
Я не избег. Еще мой светел ум,
Еще в надежде глупой и послушной
Не ищет он отрады малодушной,
Я вижу все... А рано смерть идет,
И жизни жаль мучительно. Я молод,
Теперь поменьше мелочных забот,
И реже в дверь мою стучится голод:
Теперь бы мог я сделать что-нибудь.
Но поздно!.. Я — как путник безрассудный,

Пустившийся в далекий, долгий путь,
Не соразмерив сил с дорогой трудной:
Кругом все чуждо, негде отдохнуть,
Стоит он, бледный, средь большой дороги.
Никто его не призрел, не подвез:
Промчалась тройка, проскрипел обоз —
Все мимо, мимо! .. Подкосились ноги,
И он упал... Тогда к нему толпой
Сойдутся люди — смущены, унылы,
Почтят его ненужною слезой
И подвезут охотно — до могилы...

2

Я рано встал, недолги были сборы,
Я вышел в путь, чуть занялась заря;
Переходил я пропасти и горы,
Переплывал я реки и моря;
Боролся я, один и безоружен,
С толпой врагов; не унывал в беде
И не роптал. Но стал мне отдых нужен —
И не нашел приюта я нигде!
Не раз, упав лицом в сырую землю,
С отчаяньем, голодный, я твердил:
«По силам ли, о боже! труд подъемлю?»
И снова шел, собрав остаток сил.
Все ближе и знакомее дорога,
И пройдено все трудное в пути!
Главы церквей сияют впереди —
Недалеко до отчего порога!
Насмешливо сгибаясь и кряхтя
Под тяжестью сумы своей дырявой,
Алчбы и жажды бледное дитя,
Голодный труд, попутчик мой лукавый,
Уж прочь идет: теперь нам розный путь.
Вперед, вперед! Но изменили силы —
Очнулся я на рубеже могилы...
И не́кому и не́чем помянуть!
Настанет утро — солнышко осветит
Бездушный труп; все будет решено!
И в целом мире сердце лишь одно —
И то едва ли — смерть мою заметит...

3

Пышна в разливе гордая река,
Плывут суда, колеблясь величаво,
Просмолены их черные бока,
Над ними флаг, на флаге надпись: слава!
Толпы народа берегом бегут,
К ним приковав досужее вниманье,
И, шляпами размахивая, шлют
Пловцы родному берегу прощанье, —
И в миг оно подхвачено толпой,
И дружно берег весь ему ответит.
Но тут же, опрокинутый волной,
Погибни челн — и кто его заметит?
А если и раздастся дикий стон
На берегу — внезапный, одинокий,
За криками не будет слышен он
И не дойдет на дно реки глубокой...
Подруга темной участи моей!
Оставь скорее берег, озаренный
Горячим блеском солнечных лучей
И пестрою толпою оживленный, —
Чем солнце ярче, люди веселей,
Тем сердцу сокрушенному больней!

В ДЕРЕВНЕ

1

Право, не клуб ли вороньего рода
Около нашего нынче прихода?
Вот и сегодня... ну просто беда!
Глупое карканье, дикие стоны...
Кажется, с целого света вороны
По вечерам прилетают сюда.
Вот и еще, и еще эскадроны...
Рядышком сели на купол, на крест,
На колокольне, на ближней избушке, —
Вон у плетня покачнувшийся шест:
Две уместились на самой верхушке,
Крыльями машут... Все то же опять,

Что и вчера... посидят — и в дорогу!
Полно лениться! ворон наблюдать!
Черные тучи ушли, слава богу,
Ветер смирился: пройдусь до полей.
С самого утра унылый, дождливый
Выдался нынче денек несчастливый:
Даром в болоте промок до костей,
Вздумал работать, да труд не дается,
Глядь уж и вечер — вороны летят...
Две старушонки сошлись у колодца,
Дай-ка послушаю, что говорят...

2

— Здравствуй, родная. — «Как можется, кумушка?
Все еще плачешь никак?
Ходит, знать, пó сердцу горькая думушка,
Словно хозяин-большак?»
— Как же не плакать? Пропала я, грешная!
Душенька ноет, болит...
Умер, Касьяновна, умер, сердешная,
Умер, и в землю зарыт!

Ведь наскочил же на экую гадину!
Сын ли мой не был удал?
Сорок медведей поддел на рогатину —
На сорок первом сплошал!
Росту большого, рука, чтó железная,
Плечи — косая сажень;
Умер, Касьяновна, умер, болезная, —
Вот уж тринадцатый день!

Шкуру с медведя-то содрали, продали,
Деньги — семнадцать рублей —
За душу бедного Саввушки подали,
Царство небесное ей!
Добрая барыня Марья Романовна
На панихиду дала...
Умер, голубушка, умер, Касьяновна, —
Чуть я домой добрела.

Ветер шатает избенку убогую,
Весь развалился овин...
Словно шальная пошла я дорогою:
Не попадется ли сын?
Взял бы топорик — беда поправимая —
Мать бы утешил свою...
Умер, Касьяновна, умер, родимая, —
Надо ль? топор продаю.

Кто приголубит старуху безродную?
Вся обнищала в конец!
В осень ненастную, в зиму холодную
Кто запасет мне дровец?
Кто, как доносится теплая шубушка,
Зайчиков новых набьет?
Умер, Касьяновна, умер, голубушка, —
Даром ружье пропадет!

Веришь, родная: с тоской да с заботами
Так опостылел мне свет!
Лягу в коморку, покроюсь тенетами
Словно как саваном... Нет!
Смерть не приходит... Брожу нелюдимая,
Попусту жалоблю всех...
Умер, Касьяновна, умер, родимая, —
Эх! кабы только не грех...

Ну, да и так... дай бог зиму промаяться,
Свежей травы мне не мять!
Скоро избенка совсем расшатается,
Некому поле вспахать.
В город сбирается Марья Романовна,
По́-миру сил нет ходить...
Умер, голубушка, умер, Касьяновна,
И не велел долго жить! —

3

Плачет старуха. А мне что за дело?
Что и жалеть, коли нечем помочь?
Слабо мое изнуренное тело,
Время ко сну. Недолга моя ночь:

Завтра ранењко пойду на охоту,
До свету надо покрепче уснуть...
Вот и вороны готовы к отлету,
Кончился раут... Ну, трогайся в путь!
Вот поднялись и закаркали разом.
— Слушай, равняйся! — Вся стая летит:
Кажется, будто меж небом и глазом
 Черная сетка висит.

ПАМЯТИ ПРИЯТЕЛЯ

Наивная и страстная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели,
Упорствуя, волнуясь и спеша,
Ты честно шел к одной высокой цели;
Кипел, горел — и быстро ты угас!
Ты нас любил, ты дружеству был верен —
И мы тебя почтили в добрый час!
Ты по судьбе печальной беспримерен:
Твой труд живет и долго не умрет,
А ты погиб, несчастлив и незнаем!
И с дерева неведомого плод
Беспечные беспечно мы вкушаем.
Нам дела нет, кто возрастил его,
Кто посвящал ему и труд, и время,
И о тебе не скажет ничего
Своим потомкам сдержанное племя...
И, с каждым днем окружена тесней,
Затеряна давно твоя могила,
И память благодарная друзей
Дороги к ней не проторила...

ФИЛАНТРОП

Частию по глупой честности,
Частию по простоте,
Пропадаю в неизвестности,
Пресмыкаюсь в нищете.
Место я имел доходное,
А доходу не имел:

Бескорыстье благородное!
Да и брать-то не умел.
В Провиянтскую Комиссию
Поступивши, например,
Покупал свою провизию —
Вот какой миллионер!
Не взыщите! честность ярая
Одолела до ногтей;
Даже стыдно вспомнить старое —
Ведь имел уж и детей!
Сожалели по Житомиру:
«Ты-де нищим кончишь век
И семейство пустишь пó-миру,
Беспокойный человек!»
Я не слушал. Сожаления
В недовольство перешли,
Оказались упущения:
Подвели — и упекли!
Совершилося пророчество
Благомыслящих людей:
Холод, голод, одиночество,
Переменчивость друзей —
Всё мы, бедные, изведали,
Чашу выпили до дна:
Плачут дети — не обедали,
Убивается жена,
Проклинает поведение,
Гордость глупую мою;
Я брожу, как привидение,
Но — свидетель бог — не пью!
Каждый день встаю ранехонько,
Достаю насущный хлеб...
Так мы десять лет ровнехонько
Бились, волею судеб.
Вдруг — известье незабвенное! —
Получаю письмецо,
Что в столице есть отменное
Благородное лицо;
Муж, которому подобного,
Может быть, не знали вы,
Сердца ангельски-незлобного
И умнейшей головы.

О народном просвещении
Соревнуя, генерал
В популярном изложении
Восемь томов написал.
Продавал в большом количестве*
Их дешевле пятака,
Вразумить об электричестве
В них стараясь мужика.
Словно с равными беседуя,
Он и с нищими учтив,
Нам терпенье проповедуя,
Как Сократ красноречив.
Он мое же поведение
Мне как будто объяснил,
И ко взяткам отвращение
Я тогда благословил;
Перестал стыдиться бедности:
Да! лохмотья нищеты
Не свидетельство зловредности,
А скорее правоты!
Снова благородной гордости
(Человек самолюбив),
Упования и твердости
Я почувствовал прилив.
«Нам господь послал спасителя, —
Говорю тогда жене, —
Нашим крошкам покровителя!»
И бедняжка верит мне.
Горе мы забвенью предали,
Сколотили сто рублей,
Все, как следует, разведали
И в столицу поскорей.
Прикатили прямо к сроднику,
Не пустил — я в нумера...
Вся семья моя угоднику
В ночь молилась. Со двора
Вышел я чем свет. Дорогою,
Чтоб участие привлечь,
Я всю жизнь мою убогую
Совместил в такую речь:
«Оттого-де ныне с голоду
Умираю, словно тварь,

Что был глуп и честен смолоду,
Знал, что значит бог и царь.
Не скажу: по справедливости,
(Не велик я генерал),
По ребяческой стыдливости
Даже с правого не брал —
И погиб... Я горе мыкаю,
Я работаю за двух,
Но не чаркой — вашей книгою
Подкрепляю слабый дух,
Защитите!..»
Не заставили
Ждать минуты ни одной.
Вот в приемную поставили,
Доложили чередой.
Вот идут — остановилися.
Я сробел, чуть жив стою:
Замер дух, виски забилися,
И забыл я речь свою!
Тер и лоб, и переносицу,
В потолок косил глаза,
Бормотал лишь околесицу,
А о деле — ни аза!
Изумились, брови сдвинули:
«Что вам нужно?» — говорят.
— Нужно мне... — Тут слезы хлынули
Совершенно невпопад.
Просто вещь непостижимая
Приключилася со мной:
Грусть, печаль неудержимая
Овладела всей душой.
Все, чем жизнь богата с младости
Даже в нищенском быту —
Той поры счастливой радости,
Попросту сказать: мечту —
Все, что кануло и сгинуло
В треволненьях жизни сей,
Все я вспомнил, все прихлынуло
К сердцу... Жалкий дуралей!
Под влиянием прошедшего,
В грудь ударив кулаком,
Взвыл я вроде сумасшедшего

Пред сиятельным лицом!..
Все такие обстоятельства
И в мундиришке изъян
Привели его сиятельство
К заключенью, что я пьян.
Экзекутора, холопа ли
Попрекнули, что пустил,
И ногами так затопали...
Я лишился чувств и сил!
Жаль, одним не осчастливили —
Сами не дали пинка...
Пьяницу с почетом вывели
Два огромных гайдука.
Словно кипятком ошпаренный,
Я бежал, не слыша ног,
Мимо лавки пивоваренной,
Мимо погребальных дрог,
Мимо магазина швейного,
Мимо бань, церквей и школ,
Вплоть до здания питейного —
И уж дальше не пошел!

Дальше нечего рассказывать!
Минет сорок лет зимой,
Как я щеку стал подвязывать,
Отморозивши хмельной.
Чувства словно как заржавели,
Одолела страсть к вину;
Дети пьяницу оставили,
Схоронил давно жену.
При отшествии к родителям,
Хоть кротка была весь век,
Попрекнула покровителем.
Точно: странный человек!
Верст на тысячу в окружности
Повестят свой добрый нрав,
А осудят по наружности:
Неказист — так и неправ!
Пишут, как бы свет весь заново
К общей пользе изменить,
А голодного от пьяного
Не умеют отличить...

ОТРЫВКИ ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК ГРАФА ГАРАНСКОГО

(Перевод с французского: Trois mois dans la Patrie. Essais de Poésie et de Prose, suiv's d'un Discours sur les moyens de parvenir au développement des forces morales de la Nation Russe et des richesses naturelles de cet Etat. Par un Russe, comte de Garansky. 8 vol. in-4° Paris, 1836)[1]

Я путешествовал недурно: русский край
Оригинальности имеет отпечаток;
Не то, чтоб в деревнях трактиры были — рай,
Не то, чтоб в городах писцы не брали взяток, —
Природа нравится громадностью своей.
Такой громадности не встретите нигде вы:
Пространство широко раскинутых степей
Лугами здесь зовут; начнутся ли посевы —
Не ждите им конца! Подобно островам
Зеленые леса и серые селенья
Пестрят равнину их, и любо видеть вам
Картину сельского обычного движенья...
Подобно муравью, трудолюбив мужик:
Ни грубости их рук, ни лицам загорелым
Я больше не дивлюсь: я видеть их привык
В работах полевых чуть не по суткам целым.
Не только мужики здесь преданы труду,
Но даже дети их, беременные бабы —
Все терпят общую, по их словам, «страду»,
И грустно видеть, как иные бледны, слабы!
Я думаю, земель избыток и лесов
Способствует к труду всегдашней их охоте,
Но должно б вразумлять корыстных мужиков,
Что изнурительно излишество в работе.
Не такова ли цель — в немецких сюртуках
Особенных фигур, бродящих между ними?
Нагайки у иных заметил я в руках...
Как быть! Не вразумишь их средствами другими:
Натуры грубые! ..
Какие реки здесь!

[1] «Три месяца в отчизне. Опыты в стихах и прозе, с присовокуплением рассуждения о мерах, споспешествующих развитию нравственных начал в русском народе и естественных богатств Российского Государства. Сочинение русского графа де Гаранского. Восемь томов. Париж. 1836». *Ред.*

Какие здесь леса! Пейзаж природы русской
Со временем собьет, я вам ручаюсь, спесь
С природы реинской, но только не с французской!
Во Франции провел я молодость свою;
Пред ней, как говорят в стихах, все клонит выю,
Но все ж по совести и громко признаю,
Что я не ожидал найти такой Россию!
Природа недурна: в том отдаю ей честь, —
Я славно ел и спал, подьячим не дал штрафа...
Да, средство странствовать и по России есть —
С французской кухнею и с русским титлом графа!..
Но только худо то, что каждый здесь мужик
Дворянский гонор мой, сиятельную совесть
Безбожно возмущал; одну и ту же повесть
Бормочет каждому негодный их язык:
Помещик — лиходей! а если управитель,
То, верно, — живодер, отъявленный грабитель!
Спрошу ли ямщика: «Чей, братец, виден дом?»
— Помещика... — «Что, добр?» — Нешто, хороший барин,
Да только... — «Что, мой друг?»
— С тяжелым кулаком,
Как хватит — год хворай. — «Неужто? вот татарин!»
— Э, нету, ничего! маненичко ретив,
А добрая душа, не тяготит оброком,
Почасту с мужиком и ласков, и правдив,
А то скулу свернет, вестимо ненароком!
Куда б еще ни шло за барином таким,
А то и хуже есть. Вот памятное место:
Тут славно мужички расправились с одним... —
«А что?» — Да сделали из барина-то тесто. —
«Как тесто?» — Да в куски живого изрубил
Один мужик... попал такому в лапы... —
«За что же?» — Да за то, что барин лаком был
На свой, примеоно, гвоздь чужие вешать шляпы. —
«Как так?» — Да так, сударь, чуть женится мужик,
Веди к нему жену; проспит с ней перву ночку,
А там и к мужу в дом... да наш народец дик,
Сначала потерпел, — не всяко лыко в строчку,
А после и того... А вот, примерно, тут
Извольте посмотреть — домок на косогоре,
Четыре барышни-сестрицы в нем живут,

Так мужикам от них уж просто смех и горе:
Именья — семь дворов; так бедно, что с трудом
Дай бог своих детей прохарчить мужичонку,
А тут еще беда: что год, то в каждый дом
Сестрицы-барышни подкинут по ребенку. —
«Как, что ты говоришь?» — А то, что в восемь лет
Так тридцать три души прибавилось в именье.
Убытку барышням, известно дело, нет,
Да, судырь, мужичкам какое раздренье! —
Ну, словом, все одно: тот с дворней выезжал
Разбойничать, тот затравил мальчишку, —
Таких рассказов здесь так много я слыхал,
Что скучно, наконец, записывать их в книжку.
Ужель помещики в России таковы?
Я к многим заезжал; иные, точно, грубы:
Муж *ты* своей жене, жена супругу *вы*,
Сивуха, грязь и вонь, овчинные тулупы.
Но есть премилые: прилично убран дом,
У дочерей рояль, а чаще фортепьяно,
Хозяин с Францией и с Англией знаком,
Хозяйка не заснет без модного романа;
Ну, все, как водится у развитых людей,
Которые глядят прилично на предметы
И вряд ли мужиков трактуют как свиней...
Я также наблюдал — в окно моей кареты —
И быт крестьянина: он нищеты далек!
По собственным моим владеньям проезжая,
Созвал я мужиков: составили кружок
И гаркнули: «ура!..» С балкона наблюдая,
Спросил: довольны ли?.. Кричат:
«Довольны всем!»
— И управляющим? — «Довольны»... О работах
Я с ними говорил, поил их — и затем,
Бекаса подстрелив в наследственных болотах,
Поехал далее... Я мало с ними был,
Но видел, что мужик свободно ел и пил,
Плясал и песни пел; а немец-управитель
Казался между них отец и покровитель...

Чего же им еще?.. А если точно есть
Любители кнута, поборники тиранства,
Которые, забыв гуманность, долг и честь,

Пятнают родину и русское дворянство —
Чего же медлишь ты, сатиры грозной бич?
Я книги русские перебирал все лето:
Пустейшая мораль, напыщенная дичь —
И лучшие темны, как стертая монета!
Жаль, дремлет русский ум. А то, чего б верней?
Правительство казнит открытого злодея,
Сатира действует и шире, и смелей,
Как пуля находить виновного умея.
Сатире уж не раз обязана была
Европа (кажется, отчасти и Россия)
Услугой важною. . . . .

БУРЯ

Долго не сдавалась Любушка-соседка,
Наконец шепнула: «Есть в саду беседка,

Как темнее станет — понимаешь ты? ..»
Ждал я, исстрадался, ночки-темноты!

Кровь-то молодая: закипит — не шутка!
Да взглянул на небо — и поверить жутко!

Небо обложилось тучами кругом...
Полил дождь ручьями — прокатился гром!

Брови я нахмурил и пошел угрюмый:
Свидеться сегодня лучше и не думай!

Люба — белоручка, Любушка пуглива,
В бурю за ворота выбежать ей в диво;

Правда, не была бы буря ей страшна,
Если б... да настолько любит ли она? ..

Без надежды, скучен прихожу в беседку,
Прихожу и вижу — Любушку-соседку!

Промочила ножки и хоть выжми шубку...
Было мне заботы обсушить голубку!

Да зато с той ночи я бровей не хмурю,
Только усмехаюсь, как заслышу бурю...

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,

Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.

Кажется, шепчут колосья друг другу:
«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,

Скучно склоняться до самой земли,
Тучные зерна купая в пыли!

Нас, что ни ночь, разоряют станицы
Всякой пролетной прожорливой птицы,

Заяц нас топчет, и буря нас бьет...
Где же наш пахарь? чего еще ждет?

Или мы хуже других уродились?
Или недружно цвели-колосились?

Нет! мы не хуже других — и давно
В нас налилось и созрело зерно.

Не для того же пахал он и сеял,
Чтобы нас ветер осенний развеял...»

Ветер несет им печальный ответ:
— Вашему пахарю моченьки нет.

Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.

Плохо бедняге — не ест и не пьет,
Червь ему сердце больное сосет,

Руки, что вывели борозды эти,
Высохли в щепку, повисли как плети,

Очи потускли и голос пропал,
Что заунывную песню певал,

Как, на соху налегая рукою,
Пахарь задумчиво шел полосою.

* * *

Я сегодня так грустно настроен,
Так устал от мучительных дум,
Так глубоко, глубоко спокоен
Мой истерзанный пыткою ум, —

Что недуг, мое сердце гнетущий,
Как-то горько меня веселит —
Встречу смерти, грозящей, идущей,
Сам пошел бы... Но сон освежит —

Завтра встану и выбегу жадно
Встречу первому солнца лучу:
Вся душа встрепенется отрадно
И мучительно жить захочу!

А недуг, сокрушающий силы,
Будет так же и завтра томить,
И о близости темной могилы
Так же внятно душе говорить...

ВЛАС

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой.

На груди икона медная;
Просит он на божий храм,
Весь в веригах, обувь бедная,
На щеке глубокий шрам;

Да с железным наконешником
Палка длинная в руке...
Говорят, великим грешником
Был он прежде. В мужике

Бога не было; побоями
В гроб жену свою вогнал;
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал;

У всего соседства бедного
Скупит хлеб, а в черный год
Не поверит гроша медного,
Втрое с нищего сдерет!

Брал с родного, брал с убогого,
Слыл кащеем-мужиком;
Нрава был крутого, строгого...
Наконец и грянул гром!

Власу худо; кличет знахаря —
Да поможешь ли тому,
Кто снимал рубашку с пахаря,
Крал у нищего суму?

Только пуще все неможется.
Год прошел — а Влас лежит,
И построить церковь божится,
Если смерти избежит.

Говорят, ему видение
Все мерещилось в бреду:
Видел света преставление,
Видел грешников в аду:

Мучат бесы их проворные,
Жалит ведьма-егоза.
Ефиопы — видом черные
И как углие глаза,

Крокодилы, змии, скорпии
Припекают, режут, жгут...
Воют грешники в прискорбии,
Цепи ржавые грызут.

Гром глушит их вечным грохотом,
Удушает лютый смрад,
И кружит над ними с хохотом
Черный тигр-шестокрылат.

Те на длинный шест нанизаны,
Те горячий лижут пол...
Там, на хартиях написаны,
Влас грехи свои прочел...

Влас увидел тьму кромешную
И последний дал обет...
Внял господь — и душу грешную
Воротил на вольный свет.

Роздал Влас свое имение,
Сам остался бос и гол,
И сбирать на построение
Храма божьего пошел.

С той поры мужик скитается
Вот уж скоро тридцать лет,
Подаянием питается —
Строго держит свой обет.

Сила вся души великая
В дело божие ушла:

Словно сроду жадность дикая
Непричастна ей была...

Полон скорбью неутешною,
Смуглолиц, высок и прям,
Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам.

Нет ему пути далекого:
Был у матушки Москвы,
И у Каспия широкого,
И у царственной Невы.

Ходит с образом и с книгою,
Сам с собой все говорит
И железною веригою
Тихо на ходу звенит.

Ходит в зимушку студеную,
Ходит в летние жары,
Вызывая Русь крещеную
На посильные дары, —

И дают, дают прохожие...
Так из лепты трудовой
Вырастают храмы божии
По лицу земли родной...

14 ИЮНЯ 1854 ГОДА

Великих зрелищ, мировых судеб
Поставлены мы зрителями ныне:
Исконные, кровавые враги,
Соединясь, идут против России:
Пожар войны полмира обхватил,
И заревом зловещим осветились
Деяния держав миролюбивых...
Обращены в позорище вражды
Моря и суша... Медленно и глухо
К нам двинулись громады кораблей,
Хвастливо предрекая нашу гибель,

И наконец приблизились — стоят
Пред укрепленной русскою твердыней...
И ныне в урне роковой лежат
Два жребия... и наступает время,
Когда решитель мира и войны
Исторгнет их всесильною рукой
И свету потрясенному покажет.

1855

* * *

Праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда,
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени — не был никогда.

Если долго сдержанные муки,
Накипев, под сердце подойдут,
Я пишу: рифмованные звуки
Нарушают мой обычный труд.

Все ж они не хуже плоской прозы
И волнуют мягкие сердца,
Как внезапно хлынувшие слезы
С огорченного лица.

Но не льщусь, чтоб в памяти народной
Уцелело что-нибудь из них...
Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих!

Нет в тебе творящего искусства...
Но кипит в тебе живая кровь,
Торжествует мстительное чувство,
Догорая, теплится любовь, —

Та любовь, чтó добрых прославляет,
Чтó клеймит злодея и глупца
И венком терновым наделяет
Беззащитного певца...

ИЗВОЗЧИК

1

Парень был Ванюха ражий,
Рослый человек, —
Не поддайся силе вражей,
Жил бы долгий век.
Полусонный по природе,
Знай зевал в кулак,
И прозвание в народе
Получил: вахлак!
Правда, с ним случилось диво,
Как в Грязной стоял:
Ел он мало и лениво,
По ночам не спал...
Все глядит, бывало, в оба
В супротивный дом:
Там жила его зазноба —
Кралечка лицом!
Под ворота словно птичка
Вылетит с гнезда,
Белоручка, белоличка...
Жаль одно: горда!
Прокатив ее, учтиво
Он ей раз сказал:
— Вишь ты больно тороплива? —
И за ручку взял...
Рассердилась: «Не позволю!
Полно — не замай!
Прежде выкупись на волю,
Да потом хватай!»
Поглядел за нею Ваня,
Головой тряхнул:
— Не про нас ты, — молвил, —
Таня, —
И рукой махнул...
Скоро лето наступило,
С барыней своей

Таня в Тулу укатила.
    Ванька стал умней:
Он по прежнему порядку
    Полюбил чаек,
Наблюдал свою лошадку,
    Добывал оброк,
Пил умеренно горелку,
    Знал копейке вес,
Да какую же проделку
    Сочинил с ним бес! ..

2

Раз купец ему попался
    Из родимых мест;
Ванька с ним с утра катался
    До вечерних звезд.
А потом наелся плотно,
    Обрядил коня
И улегся беззаботно
    До другого дня...
Спит и слышит стук в ворота.
    Чу! шумят, встают...
Не пожар ли? вот забота!
    Чу! к нему идут.
Он вскочил, как заяц сгонный,
    Видит: с фонарем
Перед ним хозяин сонный
    С седоком-купцом.
«Санки где твои, детина?
    Покажи ступай!» —
Говорит ему купчина
    И ведет в сарай...
Помутился ум у Вани,
    Он, как лист, дрожал...
Поглядел купчина в сани
    И, крестясь, сказал:
«Слава богу! слава богу!
    Цел мешок-то мой!
Не взыщите за тревогу —
    Капитал большой.

Понимаете, с походом
    Будет тысяч пять...»
И купец перед народом
    Деньги стал считать...
И пока рубли звенели,
    Поднялся весь дом —
Ваньки сонные глядели,
    Оступя кругом.
«Цело все!» — сказал купчина,
    Парня подозвал:
«Вот на чай тебе полтина!
    Благо ты не знал:
Серебро-то не бумажки,
    Нет приметы, брат;
Мне ходить бы без рубашки,
    Ты бы стал богат.
Да господь-то справедливый
    Попугал шутя...»
И ушел купец счастливый,
    Под мешком кряхтя...
Над разиней поглумились
    И опять легли,
А как утром пробудились
    И в сарай пришли,
Глядь — и обмерли с испугу...
    Ни гу-гу — молчат:
Показали вверх друг другу
    И пошли назад...
Прибежал хозяин бледный,
    Вся сошлась семья:
«Что такое?..» Ванька бедный —
    Бог ему судья! —
Совладать с лукавым бесом,
    Видно, не сумел:
Над санями под навесом
    На вожжах висел!
А ведь был детина ражий,
    Рослый человек, —
Не поддайся силе вражей,
    Жил бы долгий век...

САША

1

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой,

Пахарь ли песню вдали запоет —
Долгая песня за сердце берет;

Лес ли начнется — сосна да осина...
Невесела ты, родная картина!

Что же молчит мой озлобленный ум?..
Сладок мне леса знакомого шум,

Любо мне видеть знакомую ниву —
Дам же я волю благому порыву

И на родимую землю мою
Все накипевшие слезы пролью!

Злобою сердце питаться устало —
Много в ней правды, да радости мало;

Спящих в могилах виновных теней
Не разбужу я враждою моей.

Родина-мать! я душою смирился,
Любящим сыном к тебе воротился.

Сколько б на нивах бесплодных твоих
Даром ни сгинуло сил молодых,

Сколько бы ранней тоски и печали
Вечные бури твои ни нагнали

На боязливую душу мою —
Я побежден пред тобою стою!

Силу сломили могучие страсти,
Гордую волю погнули напасти.

И про убитую музу мою
Я похоронные песни пою.

Перед тобою мне плакать не стыдно,
Ласку твою мне принять не обидно —

Дай мне отраду объятий родных,
Дай мне забвенье страданий моих!

Жизнью измят я... и скоро я сгину...
Мать не враждебна и к блудному сыну:

Только что ей я объятья раскрыл —
Хлынули слезы, прибавилось сил.

Чудо свершилось: убогая нива
Вдруг просветлела, пышна и красива,

Ласковей машет вершинами лес,
Солнце приветливей смотрит с небес.

Весело въехал я в дом тот угрюмый,
Что, осенив сокрушительной думой,

Некогда стих мне суровый внушил...
Как он печален, запущен и хил!

Скучно в нем будет. Нет, лучше поеду,
Благо не поздно, теперь же к соседу

И поселюсь среди мирной семьи.
Славные люди — соседи мои;

Славные люди! Радушье их честно,
Лесть им противна, а спесь неизвестна.

Как-то они доживают свой век?
Он уже дряхлый, седой человек,

Да и старушка не многим моложе.
Весело будет увидеть мне тоже

Сашу, их дочь... Недалеко их дом.
Все ли застану попрежнему в нем?

2

Добрые люди, спокойно вы жили,
Милую дочь свою нежно любили.

Дико росла, как цветок полевой,
Смуглая Саша в деревне степной.

Всем окружив ее тихое детство,
Что позволяли убогие средства,

Только развить воспитаньем, увы!
Эту головку не думали вы.

Книги ребенку — напрасная мука,
Ум деревенский пугает наука;

Но сохраняется дольше в глуши
Первоначальная ясность души,

Рдеет румянец и ярче, и краше...
Мило и молодо дитятко ваше, —

Бегает живо, горит, как алмаз,
Черный и влажный, смеющийся глаз,

Щеки румяны, и полны, и смуглы,
Брови так тонки, а плечи так круглы;

Саша не знает забот и страстей,
А уж шестнадцать исполнилось ей...

Выспится Саша, поднимется рано,
Черные косы завяжет у стана

И убежит, и в просторе полей
Сладко и вольно так дышится ей.

Та ли, другая пред нею дорожка —
Смело ей вверится бойкая ножка;

Да и чего побоится она?..
Все так спокойно; кругом тишина,

Сосны вершинами машут приветно,
Кажется, шепчут, струясь незаметно,

Волны, под сводом зеленых ветвей:
«Путник усталый! бросайся скорей

В наши объятья: мы добры и рады
Дать тебе, сколько ты хочешь, прохлады».

Полем идешь — все цветы да цветы,
В небо глядишь — с голубой высоты

Солнце смеется... Ликует природа!
Всюду приволье, покой и свобода;

Только у мельницы злится река:
Нет ей простора... неволя горька!

Бедная! как она вырваться хочет!
Брызжется пеной, бурлит и клокочет,

Но не прорвать ей плотины своей.
«Не суждена, видно, волюшка ей, —

Думает Саша, — безумно роптанье...»
Жизни кругом разлитой ликованье

Саше порукой, что милостив бог...
Саша не знает сомненья тревог.

Вот по распаханной, черной поляне,
Землю взрывая, бредут поселяне —

Саша в них видит довольных судьбой
Мирных хранителей жизни простой:

Знает она, что недаром с любовью
Землю польют они пóтом и кровью...

Весело видеть семью поселян,
В землю бросающих горсти семян;

Дорого-любо, кормилица-нива!
Видеть, как ты колосишься красиво,

Как ты, янтарным зерном налита,
Гордо стоишь, высока и густа!

Но веселей нет поры обмолота:
Легкая дружно спорится работа;

Вторит ей эхо лесов и полей,
Словно кричит: «поскорей! поскорей!»

Звук благодатный! Кого он разбудит,
Верно, весь день тому весело будет!

Саша проснется — бежит на гумно.
Солнышка нет — ни светло, ни темно,

Только что шумное стадо прогнали.
Как на подмерзлой грязи натоптали

Лошади, овцы! .. Парным молоком
В воздухе пахнет. Мотая хвостом,

За нагруженной снопами телегой,
Чинно идет жеребеночек пегий,

Пар из отворенной риги валит,
Кто-то в огне там у печки сидит.

А на гумне только руки мелькают,
Да высоко молотила взлетают,

Не успевает улечься их тень.
Солнце взошло — начинается день...

Саша сбирала цветы полевые,
С детства любимые, сердцу родные,

Каждую травку соседних полей
Знала по имени. Нравилось ей

В пестром смешении звуков знакомых
Птиц различать, узнавать насекомых.

Время к полудню, а Саши все нет.
«Где же ты, Саша? простынет обед,

Сашенька! Саша!»... С желтеющей нивы
Слышатся песни простой переливы;

Вот раздалося «ау»! вдалеке;
Вот над колосьями в синем венке

Черная быстро мелькнула головка...
«Вишь ты, куда забежала, плутовка!

Э!.. да никак колосистую рожь
Переросла наша дочка!» — Так что ж? —

«Что? ничего! понимай, как умеешь!
Что теперь надо, сама разумеешь:

Спелому колосу — серп удалой,
Девице взрослой — жених молодой!»

— Вот еще выдумал, старый проказник! —
«Думай не думай, а будет нам праздник!»

Так рассуждая, идут старики
Саше навстречу; в кустах у реки

Смирно присядут, подкрадутся ловко,
С криком внезапным: «попалась, плутовка!»

Сашу поймают, и весело им
Свидеться с дитятком бойким своим...

В зимние сумерки нянины сказки
Саша любила. Поутру в салазки

Саша садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной.

Няня кричит: «Не убейся, родная!»
Саша, салазки свои погоняя,

Весело мчится. На полном бегу
На бок салазки — и Саша в снегу!

Выбьются косы, растреплется шубка —
Снег отряхает, смеется голубка!

Не до ворчанья и няне седой:
Любит она ее смех молодой...

Саше случалось знавать и печали:
Плакала Саша, как лес вырубали,

Ей и теперь его жалко до слез.
Сколько тут было кудрявых берез!

Там из-за старой, нахмуренной ели
Красные грозды калины глядели,

Там поднимался дубок молодой,
Птицы царили в вершине лесной,

Понизу всякие звери таились.
Вдруг мужики с топорами явились —

Лес зазвенел, застонал, затрещал.
Заяц послушал — и вон побежал,

В темную нору забилась лисица,
Машет крылом осторожнее птица,

В недоуменьи тащат муравьи,
Что ни попало, в жилища свои.

С песнями труд человека спорился:
Словно подкошен, осинник валился,

С треском ломали сухой березняк,
Корчили с корнем упорный дубняк,

Старую сосну сперва подрубали,
После арканом ее нагибали

И, поваливши, плясали на ней,
Чтобы к земле прилегла поплотней.

Так, победив после долгого боя,
Враг уже мертвого топчет героя.

Много тут было печальных картин:
Стоном стонали верхушки осин,

Из перерубленной старой березы
Градом лилися прощальные слезы

И пропадали одна за другой
Данью последней на почве родной;

Кончились поздно труды роковые.
Вышли на небо светила ночные,

И над поверженным лесом луна
Остановилась кругла и ясна,

Трупы деревьев недвижно лежали;
Сучья ломались, скрипели, трещали,

Жалобно листья шумели кругом.
Так, после битвы, во мраке ночном

Раненый стонет, зовет, проклинает.
Ветер над полем кровавым летает —

Праздно лежащим оружьем звенит,
Волосы мертвых бойцов шевелит!

Тени ходили по пням беловатым,
Жидким осинам, березам косматым;

Низко летали, вились колесом
Совы, шарахаясь óземь крылом;

Звонко кукушка вдали куковала
Да, как безумная, галка кричала,

Шумно летая над лесом... но ей
Не отыскать неразумных детей!

С дерева комом галчата упали,
Желтые рты широко разевали,

Прыгали, злились. Наскучил их крик —
И придавил их ногою мужик.

Утром работа опять закипела.
Саша туда и ходить не хотела,

Да через месяц — пришла. Перед ней
Взрытые глыбы и тысячи пней;

Только, уныло повиснув ветвями,
Старые сосны стояли местами,

Так на селе остаются одни
Старые люди в рабочие дни.

Верхние ветви так плотно сплелися,
Словно там гнезда жар-птиц завелися,

Что́, по словам долговечных людей,
Дважды в полвека выводят детей.

Саше казалось, пришло уже время:
Вылетит скоро волшебное племя,

Чудные птицы посядут на пни,
Чудные песни споют ей они!

Саша стояла и чутко внимала.
В красках вечерних заря догорала —

Через соседний несрубленный лес,
С пышно-румяного края небес

Солнце пронзалось стрелой лучезарной,
Шло через пни полосою янтарной

И наводило на дальний бугор
Света и теней недвижный узор.

Долго в ту ночь, не смыкая ресницы,
Думает Саша: что петь будут птицы?

В комнате словно тесней и душней.
Саше не спится — но весело ей.

Пестрые грезы сменяются живо,
Щеки румянцем горят нестыдливо,

Утренний сон ее крепок и тих...
Первые зорьки страстей молодых!

Полны вы чары и неги беспечной,
Нет еще муки в тревоге сердечной;

Туча близка, но угрюмая тень
Медлит испортить смеющийся день,

Будто жалея... И день еще ясен...
Он и в грозе будет чудно прекрасен;

Но безотчетно пугает гроза...
Эти ли детски живые глаза,

Эти ли полные жизни ланиты
Грустно поблекнут, слезами покрыты?

Эту ли резвую волю во власть
Гордо возьмет всегубящая страсть?..

Мимо идите, угрюмые тучи!
Горды вы силой, свободой могучи:

С вами ли, грозные, вынести бой
Слабой и робкой былинке степной?..

8

Третьего года, наш край покидая,
Старых соседей моих обнимая,

Помню, пророчил я Саше моей
Доброго мужа, румяных детей,

Долгую жизнь без тоски и страданья...
Да не сбылися мои предсказанья!

В страшной беде стариков я застал.
Вот что про Сашу отец рассказал:

«В нашем соседстве усадьба большая
Лет уже сорок стояла пустая;

В третьем году наконец прикатил
Барин в усадьбу и нас посетил,

Именем: Лев Алексеич Агарин,
Ласков с прислугой, как будто не барин,

Тонок и бледен. В лорнетку глядел,
Мало волос на макушке имел.

Звал он себя перелетною птицей:
— Был, — говорит, — я теперь за границей,

Много видал я больших городов,
Синих морей и подводных мостов —

Все там приволье, и роскошь, и чудо,
Да высылали доходы мне худо.

На пароходе в Кронштадт я пришел,
И надо мной все кружился орел,

Словно пророчил великую долю. —
Мы со старухой дивилися вволю.

Саша смеялась, смеялся он сам...
Начал он часто похаживать к нам,

Начал гулять, разговаривать с Сашей,
Да над природой подтрунивать нашей —

Есть-де на свете такая страна,
Где никогда не проходит весна,

Там и зимою открыты балконы,
Там поспевают на солнце лимоны,

И начинал, в потолок посмотрев,
Грустное что-то читать нараспев.

Право, как песня слова выходили.
Господи! сколько они говорили!

Мало того: он ей книжки читал
И по-французски ее обучал.

Словно брала их чужая кручина,
Все рассуждали: какая причина,

Вот уж который теперича век
Беден, несчастлив и зол человек?

Но, говорит, не слабейте душою:
Солнышко правды взойдет над землею!

И в подтвержденье надежды своей
Старой рябиновкой чокался с ней.

Саша туда же, — отстать-то не хочет, —
Выпить не выпьет, а губы обмочит;

Грешные люди — пивали и мы.
Стал он прощаться в начале зимы:

— Бил, — говорит, — я довольно баклуши,
Будьте вы счастливы, добрые души,

Благословите на дело... пора! —
Перекрестился — и съехал с двора...

В первое время печалилась Саша,
Видим: скучна ей компания наша.

Годы ей, что ли, такие пришли?
Только узнать мы ее не могли,

Скучны ей песни, гаданья и сказки.
Вот и зима! — да не тешат салазки.

Думает думу, как будто у ней
Больше забот, чем у старых людей.

Книжки читает, украдкою плачет;
Видели: письма все пишет и прячет.

Книжки выписывать стала сама —
И наконец набралась же ума!

Что ни спроси, — растолкует, научит,
С ней говорить никогда не наскучит;

А доброта... Я такой доброты
Век не видал, не увидишь и ты!

Бедные все ей приятели-други:
Кормит, ласкает и лечит недуги.

Так девятнадцать ей минуло лет.
Мы поживаем — и горюшка нет.

Надо же было вернуться соседу!
Слышим: приехал и будет к обеду.

Как его весело Саша ждала!
В комнату свежих цветов принесла;

Книги свои уложила исправно,
Просто оделась, да так-то ли славно;

Вышла навстречу — и ахнул сосед!
Словно оробел. Мудреного нет:

В два-то последние года на диво
Сашенька стала пышна и красива,

Прежний румянец в лице заиграл.
Он же бледней и плешивее стал...

Все, что ни делала, что ни читала,
Саша тотчас же ему рассказала;

Только не впрок угожденье пошло!
Он ей перечил, как будто на зло:

— Оба тогда мы болтали пустое!
Умные люди решили другое,

Род человеческий низок и зол. —
Да и пошел! и пошел! и пошел! . .

Что говорил — мы понять не умеем,
Только покоя с тех пор не имеем:

Вот уж сегодня семнадцатый день,
Саша тоскует и бродит, как тень!

Книжки свои то читает, то бросит;
Гость навестит, так молчать его просит.

Был он три раза; однажды застал
Сашу за делом: мужик диктовал

Ей письмецо, да какая-то баба
Травки просила — была у ней жаба.

Он поглядел и сказал нам шутя:
— Тешится новой игрушкой дитя! —

Саша ушла — не ответила слова...
Он, было, к ней; говорит: «нездорова».

Книжек прислал — не хотела читать
И приказала назад отослать.

Плачет, печалится, молится богу...
Он говорит: «Я собрался в дорогу».

Сашенька вышла, простилась при нас,
Да и опять наверху заперлась.

Что ж? .. он письмо ей прислал. Между нами:
Грешные люди, с испугу, мы сами

Прежде его прочитали тайком:
Руку свою предлагает ей в нем.

Саша сначала отказ отослала,
Да уж потом нам письмо показала.

Мы уговаривать: чем не жених?
Молод, богат, да и нравом-то тих.

«Нет, не пойду»: А сама неспокойна;
То говорит: «Я его недостойна»,

То: «Он меня недостоин: он стал
Зол и печален и духом упал!»

А как уехал, так пуще тоскует,
Письма его потихоньку целует! ..

Что тут такое? родной, объясни!
Хочешь, на бедную Сашу взгляни.

Долго ли будет она убиваться?
Или уж ей не певать, не смеяться,

И погубил он бедняжку навек?
Ты нам скажи: он простой человек

Или какой чернокнижник-губитель?
Или не сам ли он бес-искуситель? ..»

4

Полноте, добрые люди, тужить!
Будете скоро попрежнему жить:

Саша поправится — бог ей поможет.
Околдовать никого он не может:

Он... не могу приложить головы,
Как объяснить, чтобы поняли вы...

Странное племя, мудреное племя
В нашем отечестве создало время!

Это не бес, искуситель людской,
Это, увы! — современный герой!

Книги читает да по свету рыщет —
Дела себе исполинского ищет,

Благо, наследье богатых отцов
Освободило от малых трудов,

Благо, итти по дороге избитой
Лень помешала да разум развитый:

— Нет, я души не растрачу моей
На муравьиной работе людей:

Или под бременем собственной силы
Сделаюсь жертвою ранней могилы,

Или по свету звездой пролечу!
Мир, говорит, осчастливить хочу!

Что ж под руками, того он не любит,
То мимоходом без умысла губит.

В наши великие, трудные дни
Книги не шутка: укажут они

Все недостойное, дикое, злое,
Но не дадут они сил на благое,

Но не научат любить глубоко...
Дело веков поправлять не легко!

В ком не воспитано чувство свободы,
Тот не займет его; нужны не годы, —

Нужны столетья и кровь, и борьба,
Чтоб человека создать из раба.

Все, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно, и сродно,

Только дающая силу и власть
В слове и деле чужда ему страсть!

Любит он сильно, сильней ненавидит,
А доведись — комара не обидит!

Да говорят, что ему и любовь
Голову больше волнует — не кровь!

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет:

Верить, не верить — ему все равно,
Лишь бы доказано было умно!

Сам на душе ничего не имеет,
Что вчера сжал, то сегодня и сеет;

Нынче не знает, что завтра сожнет,
Только наверное сеять пойдет.

Это в простом переводе выходит,
Что в разговорах он время проводит;

Если ж за дело возьмется — беда!
Мир виноват в неудаче тогда;

Чуть поослабнут нетвердые крылья,
Бедный кричит: «Бесполезны усилья!»

И уж куда как становится зол
Крылья свои опаливший орел...

Поняли?.. нет!.. Ну, беда небольшая!
Лишь поняла бы бедняжка больная.

Благо, теперь догадалась она,
Что отдаваться ему не должна!

А остальное все сделает время.
Сеет он все-таки доброе семя!

В нашей степной полосе, что ни шаг,
Знаете вы, — то бугор, то овраг:

В летнюю пору безводны овраги,
Выжжены солнцем, песчаны и наги,

Осенью грязны, не видны зимой,
Но погодите: повеет весной

С теплого края, оттуда, где люди
Дышат вольнее — в три четверти груди,

Красное солнце растопит снега,
Реки покинут свои берега, —

Чуждые волны кругом разливая,
Будет и дерзок, и полон до края

Жалкий овраг... Пролетела весна —
Выжжет опять его солнце до дна,

Но уже зреет на ниве поёмной,
Что оросил он волною заемной,

Пышная жатва. Нетронутых сил
В Саше так много сосед пробудил...

Эх! говорю я хитро, непонятно!
Знайте и верьте, друзья: благодатна

Всякая буря душе молодой —
Зреет и крепнет душа под грозой.

Чем неутешнее дитятко ваше,
Тем встрепенется светлее и краше:

В добрую почву упало зерно —
Пышным плодом отродится оно!

* * *

Давно — отвергнутый тобою,
Я шел по этим берегам
И, полон думой роковою,
Мгновенно кинулся к волнам.
Они приветливо яснели.

На край обрыва я ступил —
Вдруг волны грозно потемнели,
И страх меня остановил!
Поздней — любви и счастья полны,
Ходили часто мы сюда,
И ты благословляла волны,
Меня отвергшие тогда.
Теперь — один, забыт тобою,
Чрез много роковых годов,
Брожу с убитою душою
Опять у этих берегов.
И та же мысль приходит снова —
И на обрыве я стою,
Но волны не грозят сурово,
А манят в глубину свою...

ПИСЬМА

Плачь, горько плачь! Их не напишешь вновь,
Хоть написать, смеясь, ты обещала...
Они навек погибли, как любовь,
Которая их сердцу диктовала.
Хранились в них души твоей черты,
Корыстному волненью непричастной,
Поэзии роскошные цветы —
Благоуханье молодости ясной!
И пусть бы жизнь их ложью назвала, —
Она давно в них веру колебала, —
Нет! та рука со злобой их сожгла,
Которая с любовью их писала!
Грядущее опоры лишено,
Прошедшее поругано жестоко,
. . . .
. . . .

* * *

Тяжелый год — сломил меня недуг,
Беда застигла, счастье изменило, —
И не щадит меня ни враг, ни друг,
И даже ты не пощадила!

Истерзана, озлоблена борьбой
С своими кровными врагами,
Страдалица! стоишь ты предо мной
Прекрасным призраком с безумными глазами!
Упали волосы до плеч,
Уста горят, румянцем рдеют щеки,
И необузданная речь
Сливается в ужасные упреки,
Жестокие, неправые... Постой!
Не я обрек твои младые годы
На жизнь без счастья и свободы,
Я друг, я не губитель твой!
Но ты не слушаешь....

. . . .

* * *

Безвестен я. Я вами не стяжал
Ни почестей, ни денег, ни похвал,
Стихи мои — плод жизни несчастливой,
У отдыха похищенных часов,
Сокрытых слез и думы боязливой;
Но вами я не восхвалял глупцов,
Но с подлостью не заключал союза,
Нет! свой венец терновый приняла,
Не дрогнув, обесславленная Муза
И под кнутом без звука умерла.

МАША

Белый день занялся над столицей,
Сладко спит молодая жена,
Только труженик-муж бледнолицый
Не ложится — ему не до сна!

Завтра Маше подруга покажет
Дорогой и красивый наряд...
Ничего ему Маша не скажет,
Только взглянет... убийственный взгляд!

В ней одной его жизни отрада,
Так пускай в нем не видит врага:
Два таких он ей купит наряда —
А столичная жизнь дорога!

Есть, конечно, прекрасное средство:
Под рукою казенный сундук;
Но испорчен он был с малолетства
Изученьем опасных наук.

Человек он был новой породы:
Исключительно честь понимал,
И безгрешные даже доходы
Называл воровством, либерал!

Лучше жить бы хотел он попроще,
Не франтить, не тянуться бы в свет, —
Да обидно покажется теще,
Да осудит богатый сосед!

Все бы вздор. . . только с Машей не сладишь,
Не втолкуешь — глупа, молода!
Скажет: «Так за любовь мою платишь!»
Нет! упреки тошнее труда!

И кипит-поспевает работа,
И болит-надрывается грудь. . .
Наконец наступила суббота:
Вот и праздник — пора отдохнуть!

Он лелеет красавицу Машу,
Выпив полную чашу труда,
Наслаждения полную чашу
Жадно пьет. . . и он счастлив тогда!

Если дни его полны печали,
То минуты порой хороши,
Но и самая радость едва ли
Не вредна для усталой души.

Скоро в гроб его Маша уложит,
Проклянет свой сиротский удел,
И, бедняжка! ума не приложит,
Отчего он так скоро сгорел?

В БОЛЬНИЦЕ

Вот и больница. Светя, показал
В угол нам сонный смотритель.
Трудно и медленно там угасал
Честный бедняк сочинитель.
Мы попрекнули невольно его,
Что, зануждавшись в столице,
Не известил он друзей никого,
А приютился в больнице...

«Что за беда, — он шутя отвечал, —
Мне и в больнице покойно.
Я все соседей моих наблюдал:
Многое, право, достойно
Гоголя кисти. Вот этот субъект,
Что меж кроватями бродит, —
Есть у него превосходный проект,
Только — беда! не находит
Денег... а то бы давно превращал
Он в бриллианты крапиву.
Он покровительство мне обещал
И миллион на разживу!

Вот старикашка-актер: на людей
И на судьбу негодует;
Перевирая, из старых ролей
Всюду двустишия сует;
Он добродушен, задорен и мил,
Жалко, — уснул (или умер?), —
А то бы, верно, он вас посмешил...
Смолк и семнадцатый нумер!
А как он бредил деревней своей,
Как, о семействе тоскуя,
Ласки последней просил у детей,
А у жены поцелуя!

Не просыпайся же, бедный больной!
Так в забытьи и умри ты...
Очи твои не любимой рукой —
Сторожем будут закрыты!

Завтра дежурные нас обойдут,
    Саваном мертвых накроют,
Счетом в мертвецкий покой отнесут,
    Счетом в могилу зароют.
И уж тогда не являйся жена,
    Чуткая сердцем, в больницу —
Бедного мужа не сыщет она,
    Хоть раскопай всю столицу!

Случай недавно ужасный тут был:
    Пастор какой-то немецкий
К сыну приехал — и долго ходил...
    «Вы поищите в мертвецкой», —
Сторож ему равнодушно сказал.
    Бедный старик пошатнулся,
В страшном испуге туда побежал
    Да, говорят, и рехнулся!
Слезы ручьями текут по лицу,
    Он между трупами бродит:
Молча заглянет в лицо мертвецу,
    Молча к другому подходит...

Впрочем, не вечно чужою рукой
    Здесь закрываются очи.
Помню: с прошибенной в кровь головой
    К нам привели среди ночи
Старого вора: в остроге его
    Буйный товарищ изранил.
Он не хотел исполнять ничего,
    Только грозил и буянил.
Наша сиделка к нему подошла,
    Вздрогнула вдруг — и ни слова...
В странном молчаньи минута прошла:
    Смотрят один на другого!

Кончилось тем, что угрюмый злодей,
    Пьяный, обрызганный кровью,
Вдруг зарыдал — перед первой своей
    Светлой и честной любовью.
(Смолоду знали друг друга они)...
    Круто старик изменился:

Плачет да молится целые дни,
Перед врачами смирился.
Не было средства, однако, помочь...
Час его смерти был странен
(Помню я эту печальную ночь):
Он уже был бездыханен,

А всепрощающий голос любви,
Полный мольбы бесконечной,
Тихо над ним раздавался: «Живи,
Милый, желанный, сердечный!»
Все, что имела она, продала —
С честью его схоронила.
Бедная! как она мало жила!
Как она много любила!
А что любовь ей дала, кроме бед,
Кроме печали и муки?
Смолоду — стыд, а на старости лет —
Ужас последней разлуки!..

Есть и писатели здесь, господа.
Вот, посмотрите: украдкой,
Бледен и робок, подходит сюда
Юноша с толстой тетрадкой.
С юга пешком привела его страсть
В дальнюю нашу столицу:
Думал бедняга в храм славы попасть —
Рад, что попал и в больницу!
Всем он читал свой ребяческий бред —
Было тут смеху и шуму!
Я лишь один не смеялся... о нет!
Думал я горькую думу.
Братья-писатели! в нашей судьбе
Что-то лежит роковое:
Если бы все мы, не веря себе,
Выбрали дело другое —
Не было б, точно, согласен и я,
Жалких писак и педантов, —
Только бы не было также, друзья,
Скоттов, Шекспиров и Дантов!
Чтоб одного возвеличить, борьба
Тысячи слабых уносит —

Даром ничто не дается: судьба
    Жертв искупительных просит».

Тут наш приятель глубоко вздохнул,
    Начал метаться тревожно;
Мы посидели, пока он уснул, —
    И разошлись осторожно. . .

* * *

Поражена потерей невозвратной,
Душа моя уныла и слаба:
Ни гордости, ни веры благодатной —
Постыдное бессилие раба!

Ей все равно — холодный сумрак гроба,
Позор ли, слава, ненависть, любовь, —
Погасла и спасительная злоба,
Что долго так разогревала кровь.

Я жду. . . но ночь не близится к рассвету,
И мертвый мрак кругом. . . и та,
Которая воззвать могла бы к свету, —
Как будто смерть сковала ей уста!

Лицо без мысли, полное смятенья,
Сухие, напряженные глаза —
И, кажется, зарею обновленья
В них никогда не заблестит слеза.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

В одном из переулков дальных
Среди друзей своих печальных
Поэт в подвале умирал
И перед смертью им сказал:
«Как я, назад тому семь лет,
Другой бедняк покинул свет,
Таким же сокрушен недугом.
Я был его ближайшим другом

И братом по судьбе. Мы шли
Одной тернистою дорогой
И пересилить не могли
Судьбы, — равно к обоим строгой.
Он честно истине служил,
Он духом был смелей и чище.
Зато и раньше проложил
Себе дорогу на кладбище. . .
А ныне очередь моя. . .
Его я пережил не много;
Я сделал мало; волей бога
Погибла даром жизнь моя.
Мои страданья были люты,
Но многих был я сам виной;
Теперь, в последние минуты,
Хочу я долг исполнить мой,
Хочу сказать о бедном друге
Все, что я видел, что я знал
И что в мучительном недуге
Он честным людям завещал. . .

Родился он почти плебеем
(Что мы бесславьем разумеем,
Что он иначе понимал).
Его отец был лекарь жалкий,
Он только пить любил да палкой
К ученью сына поощрял.
Процесс развития — в России
Не чуждый многим — проходя,
Книжонки дельные, пустые
Читало с жадностью дитя,
Притом, как водится, украдкой. . .
Тоска мечтательности сладкой
Им овладела с малых лет. . .
Какой прозаик иль поэт
Помог душе его развиться,
К добру и славе прилепиться —
Не знаю я. Но в нем кипел
Родник богатых сил природных —
Источник мыслей благородных
И честных, бескорыстных дел! . .

С кончиной лекаря, на свете
Остался он убог и мал;
Попал в Москву, учиться стал
В московском университете;
Но выгнан был, не доказав
Каких-то о рожденьи прав,
Не удостоенный патентом, —
И оставался целый век
Недоучившимся студентом.
(Один ученый человек
Колол его неоднократно
Таким прозванием печатно,
Но, впрочем, бог ему судья! . .)
Бедняк, терпя нужду и горе,
В подвале жил — и начал вскоре
Писать в журналах. Помню я:
Писал он много... Мыслью новой,
Стремленьем к истине суровой
Горячий труд его дышал.
Его заметили... В ту пору
Пришла охота прожектеру,
Который барышей желал,
Обширный основать журнал...
Вникая в дело неглубоко,
Искал он одного, чтоб тот,
Кто место главное займет,
Писал разборчиво — и срока
В доставке своего труда
Не нарушал бы никогда.
Белинский как-то с ним списался
И жить на Север перебрался...

Тогда все глухо и мертво
В литературе нашей было:
Скончался Пушкин; без него
Любовь к ней в публике остыла...
В бореньи пошлых мелочей
Она, погрязнув, поглупела...
До общества, до жизни ей
Как будто не было и дела.
В то время как в родном краю

Открыто зло торжествовало,
Ему лишь «баюшки-баю»
Литература распевала.
Ничья могучая рука
Ее не направляла к цели;
Лишь два задорных поляка
На первом плане в ней шумели.
Уж новый гений подымал
Тогда главу свою меж нами,
Но он один изнемогал,
Тесним бесстыдными врагами;
К нему под знамя приносил
Запас идей, надежд и сил
Кружок еще несмелый, тесный...
Потребность сильная была
В могучем слове правды честной,
В открытом обличеньи зла...

И он пришел, плебей безвестный!..
Не пощадил он ни льстецов,
Ни подлецов, ни идиотов,
Ни в маске жарких патриотов
Благонамеренных воров!
Он все предания проверил,
Без ложного стыда измерил
Всю бездну дикости и зла,
Куда, заснув под говор лести,
В забвеньи истины и чести,
Отчизна бедная зашла!
Он расточал ей укоризны
За рабство — вековой недуг, —
И прокричал врагом отчизны
Его — отчизны ложный друг.
Над ним уж тучи собирались.
Враги шумели, ополчались.
Но дикий вопль клеветника
Не помешал ему пока...
В нем силы пуще разгорались,
И между тем как перед ним
Его соратники редели,
Смирялись, пятились, немели,
Он шел один неколебим!..

О! сколько есть душой свободных
Сынов у родины моей,
Великодушных, благородных
И неподкупно верных ей.
Кто в человеке брата видит,
Кто зло клеймит и ненавидит,
Чей светел ум и ясен взгляд,
Кому рассудок не теснят
Преданья ржавые оковы, —
Не все ль они признать готовы
Его учителем своим?..

Судьбой и случаем храним,
Трудился долго он — и много
(Конечно, не без воли бога)
Сказать полезного успел
И, может быть, бы уцелел...
Но поднялась тогда тревога
В Париже буйном — и у нас
По-своему отозвалась...
Скрутили бедную цензуру —
Послушав наконец клевет,
И разбирать литературу
Созвали целый комитет.
По счастью, в нем сидели люди
Честней, чем был из них один,
Палач науки, Бутурлин,
Который, не жалея груди,
Беснуясь, повторял одно:
«Закройте университеты,
И будет зло пресечено!..»
(О муж бессмертный! не воспеты
Еще никем твои слова,
Но твердо помнит их молва!
Пусть червь тебя могильный гложет,
Но сей совет тебе поможет
В потомство перейти верней,
Чем том истории твоей...)

Почти полгода нас судили,
Читали, справки наводили —
И не остался прав никто...

Как быть! спасибо и за то,
Что не был суд бесчеловечен...
Настала грустная пора,
И честный сеятель Добра
Как враг отчизны был отмечен;
За ним следили, и тюрьму
Враги пророчили ему...
Но тут услужливо могила
Ему объятья растворила:
Замучен жизнью трудовой
И постоянной нищетой,
Он умер... Помянуть печатно
Его не смели... Так о нем
Слабеет память с каждым днем
И скоро сгибнет невозвратно!..»

Поэт умолк. А через день
Скончался он. Друзья сложились
И над усопшим согласились
Поставить памятник, но лень
Исполнить помешала вскоре
Благое дело, а потом
Могила заросла кругом:
Не сыщешь... Невелико горе!
Живой печется о живом,
А мертвый спи глубоким сном...

СВАДЬБА

В сумерки в церковь вхожу. Малолюдно,
Светят лампады печально и скудно,
Темны просторного храма углы;
Длинные окна, то полные мглы,
То озаренные беглым мерцаньем,
Тихо колеблются с робким бряцаньем.
В куполе темень такая висит,
Что поглядеть туда — дрожь пробежит!
С каменных плит и со стен полутемных
Сыростью веет: на петлях огромных
Словно заплакана тяжкая дверь...

Нет богомольцев, не служба теперь —
Свадьба. Венчаются люди простые.
Вот у налоя стоят молодые:
Парень-ремесленник фертом глядит,
Красен с лица и с затылка подбрит —
Видно: разгульного сорта детина!
Рядом невеста: такая кручина
В бледном лице, что глядеть тяжело...
Бедная женщина! Что вас свело?
Вижу я, стан твой немного полнее,
Чем бы... Я понял! Стыдливо краснея
И нагибаясь, свой длинный платок
Ты на него потянула... Увлек,
Видно, гуляка подарком да лаской,
Песней, гитарой да честною маской?
Ты ему сердце свое отдала...
Сколько ночей ты потом не спала!
Сколько ты плакала!.. Он не оставил,
Волей ли, нет ли, он дело поправил —
Бог не без милости — ты спасена...
Что же ты так безнадежно грустна?

Ждет тебя много попреков жестоких,
Дней трудовых, вечеров одиноких:
Будешь ребенка больного качать,
Буйного мужа домой поджидать,
Плакать, работать — да думать уныло,
Что́ тебе жизнь молодая сулила,
Че́м подарила, что́ даст впереди...
Бедная! лучше вперед не гляди!

* * *

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена
И друга лучший друг забудет,
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!

Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости, и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

НА РОДИНЕ

Роскошны вы, хлеба заповедные
Родимых нив —
Цветут, растут колосья наливные,
А я чуть жив!

Ах, странно так я создан небесами,
Таков мой рок,
Что хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок!

ГАДАЮЩЕЙ НЕВЕСТЕ

У него прекрасные манеры,
Он не глуп, не беден и хорош,
Что гадать? ты влюблена без меры,
И судьбы своей ты не уйдешь.

Я могу сказать и без гаданья:
Если сердце есть в его груди —
Ждут тебя, быть может, испытанья,
Но и счастье будет впереди...

Не из тех ли только он бездушных,
Что́ в столице много встретишь ты,
Одному лишь голосу послушных —
Голосу тщеславной суеты?

Что́ гордятся ровностью пробора,
Щегольски обутою ногой,
Потеряв сознание позора
Жизни дикой, праздной и пустой?

Если так — плоха порука счастью!
Как бы чудно ты ни расцвела,
Ни умом, ни красотой, ни страстью
Не поправишь рокового зла.

Он твои пленительные взоры,
Нежность сердца, музыку речей —
Все отдаст за плоские рессоры
И за пару кровных лошадей!

ДЕМОНУ

Где ты, мой старый мучитель,
Демон бессонных ночей?
Сбился я с толку, учитель,
С братьей болтливой моей.

Дуешь, бывало, на пламя —
Пламя пылает сильней,
Краше волнуется знамя
Юности гордой моей.

Прямо ли, криво ли вижу,
Только душою киплю:
Так глубоко ненавижу,
Так бескорыстно люблю!

Нынче я все понимаю,
Все объяснить я хочу.
Все так охотно прощаю;
Лишь неохотно молчу.

Что же со мною случилось?
Как разгадаю себя?

Все бы тотчас объяснилось,
Да не докличусь тебя!

Способу ты не находишь
Сладить с упрямой душой?
Иль потому не приходишь,
Что уж доволен ты мной?

СЕКРЕТ

(ОПЫТ СОВРЕМЕННОЙ БАЛЛАДЫ)

1

В счастливой Москве, на Неглинной,
Со львами, с решеткой кругом,
Стоит одиноко старинный,
Гербами украшенный дом.

Он с роскошью барской построен,
Как будто векам напоказ;
А ныне в нем несколько боен
И с юфтью просторный лабаз.

Картофель да кочни капусты
Растут перед ним на грядах;
В нем лучшие комнаты пусты,
И мебель, и бронза в чехлах.

Не ведает мудрый владелец
Тщеславья и роскоши нег;
Он в собственном доме пришелец,
Занявший в конуре ночлег.

В его деревянной пристройке
Свеча одиноко горит;
Купец умирает на койке
И детям своим говорит:

2

«Огни зажигались вечерние,
Выл ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил.

В руках была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,
На плéчах шубенка овчинная,
В кармане пятнадцать грошей.

Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
Да сорок лет минуло времени —
В кармане моем миллион!

И сам я теперь благоденствую,
И счастье вокруг себя лью:
Я нравы людей совершенствую,
Полезный пример подаю.

Я сделался важной персоною,
Пожертвовав тысячу в год:
Имею и Анну с короною,
И звание «друга сирот».

Но дни наступили унылые,
Смерть близко — спасения нет!
И время вам, детушки милые,
Узнать мой великий секрет.

Квартиру я нанял у дворника,
Дрова к постояльцам таскал;
Подбился я к дочери шорника
И с нею отца обокрал;

Потом и ее, бестолковую,
За нужное счел обокрасть,
И в практику бросился новую, —
Запрегся в питейную часть.

Потом. . .»

3

Вдруг лицо потемнело,
Раздался мучительный крик —
Лежит, словно мертвое тело,
И больше ни слова старик!

Но, видно, секрет был угадан,
Сынки угодили в отца:
Старик еще дышит на ладан
И ждет боязливо конца,

А дети гуляют с ключами.
Вот старший в шкатулку проник!
Старик осадил бы словами —
Нет слов: непокорен язык!

В меньшо́м родилось подозренье,
И ссора кипит о ключах —
Не слух бы тут нужен, не зренье,
А сила в руках и ногах:

Воспрянул бы, словно из гроба,
И словом и делом могуч —
Смирились бы дерзкие оба
И отдали б старому ключ.

Но брат поднимает на брата
Преступную руку свою...
И вот тебе, коршун, награда
За жизнь воровскую твою!

ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

1

У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди — не будет!

«Вот приедет барин — барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», — думает старушка.

2

Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером.
«Вот приедет барин: будет землемерам! —
Думают крестьяне: — Скажет барин слово —
И землицу нашу отдадут нам снова».

3

Полюбил Наташу хлебопашец вольный,
Да перечит девке немец сердобольный,
Главный управитель. «Погодим, Игнаша,
Вот приедет барин!» — говорит Наташа.
Малые, большие — дело чуть за спором —
«Вот приедет барин!» — повторяют хором...

4

Умерла Ненила; на чужой землице
У соседа-плута — урожай сторицей;
Прежние парнишки ходят бородаты,
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина все нету... барин все не едет!

5

Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высоких гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом — новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету — и уехал в Питер.

* * *

Где твое личико смуглое
Нынче смеется, кому?
Эх, одиночество круглое!
Не посулю никому!

А ведь, бывало, охотно
Шла ты ко мне вечерком,
Как мы с тобой беззаботно
Веселы были вдвоем!

Как выражала ты живо
Милые чувства свои!
Помнишь, тебе особливо
Нравились зубы мои,

Как любовалась ты ими,
Как целовала, любя!
Но и зубами моими
Не удержал я тебя...

* * *

Замолкни, Муза мести и печали!
Я сон чужой тревожить не хочу,
Довольно мы с тобою проклинали.
Один я умираю — и молчу.

К чему хандрить, оплакивать потери?
Когда б хоть легче было от того!
Мне самому, как скрип тюремной двери,
Противны стоны сердца моего.

Всему конец. Ненастьем и грозою
Мой темный путь недаром омрача,
Не просветлеет небо надо мною,
Не бросит в душу теплого луча...

Волшебный луч любви и возрожденья!
Я звал тебя — во сне и на яву,
В труде, в борьбе, на рубеже паденья
Я звал тебя, — теперь уж не зову!

Той бездны сам я не хотел бы видеть,
Которую ты можешь осветить...
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

ВЛЮБЛЕННОМУ

Как вести о дороге трудной,
Когда-то пройденной самим,
Внимаю речи безрассудной,
Надеждам розовым твоим.
Любви безумными мечтами
И я по-твоему кипел,
Но я делить их не хотел
С моими праздными друзьями.
За счастье сердца моего
Томим боязнию ревнивой,
Не допускал я никого
В тайник души моей стыдливой.
Зато теперь, когда угас
В груди тот пламень благодатный,
О прошлом счастии рассказ
Твержу с отрадой непонятной.
Так проникаем мы легко
И в недоступное жилище,
Когда хозяин далеко
Или почиет на кладбище.

КНЯГИНЯ

Дом — дворец роскошный, длинный, двухэтажный
С садом и с решеткой; муж — сановник важный.
Красота, богатство, знатность и свобода —
Все ей даровали случай и природа.
Только показалась — и над светским миром
Солнцем засияла, вознеслась кумиром!

Воин, царедворец, дипломат, посланник —
Красоты волшебной раболепный данник,
Свет ей рукоплещет, свет ей подражает.
Властвует княгиня, цепи налагает,
Но цепей не носит; прихоти послушна,
Ни за что полюбит, бросит равнодушно:
Ей чужое счастье ничего не стоит —
Если и погибнет, торжество удвоит!
Сердце ли в ней билось чересчур спокойно,
Иль кругом все было страсти недостойно,
Только ни однажды в молодые лета
Грудь ее любовью не была согрета.
Годы пролетали. В вихре жизни бальной
До поры осенней — пышной и печальной —
Дожила княгиня... Тут супруг скончался...
Труден был ей траур, — доктор догадался
И нашел, что воды были б ей полезны
(Доктора в столицах вообще любезны).

Если только русский едет за границу,
Посылай в Палермо, в Пизу или в Ниццу,
Быть ему в Париже — так судьбам угодно!
Год в столице моды шумно и свободно
Прожила княгиня; на второй влюбилась
В доктора-француза — и сама дивилась!
Не был он красавец, но ей было ново
Страстно и свободно льющееся слово,
Смелое, живое... Свергнуть иго страсти
Нет и помышленья... да уж нет и власти!
Решено! В Россию тотчас написали:
Немец-управитель, без большой печали,
Продал за бесценок, в силу повеленья,
Английские парки, русские селенья,
Земли, лес и воды, дачу и усадьбу...
Получили деньги — и сыграли свадьбу...

Тут пришла развязка. Круто изменился
Доктор-спекулятор: деспотом явился!
Деньги, бриллианты — все пустил в аферы,
А жену тиранил, ревновал без меры,

И когда бедняжка с горя захворала,
Свез ее в больницу... Навещал сначала,
А потом уехал — словно канул в воду!
Скорбная, больная, гасла больше году
В нищете княгиня... и тот год тяжелый
Был ей долгим годом думы невеселой!

Смерть ее в Париже не была заметна:
Бедно нарядили, схоронили бедно...
А в отчизне дальной словно были рады:
Целый год судили — резко, без пощады,
Наконец устали... И одна осталась
Память: что с отличным вкусом одевалась!
Да еще остался дом с ее гербами,
Доверху набитый бедными жильцами,
Да в строфах небрежных русского поэта
Вдохновленных ею чудных два куплета.
Да голяк-потомок отрасли старинной,
Светом позабытый — и ни в чем невинный.

* * *

Чуть-чуть не говоря: «ты сущая ничтожность!»,
    Стихов моих печатный судия
    Советует большую осторожность
В употребленьи буквы «я».
Винюсь: ты прав, усердный мой ценитель
И общих мест присяжный расточитель, —
Против твоей я публики грешу,
Но только я не для нее пишу.
Увы! писать для публики, для света
    Удел не русского поэта...
Друзья мои по тяжкому труду,
По Музе гордой и несчастной,
Кипящей злобою безгласной!
    Мою тоску, мою беду
Пою для вас... Не правда ли, отрадно
Несчастному несчастие в другом?
Кто болен сам, тот весело и жадно
Внимает вести о больном...

* * *

Как ты кротка, как ты послушна,
Ты рада быть его рабой,
Но он внимает равнодушно,
Уныл и холоден душой.

А прежде... помнишь? Молода,
Горда, надменна и прекрасна,
Ты им играла самовластно,
Но он любил, любил тогда!

Так солнце осени — без туч
Стоит, не грея, на лазури,
А летом и сквозь сумрак бури
Бросает животворный луч...

* * *

Тяжелый крест достался ей на долю:
Страдай, молчи, притворствуй и не плачь;
Кому и страсть, и молодость, и волю —
Все отдала — тот стал ее палач!

Давно ни с кем она не знает встречи;
Угнетена, пуглива и грустна,
Безумные, язвительные речи
Безропотно выслушивать должна:

«Не говори, что молодость сгубила
Ты, ревностью истерзана моей;
Не говори!.. близка моя могила,
А ты цветка весеннего свежей!

Тот день, когда меня ты полюбила
И от меня услышала: люблю —
Не проклинай! близка моя могила —
Поправлю все, все смертью искуплю!

Не говори, что дни твои унылы,
Тюремщиком больного не зови:

Передо мной — холодный мрак могилы,
Перед тобой — объятия любви!

Я знаю: ты другого полюбила,
Щадить и ждать наскучило тебе...
О, погоди! близка моя могила —
Начатое и кончить дай судьбе!..»

Ужасные, убийственные звуки!..
Как статуя прекрасна и бледна,
Она молчит, свои ломая руки...
И что сказать могла б ему она?..

ШКОЛЬНИК

— Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок —
Невеселая дорога...
Эй, садись ко мне, дружок!

Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь.

Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идешь...
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.

Знаю, старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что́ проезжая купчиха
Подарила на чаек.

Или, может, ты дворовый
Из отпущенных?.. Ну, что ж!
Случай тоже уж не новый —
Не робей, не пропадешь!

Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете:
Кто-нибудь свезет в Москву,
Будешь в университете —
Сон свершится на яву!

Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь...
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь.

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа
Столько славных — то и знай,

Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

<ТУРГЕНЕ>ВУ

Прощай! Завидую тебе —
Твоей поездке, не судьбе:
Я гордостью, ты знаешь, болен
И не сменяю ни на чью
Судьбу плачевную мою,
Хоть очень ею недоволен.
Ты счастлив. Ты воскреснешь вновь;
В душе твоей проснется живо
Все, чем терзает прихотливо
И награждает нас любовь —
Пора наград, улыбок ясных,
Простых, как молодость, речей,
Ночей таинственных и страстных
И полных сладкой лени дней!

Ты знал ее? .. Нет лучше доли!
Живешь легко, глядишь светлей,
Не жалко времени и воли,
Не стыдно праздности своей,
Душа тоскливо вдаль не рвется
И вся блаженна перед той,
Чье сердце ласковое бьется
Одним биением с тобой...
Счастливец! из доступных миру
Ты наслаждений взять умел
Все, чем прекрасен наш удел:
Бог дал тебе свободу, лиру
И женской любящей душой
Благословил твой путь земной...

ПРОСТИ

Прости! Не помни дней паденья,
Тоски, унынья, озлобленья, —
Не помни бурь, не помни слез,
Не помни ревности угроз!

Но дни, когда любви светило
Над нами ласково всходило
И бодро мы свершали путь, —
Благослови и не забудь!

* * *

«Самодовольных болтунов,
Охотников до споров модных,
Где много благородных слов,
А дел не видно благородных,
Ты откровенно презирал:
Ты не однажды предсказал
Конец велеречивой сшибки,
И слово: «русский либерал»
Произносил не без улыбки.
Ты силу собственной души
Бессильем их надменно мерил
И добродушно ей ты верил.

И точно, были хороши
Твои начальные порывы:
Озолотил бы бедняка!
Но дед и бабка были живы,
И сам ты не имел куска.
И долго спали сном позорным
Благие помыслы твои,
Как дремлют подо льдом упорным
Речные вольные струи.
Ты их лелеял на соломе
И только применять их мог
Ко псу, который в жалком доме
Пожитки жалкие стерег.
И правда: пес был сыт и жирен
И спал все, дворнику назло.
Теперь... теперь твой круг обширен!
Взгляни: богатое село
Лежит, обставлено скирдами,
Спускаясь по горе к ручью,
А избы полны мужиками...»

Въезжая в отчину свою,
Такими мыслями случайно
Был Решетилов осажден.
И побледнел необычайно,
И долго, долго думал он...
Потом — вступил он во владенье.
Вопрос отложен и забыт.
Увы! не наше поколенье
Его по совести решит!

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

Гражданин

(входит)

Опять один, опять суров,
Лежит — и ничего не пишет.

Поэт

Прибавь: хандрит и еле дышит —
И будет мой портрет готов.

Гражданин

Хорош портрет! Ни благородства,
Ни красоты в нем нет, поверь,
А просто пошлое юродство.
Лежать умеет дикий зверь...

Поэт

Так что же?

Гражданин

Да глядеть обидно.

Поэт

Ну, так уйди.

Гражданин

Послушай: стыдно!
Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать...

Поэт

Положим, я такая редкость,
Но нужно прежде дело дать.

Гражданин

Вот новость! Ты имеешь дело,
Ты только временно уснул.
Проснись: громи пороки смело...

Поэт

А! знаю: «вишь куда метнул!»
Но я обстрелянная птица.
Жаль, нет охоты говорить

(Берет книгу)

Спаситель Пушкин! Вот страница:
Прочти — и перестань корить!

Гражданин

(читает)

«Не для житейского волненья,
«Не для корысти, не для битв,
«Мы рождены для вдохновенья,
«Для звуков сладких и молитв».

Поэт

(с восторгом)

Неподражаемые звуки! . .
Когда бы с Музою моей
Я был немного поумней,
Клянусь, пера бы не взял в руки!

Гражданин

Да, звуки чудные. . . ура!
Так поразительна их сила,
Что даже сонная хандра
С души поэта соскочила.
Душевно радуюсь — пора!
И я восторг твой разделяю,
Но, признаюсь, твои стихи
Живее к сердцу принимаю.

Поэт

Не говори же чепухи!
Ты рьяный чтец, но критик дикий.
Так я, по-твоему, — великий,
Повыше Пушкина поэт?
Скажи, пожалуйста?!

Гражданин

Ну, нет!
Твои поэмы бестолковы,
Твои элегии не новы,
Сатиры чужды красоты,
Неблагородны и обидны,
Твой стих тягуч. Заметен ты,
Но так без солнца звезды видны.
В ночи, которую теперь
Мы доживаем боязливо,
Когда свободно рыщет зверь,
А человек бредет пугливо, —
Ты твердо светоч свой держал,

Но небу было неугодно,
Чтоб он под бурей запылал,
Путь освещая всенародно;
Дрожащей искрою впотьмах
Он чуть горел, мигал, метался.
Моли, чтоб солнца он дождался
И потонул в его лучах!

Нет, ты не Пушкин. Но покуда
Не видно солнца ниоткуда,
С твоим талантом стыдно спать;
Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

Гроза молчит, с волной бездонной
В сияньи спорят небеса,
И ветер ласковый и сонный
Едва колеблет паруса, —
Корабль бежит красиво, стройно,
И сердце путников спокойно,
Как будто, вместо корабля,
Под ними твердая земля.
Но гром ударил; буря стонет,
И снасти рвет, и мачту клонит.
Не время в шахматы играть,
Не время песни распевать!
Вот пес — и тот опасность знает
И бешено на ветер лает:
Ему другого дела нет...
А ты что делал бы, поэт?
Ужель в каюте отдаленной
Ты стал бы лирой вдохновенной
Ленивцев души услаждать
И бури грохот заглушать?

Пускай ты верен назначенью,
Но легче ль родине твоей,
Где каждый предан поклоненью
Единой личности своей?
Наперечет сердца благие,
Которым родина свята.

Бог помочь им!.. а остальные?
Их цель мелка, их жизнь пуста.
Одни — стяжатели и воры,
Другие — сладкие певцы,
А третьи... третьи — мудрецы:
Их назначенье — разговоры.
Свою особу оградя,
Они бездействуют, твердя:
«Неисправимо наше племя,
Мы даром гибнуть не хотим,
Мы ждем: авось, поможет время,
И горды тем, что не вредим!»
Хитро скрывает ум надменный
Себялюбивые мечты,
Но... брат мой! кто бы ни был ты,
Не верь сей логике презренной!
Страшись их участь разделить,
Богатых словом, делом бедных,
И не иди во стан безвредных,
Когда полезным можешь быть!
Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь недаром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что не имущий хлеба
Не сто́ит вещих струн твоих!
Не верь, чтоб вовсе пали люди;
Не умер бог в душе людей.
И вопль из верующей груди
Всегда доступен будет ей!
Будь гражданин! служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству

Всеобнимающей Любви;
И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи.
Взгляни: в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
А из-под молота летит
И брызжет сам собою пламень!

Поэт

Ты кончил? .. чуть я не уснул.
Куда нам до таких воззрений!
Ты слишком далеко шагнул.
Учить других — потребен гений,
Потребна сильная душа,
А мы с своей душой ленивой,
Самолюбивой и пугливой,
Не сто́им медного гроша.
Спеша известности добиться,
Боимся мы с дороги сбиться,
И тропкой торною идем,
А если в сторону свернем —
Пропали, хоть беги со света!
Куда жалка ты, роль поэта!
Блажен безмолвный гражданин:
Он, Музам чуждый с колыбели,
Своих поступков господин,
Ведет их к благодарной цели,
И труд его успешен, спор...

Гражданин

Не очень лестный приговор.
Но твой ли он? тобой ли сказан?
Ты мог бы правильней судить.
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын —
Ах! будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,
Довольно даже нам поэтов,

Но нужно, нужно нам граждан!
Но где ж они? Кто не сенатор,
Не сочинитель, не герой,
Не предводитель, не плантатор,
Кто гражданин страны родной?
Где ты? откликнись! Нет ответа.
И даже чужд душе поэта
Его могучий идеал!
Но если есть он между нами,
Какими плачет он слезами!..
И ты с собой его ровнял?!

. . . .

Гроза шумит и к бездне гонит
Свободы шаткую ладью,
Поэт клянет, или хоть стонет,
А гражданин молчит и клонит
Под иго голову свою.
Когда же, но молчу... Хоть мало,
И среди нас судьба являла
Достойных граждан... Знаешь ты
Их участь?.. Преклони колени!..
Лентяй! смешны твои мечты
И легкомысленные пени!
В твоем сравненьи смыслу нет.
Вот слово правды беспристрастной:
Блажен болтающий поэт
И жалок гражданин безгласный!

Поэт

Немудрено того добить,
Кого уж добивать не надо.
Ты прав: поэту легче жить —
В свободном слове есть отрада.
Но был ли я причастен ей?
Ах, в годы юности моей
Печальной, бескорыстной, трудной,
Короче — очень безрассудной,
Куда ретив был мой Пегас!
Не розы — я вплетал крапиву
В его размашистую гриву
И гордо покидал Парнас.

Без отвращенья, без боязни
Я шел в тюрьму и к месту казни,
В суды, в больницы я входил.
Не повторю, что́ там я видел...
Клянусь, я честно ненавидел!
Клянусь, я искренно любил!
И что ж? .. Мои послышав звуки,
Сочли их черной клеветой;
Пришлось сложить смиренно руки
Иль поплатиться головой...
Что́ было делать? Безрассудно
Винить людей, винить судьбу.
Когда б я видел хоть борьбу,
Бороться стал бы, как ни трудно.
Но... гибнуть, гибнуть... и когда?
Мне было двадцать лет тогда!
Лукаво жизнь вперед манила,
Как моря вольные струи,
И ласково любовь сулила
Мне блага лучшие свои —
Душа пугливо отступила...
Но сколько б ни было причин,
Я горькой правды не скрываю
И робко голову склоняю
При слове: честный гражданин.
Тот роковой, напрасный пламень
Доныне сожигает грудь,
И рад я, если кто-нибудь
В меня с презреньем бросит камень.
Бедняк! и из чего попрал
Ты долг священый человека?
Какую подать с жизни взял
Ты — сын больной больного века?
Когда бы знали жизнь мою,
Мою любовь, мои волненья...
Угрюм и полон озлобленья
У двери гроба я стою...

Ах, песнею моей прощальной
Та песня первая была!
Склонила Муза лик печальный
И, тихо зарыдав, ушла.

С тех пор не часты были встречи:
Украдкой, бледная, придет
И шепчет пламенные речи,
И песни гордые поет.
Зовет то в города, то в степи,
Заветным умыслом полна,
Но загремят внезапно цепи —
И мигом скроется она.
Не вовсе я ее чуждался,
Но как боялся! как боялся!
Когда мой ближний утопал
В волнах существенного горя —
То гром небес, то ярость моря
Я добродушно воспевал.
Бичуя маленьких воришек
Для удовольствия больших,
Дивил я дерзостью мальчишек
И похвалой гордился их.
Под игом лет душа погнулась,
Остыла ко всему она,
И Муза вовсе отвернулась,
Презренья горького полна.
Теперь напрасно к ней взываю —
Увы! сокрылась навсегда.
Как свет, я сам ее не знаю
И не узнаю никогда.
О Муза, гостьею случайной
Являлась ты душе моей?
Иль песен дар необычайный
Судьба предназначала ей?
Увы! кто знает? рок суровый
Все скрыл в глубокой темноте.
Но шел один венок терновый
К твоей угрюмой красоте.

„НЕСЧАСТНЫЕ"

1

Тяжел мой крест: уединенье,
Преступной совести мученье,
Нужда, недуги. Говорят,
К цветущей юности возврат

Под старость нам одно спасенье,
Отрада верная. — «Живи,
Покуда кровь играет в жилах,
А станешь стариться, нарви
Цветов, растущих на могилах,
И ими сердце обнови...»
И я попробовал... но что же? ..
Душа попрежнему нема,
И с одичалого ума
Стереть угрюмости клейма
Ничто не властно. Правый боже!
Ужели долгая тюрьма,
Ограбив сердце без пощады,
Душе моей не даст отрады
В воспоминаньи юных лет?
Иль точно там отрады нет?
Увы! там душно, там пустыня.
Любя, прощая, чуть дыша,
Там угасает, как рабыня,
Святая женская душа.
Переступить порог не смея,
Тоски и ужаса полна,
Так вянет сказочная фея
В волшебном за́мке колдуна.
Воображенье прихотливо
Рисует ей другие дни:
В чертогах, убранных на диво,
Горят венчальные огни:
Невеста ждет, жених приходит.
И речь его тиха, нежна...
Где ум красавицы не бродит,
Чего не думает она?
Ликует день, щебечут птицы,
Красою блещут небеса,
Доходят до дверей темницы
Любви и воли голоса, —
Но ей нет воли, нет отрады.
Не нужно камней дорогих,
Возьмите пышные наряды!
Где мать? где сестры? где жених?
Где няня с песенкой и сказкой?
Никто не сжалится над ней,

И только докучает лаской
Противный, старый чародей.
Но нет! .. она любить не станет,
Скорей умрет... Уходит он
И в гневе подданных тиранит.
Кругом проклятья, вопли, стон...
Но в сказке витязь благородный
Придет — волшебника убьет,
И клочья бороды негодной
К ногам красавицы свободной
С рукой и сердцем принесет.
А здесь? ..

Рога трубят ретиво,
Пугая ранний сон детей,
И воют псы нетерпеливо...
До солнца сели на коней —
Ушли... Орды вооруженной
Не видит глаз, не слышит слух,
И бедный дом, как осажденный,
Свободно переводит дух.
Меняя быстро пост невольный
На празднословье и вино,
Спешит забыться раб довольный.
Но есть одна: ей все равно!
В ее душе светлей не станет,
Все тот же мрак, все тот же гнет:
И сон перерванный не манит,
И утро к жизни не зовет.
Скорей, затворница немая,
Рыданьем душу отведи!
Терпи любя, терпи прощая,
И лучшей участи не жди! ..

Осаду ненадолго сняли...
Вот вечер — снова рог трубит.
Примолкнув, дети побежали,
Но мать остаться им велит:
Их взор уныл, невнятен лепет...
Опять содом, тревога, трепет!
А ночью свечи зажжены,
Обычный пир кипит мятежно,

И бледный мальчик, у стены
Прижавшись, слушает прилежно
И смотрит жадно (узнаю
Привычку детскую мою)...
Что слышит? песни удалые
Под топот пляски удалой;
Глядит, как чаши круговые
Пустеют быстрой чередой;
Как на лету куски хватают
И рот захлопывают псы,
Как на тени растут, кивают
Большие дядины усы...
Смеются гости над ребенком
И чей-то голос говорит:
«Не правда ль, он всегда глядит
Каким-то травленым волчонком?
Поди сюда!» Бледнеет мать;
Волчонок смотрит — и ни шагу.
«Упрямство надо наказать, —
Поди сюда!» — Волчонок тягу...
«Ату его!»

Тяжелый сон!..
Нет, мой восход не лучезарен —
Ничем я в детстве не пленен
И никому не благодарен.
Скорее к юности! Она
Всегда мила, всегда ясна...
Не бедняку! — Воображенье
К столице юношу манит,
Там слава, там простор, движенье,
И вот он в ней! Идет, глядит —
Как чудно город изукрашен!
Шпили его церквей и башен
Уходят в небо; пышны в нем
Театры, улицы, жилища
Счастливцев мира — и кругом
Необозримые кладбища...

О город, город роковой!
С певцом твоих громад красивых,
Твоей ограды вековой,

Твоих солдат, коней ретивых
И всей потехи боевой,
Плененный лирой сладкострунной,
Не спорю я: прекрасен ты
В безмолвьи полночи безлунной,
В движеньи гордой суеты!
. . . .
Пусть солнце тусклое, скупое
Глядится в невские струи;
Пусть, теша буйство удалое
И сея плевелы свои,
Толпы пустых, надменных, праздных,
Полны пороков безобразных,
В тебе кишат. В стенах твоих
И есть и были в стары годы
Друзья народа и свободы,
А посреди могил немых
Найдутся громкие могилы.
Ты дорог нам — ты был всегда
Ареной деятельной силы,
Пытливой мысли и труда!
Все так. Но если ненароком
В твои пределы загляну,
Купаясь в омуте глубоком,
Переживая старину,
Душа болит. Не в залах бальных,
Где торжествует суета, —
В приютах нищеты печальных
Блуждает грустная мечта.
Не лучезарный, золотистый,
Но редкий солнца луч... о нет!
Твой день больной, твой вечер мглистый,
Туманный, медленный рассвет
Воображенье мне рисует...
Светает. Чу, как ветер дует!
Унять бы рады сорванца,
Но он смеется над столицей
И флагом гордого дворца
Играет, как простой тряпицей.
Нева волнуется, домá
Стоят, как крепости пустые;
Железным болтом запертые,

Угрюмы лавки, как тюрьма.
Их постепенно отворяют,
Товару в окна прибавляют, —
Так ставит с вечера капкан
Охотник, на добычу падкий.
Вот солнце глянуло украдкой,
Но одолел его туман —
И снова мрак. Какие лица
Теперь приходится встречать!
Такую страшную печать
Умеет класть одна столица.
Проехал воз: ни рус, ни сед,
Чухонец им курносый правил
И ельника зеленый след
На мокрой улице оставил —
Покойник будет. Вот и он!
До пышных дожил похорон:
Четверкой дроги, гроб угрюмый
Стоит высоко под парчой,
Идет родня с печальной думой,
Поникнув молча головой;
Плетутся дряхлые кареты,
То там, то тут, полуодеты,
Из окон женщины глядят,
Прохожий крестится сурово...
Прошла процессия — и снова
Все пусто. Вот идет солдат
За фурой вроде погребальной —
Глядит оттуда глаз печальный
И видно бледное лицо...
Довольно! что теперь ни встретишь,
На всем унынья след заметишь.
Но вот парадное крыльцо
В богатом доме отворяет
Какой-то рослый молодец, —
Теперь-то утро наступает!
Туман осилив наконец,
Одело солнце сетью чудной
Дворцы, и храмы, и мосты,
И нет следов заботы трудной
И недовольной нищеты!
Как будто появляться вредно

При полном водвореньи дня
Всему, что зелено и бледно,
Несчастно, голодно и бедно,
Что ходит голову склоня!
Теперь гляди на город шумный!
Теперь он пышен и богат —
Несется в толкотне безумной
Блестящих экипажей ряд,
Все полно жизни и тревоги,
Все лица блещут и цветут,
И с похорон обратно дроги
Пустые весело бегут...

Ликует сердце молодое —
В восторге юноша. Постой!
Ты будешь говорить другое,
Родство постигнув роковое
Меж этим блеском и тобой!
Пройдут года в борьбе бесплодной,
И на красивые плиты,
Как из машины винт негодный,
Быть может, брошен будешь ты!
Счастлив, кому мила дорога
Стяжанья, кто ей верен был
И в жизни ни однажды бога
В пустой груди не ощутил.
Но если той тревоги смутной
Не чуждо сердце — пропадешь!
В глухую полночь, бесприютный,
По стогнам города пойдешь:
Громадный, стройный и суровый,
Заснув под тучею свинцовой,
Тогда предстанет он иным.
И — опоясанный гробами,
Своими пышными дворцами,
Величьем царственным своим —
Не будет радовать. Невольно
Припомнишь бедный городок,
Где солнца каждому довольно.
То правда: город не широк,
Не длинен — лай судейской шавки
В нем слышен вдоль и поперек.

Домишки малы, пусты лавки,
Собор, четыре кабака,
Тюрьма, шлагбаум полосатый,
Дом судный, госпиталь дощатый
И площадь... площадь велика:
Кругом не видно ей границы,
И, слышно, осенью на ней
Чудак, заезжий из столицы,
Успешно ищет дупелей.
Ну все, как надо, как известно,
Над чем столичные давно
Острят то глупо, то умно.
Зато покойно — и не тесно...
Не жди особенных отрад:
Что бог послал, тому будь рад.
Гляди в халате на дорогу:
Вон гуси выступают в ногу
С гусиной важностью... но вдруг —
Смятенье, дикий крик, испуг!
Три тройки наскакали близко.
Присев и крылья распустив,
Одни бегут, другие низко
Летят, а третьи, прискочив,
Удрать не лётом и не бегом
Спешат... и вот простор телегам —
Рассыпались, куда кто мог!
Так, гордый собственным значеньем,
Своим нежданным появленьем
Детей пугает педагог;
Так поэтические грезы
Разносит дуновенье прозы...
Но уж запели соловьи,
Иди гулять — до сна недолго!
Гляди, как тихо катит Волга
Свои спокойные струи,
Уснув в песчаной колыбели;
Как, нагибаясь до земли,
Таскают бурлаки кули,
А воробьи уж налетели
И, теребя мочалу, нос
Просунуть силятся в овес.
Куда ни взглянешь — птичье племя!

Уснув под берегом реки,
Чернеют утки, как комки,
Но, видно, им покушать время:
Проснулись — поплыли гурьбой,
Кувырк! и ног утиных строй
Стоит недвижно над водой.
На всем лучи зари румяной.
Как ожерелье, у воды
Каких-то белых птиц ряды
Сидят на отмели песчаной,
И тут же сотни куликов
Снуют с оглядкой вороватой;
Все белобрюхи, без хохлов,
А почему ж один хохлатый?
Не долиняв, с весенних пор
Сберег он пышную прибавку
И ходит важно, как майор,
С мундиром вышедший в отставку.
Недостает счастливцу шпор!

Не любишь птиц — гляди бездумно,
Как приближается паро́м,
Неторопливо и нешумно;
А там, на берегу другом,
Под легким матовым туманом
Как будто войско тесным станом
Расположилось на ночлег:
Не перечтешь коней, телег!
Под каждым стогом-великаном
Толпа... И слышны голоса,
Стыдливый визг и хохот женский.
Но потемнели небеса —
Спи мирно, житель деревенский!
Ты сто́ишь сна... Идем домой,
Закрыты ставни — все спокойно.
Что ж медлит месяц золотой?
Темно. Ни холодно, ни знойно, —
Так ровно-ровно дышит грудь,
Но слышишь, что-то заскрипело!
Калитку отворив чуть-чуть,
Выходит девушка несмело.

Она глядит по сторонам,
Но вот увидела — и к нам
Шаги проворно направляет.
Ты улыбнулся, ты молчишь...
Вдруг — «ах!» и быстро исчезает.
Ошиблась, милая! Так мышь,
С испугу пискнув, убегает,
Заметив любопытный глаз.
Пору любви, пору проказ,
Чем нашу молодость помянем?
Не побежать ли нам за ней?
Не подстеречь ли у дверей?
Нет, только даром мы устанем.
Народ уснул — пора и нам.
Одно досадно: по ночам,
Должно быть, переспав нещадно,
Собака воет безотрадно —
Весь город чьей-то смерти ждет,
Толкует набожно и тихо.
И ведь случается — возьмет
Да и скончается купчиха,
Перед которой глупый пес
Три ночи выл, поднявши нос.
Тогда попробуй разуверить.
«Да как ты смеешь сам не верить?..»
Молчи — фанатики они!
Люби покой, природу, книгу
И независимость храни,
Не то среды поддайся игу
И лямку общую тяни.

Но есть и там свои могилы,
Но там бесплодно гибнут силы,
Там духота, бездумье, лень,
Там время тянется сонливо,
Как самодельная расшива
По тихой Волге в летний день.
Там только негрешно родиться
Или под старость умирать.
Куда ж итти? к чему стремиться?
Где силы юные пытать?

Храни господь того, кто скажет:
«Простите, мирные поля!»
И бедный свой челнок привяжет
К корме большого корабля...

Кому судьба венец готовит,
Того вопрос: куда итти?
Не устрашит, не остановит;
Кого на жизненном пути
Любовь лелеет с колыбели,
Незримо направляя к цели, —
И тот находит путь прямой.
Но кто ни богом не отмечен,
Ни даже любящей рукой
Не охранен, не обеспечен,
Тот долго бродит как слепой:
Кипит, желает, тратит силы
И, поздним опытом богат,
Находит у дверей могилы
Невольных заблуждений ряд...
К чему бы жизнь ни вынуждала,
И даже разницы путем
Не зная меж добром и злом,
Я по теченью плыл сначала...
Лишь гордость иногда спасала...
Бог весть, куда бы прихоть волн
Прибила мой убогий челн:
Сбирались тучи, путь был труден,
А я упорен, безрассуден, —
Ждала тяжелая борьба.
Но вдруг распутала судьба
Загадку жизни несчастливой —
Я полюбил, дикарь ревнивый...

О ты, кого я с ужасом бежал,
К кому с любовью рвался я в объятья,
Кому чистосердечно расточал
Благословенья и проклятья, —
Тебя уж нет! На жизненной стезе
Оставив след загадочный и странный,
Являясь ангелом в грозе
И демоном у пристани желанной,

Погибла ты... Ты сладить не могла
Ни с бурным сердцем, ни с судьбою
И, бездну вырыв подо мною,
Сама в ней первая легла...
Ругаясь буйно над кумиром,
Когда-то сердцу дорогим,
Я мог бы перед целым миром
Клеймом отметить роковым
Твой путь, Но за пределы гроба
Не перешла вражда моя,
Я понял: мы виновны оба...
Но тяжелей наказан я!
Года чредой определенной
Идут, но время надо мной
Остановилось: страж бессменный,
Среди той ночи роковой
Стою... ревниво закипаю,
И вдруг шаги... и голос твой...
И вопль — и с криком: «не прощаю!..»
Все помню с ясностью такой,
Как будто каждый день свершаю
Убийство... Тот же, тот же сон
Уж двадцать лет: молящий стон,
Безумный крик, сверканье стали...
Прочь, утонувшие в крови.
Воспоминания любви!
Довольно сердце вы терзали.

Скорее в душную тюрьму!
Оттуда сердцу моему
Единый в жизни луч отрады
Мерцает... Так огонь лампады
До вечной сени гробовой
Горит над каждой головой...

2

Безлюдье, степь. Кругом все бело
И небеса над головой...
Еще отчаянье кипело
В душе, упившейся враждой,
И смерти лишь она алкала,

Когда преступная нога,
Звуча цепями, попирала
Недружелюбные снега
Страны пустынной, сиротливой...
Среди зверей я зверем стал,
Вином я совесть усыплял
И ум гасил...
                    В толпе строптивой
Меж нами был один; его
Не полюбили мы сначала:
Не говорил он ничего,
Работал медленно и мало.
Кряхтя, копается весь день,
Как крот, — мы так его и звали, —
А толку нет: не то чтоб лень,
Да силы скоро изменяли.
Рука, нетвердая в труде,
Как спицы ноги, детский голос
И словно лен пушистый волос
На голове и бороде.
Оброс он скоро волосами,
Питался черствым сухарем,
Но и под грубым армяком
Глядел неровней между нами.
Его дежурный понукал,
И было нам сначала любо
Смотреть, как губы он кусал,
Когда с ним обходились грубо;
Так удила кусает конь,
Когда седок его пришпорит.
В глазах покажется огонь,
Однако промолчит — не спорит!
Бывало, подойдем гурьбой,
Повалим, будто ненароком,
Кричим: «Не хочешь ли домой?»
Он только поглядит с упреком
И покачает головой.
Не пьет, не балагурит с нами.
Но скоро час его настал...

Был вечер; скрежеща зубами,
Один из наших умирал.

Куда деваться в подземельи?
Кричим: «Скорей! мешаешь спать!»
И стали в бешеном весельи
Его мы хором отпевать:
«Умри! нам всем одна дорога,
Другой не будет из тюрьмы! ..»

Вдруг кто-то крикнул: «Нет в вас бога!»
И песни не допели мы.
Глядим: добро б вошел начальник —
Нет, просто выступил вперед
Наш белоручка, наш молчальник,
Смиренный копотливый Крот.
Корит, грозит! Дыханье трудно,
Лицо сурово, как гроза,
И как-то бешено и чудно
Блестят глубокие глаза.

Смутились мы. Какая сила
Ему строптивых покорила —
Бог весть! Но грубые умы
Он умилил, обезоружил,
Он нам ту бездну обнаружил,
Куда стремглав летели мы!

В заботе новой, в думах строгих,
Мы совещались до утра,
Стараясь вразумить немногих,
Не внявших вестнику добра:
Душой погибнув невозвратно,
Они за нами не пошли
И обновиться благодатно
Уж не хотели, не могли.
В них сердце превратилось в камень,
Навек оледенела кровь...
Но в ком, как под золою пламень,
Таилась совесть и любовь,
Тот жадно ждал беседы новой,
С душой уверовать готовой...

Не вдруг мы поняли его,
Но он учить не тяготился —
Он с нами братски поделился

Богатством сердца своего!
Забыты буйные проказы,
Наступит вечер — тишина,
И стали нам его рассказы
Милей разгула и вина.
Пусть речь его была сурова
И не блистала красотой,
Но обладал он тайной слова,
Доступного душе живой.
Не на коне, не за сохою, —
Провел он свой недолгий век
В труде ученья, но душою,
Как мы, был русский человек.
Он не жалел, что мы не немцы,
Он говорил: «Во многом нас
Опередили иноземцы,
Но мы догоним в добрый час!
Лишь бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней —
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.
Она не знает середины —
Черна, куда ни погляди!
Но не проел до сердцевины
Ее порок. В ее груди
Бежит поток живой и чистый
Еще немых народных сил:
Так под корой Сибири льдистой
Золотоносных много жил».

Его пленяло солнце юга —
Там море ласково шумит,
Но слаще северная вьюга
И больше сердцу говорит.
При слове: «Русь», бывало, встанет —
Он помнил, он любил ее,
Заговорившии про нее —
До поздней ночи не устанет...
Наступит ли вечерний час —
Внимая бури вой жестокой,
«Теперь, — он говорил, — у нас,
На нашей родине далекой,

Еще тепло... Закат горит,
Над божьим храмом реют птицы,
Домой идут с работы жницы;
Въезжая на гору, скрипит
Снопами полная телега;
Играя, колос из снопа
Хватает сытый конь с разбега
И ржет. За ним бредет толпа
Коровушек. Стемнело небо —
И смолкли вдруг работы дня;
Ложится пахарь без огня,
И распростерли скирды хлеба
Свою хранительную тень
Вокруг уснувших деревень.
Все тихо; разве без оглядки
Фельдъегерь пролетит селом
Или обратные лошадки,
Понуря голову, шажком
Пройдут: заснул, ямщик ленивый
Верхом на дремлющем коне,
Один бубенчик говорливый
Воркует сладко в тишине.
Да старый вяз в конце селенья
Шумит, столетний часовой;
Пред ним проходят поколенья,
Меняясь быстрой чередой;
Он невредим: корысть, беспечность —
Его ничто не сокрушит,
Любовь народная хранит
Его святую долговечность.
Он укрывает в летний зной
Шатром детей деревни целой;
Бедняк-калека престарелый
Под ним ложится на покой;
Наш брат, звуча цепями, ссыльный,
Под ним сидит, обритый, пыльный,
И богомолок молодых
Под тень ветвей его густых
Приводит давняя привычка...

Чу! тянут в небе журавли,
И крик их, словно перекличка

Хранящих сон родной земли
Господних часовых, несется
Над темным лесом, над селом,
Над полем, где табун пасется
И песня грустная поется
Перед дымящимся костром...

Не ждут осенние работы,
Недолог отдых мужиков —
Скрипят колодцы и вороты
При третьей песне петухов,
Дудит пастух свирелью звонкой,
Бежит по ниве чья-то тень:
То беглый рекрутик сторонкой
Уходит в лес, послышав день.
Искал он, чем бы покормиться,
Ночь не послала ничего,
Придется, видно, воротиться,
А страшно!.. Что ловить его!
Хозяйка старших разбудила —
Блеснули в ригах огоньки
И застучали молотила.
Бог помочь, братья мужики!»

Родные русские картины!
Заснул, и видел я во сне
Знакомый дом, леса, долины.
И братья сказывали мне,
Что сон их уносил с чужбины
К забытой, милой стороне.
Летишь мечтой к отчизне дальной,
И на душе светлей, теплей...

Чего не знал наш друг опальный!
Слыхали мы в тюрьме своей
И басни хитрые Крылова,
И песни вещие Кольцова;
Узнали мы таких людей,
Перед которыми поздней
Слепой народ восторг почует,
Вздохнет — и совесть уврачует,
Воздвигнув пышный мавзолей.

Так иногда, узнав случайно,
Кто спас его когда-то тайно,
Бедняк, взволнованный, бежит.
Приходит, смотрит — вот жилище,
Но где ж хозяин? Все молчит!
Идет бедняга на кладбище
И на могильные плиты
Бросает поздние цветы...

Но спит народ под тяжким игом,
Боится пуль, не внемлет книгам.
О Русь, когда ж проснешься ты,
И мир на месте беззаконных
Кумиров рабской слепоты
Увидит честные черты
Твоих героев безыменных?

О Русь!.. Достало в нем геройства
«Прости навек!» сказать всему,
Но ты, святое беспокойство!
Тебя принес он и в тюрьму!
О ней, о родине державной,
Он говорить не уставал:
То жребий ей пророчил славный,
То старину припоминал, —
Кто в древни веки ею правил,
Как люди в ней живали встарь,
Как обучил, вознес, прославил
Ее тот мудрый государь,
Кому в царях никто не равен,
Кто до скончанья мира славен
И свят: Великого Петра
Он звал отцом России новой,
Он видел след руки Петровой
В основе каждого добра.
Сто вечеров до поздней ночи
Он говорил нам про него —
Никто сомкнуть не думал очи
И не промолвил ничего.
Он говорит, ему внимаем,
И, полны новых дум, тогда
Свои оковы забываем

И тяжесть черного труда.
Встает во мраке подземелья
Пред нами чудный лик Петра,
И, как монашеская келья,
Тиха преступников нора.
Сносней наутро труд несносный,
Таскаешь горы на плечах,
Чтоб трудолюбец венценосный
Сказал спасибо в небесах...
Да! видит бог, в кровавом поте
Омыли мы свою вину,
И не напрасно на работе
Певали песенку одну:

Песня преступников

1

Дружней! работа есть лопатам,
Недаром нас сюда вели,
Недаром бог насытил златом
Утробу матери-земли.

Трудись, покамест служат руки,
Не сетуй, не ленись, не трусь,
Спасибо скажут наши внуки,
Когда разбогатеет Русь!

2

У ней, родимой, требы многи, —
Бедна, по милости воров!
В ней пышны барские чертоги,
Но жалки избы мужиков.

Недостает у ней дохода
В неурожай кормить крестьян,
И нечем выкупить народа
Царю у палачей дворян!..

3

Пускай бежит в упорном деле
С нас пот ручьями, как вода,
И мерзнет на клейменом теле,

Когда почием от труда.
Пускай томимся гладом, жаждой,
Пусть дрогнем в холоде зимы,
Ей пригодится камень каждый,
Который добываем мы!

—

Ее сложил в часы недуга
Наш тихий, вечно грустный Крот,
И часто, поминая друга,
В своем углу ее поет
Прощеный ссыльный. Здесь мы гости,
Сюда вернулись мы не жить —
С отцами рядом положить
Трудом изломанные кости,
Но рады, рады и тому!..

Начальство к нам добрее стало,
Получше отвело тюрьму
И хорошо аттестовало.
Что будет с нами — до конца
Тяжелой было нам загадкой,
Но в умиленные сердца
Прокрался луч надежды сладкой.
Так, помню, солнышко украдкой
Глядит, бывало, поутру
И в нашу черную нору...

Но он надежде верил мало,
Едва бродя, едва дыша,
И только нас бодрить хватало
В нем сил... Великая душа!
Его страданья были горды,
Он их упорно подавлял,
Но иногда изнемогал
И плакал, плакал. Камни тверды,
Любой попробуй... но огня
Добудешь только из кремня.
Таков он был. Воспоминанья
Страшней не помню: знал и я
Изнеможение страданья,
Но что была печаль моя?
К довольству суетному зависть,

Быть может, личная ненависть,
Тоска по женщине пустой,
С тряпичной, дюжинной душой,
Томленье скуки, злость бессилья.
Я, говорят, был мелко зол
В моей тоске... Не так орел
Свои оплакивает крылья,
Которых мощь изведал он,
Которых царственная сила
Его под небо уносила...

Да! возвращаясь с похорон,
Недаром в голос мы сказали:
«Зачем его Кротом мы звали?
И мертвый сходен он лицом
С убитым молнией орлом!»

О чем была его кручина?
Рыдал ли он рыданьем сына,
Давно отчаявшись обнять
Свою тоскующую мать,
И невеселая картина
Ему являлась: старый дом
Стоит в краю деревни бедной
И голова старухи бледной
Видна седая под окном.
Вздыхает, молится, гадает
И смотрит, смотрит, и двойной
В окошко рамы не вставляет
Старуха позднею зимой.
А сколько, глядя на дорогу,
Уронит слез — известно богу!
Но нет! и бог их не считал,
А то бы радость ей послал!

Любовь ли бедного томила?
Что сталось с нею? Позабыла?
Или грустит... и далеко
Несется... мысленно заглянет
И содрогнется глубоко?
Где ей? в ней сердца недостанет!
Ах! чувство женское легко!

Они его хранят, лелеют,
Покуда радует оно,
Но если тучи тяготеют
И небо грозно и темно —
Его спасти им не дано!

Быть может, он душою верной
Припоминал былых друзей;
В кичливой гордости своей,
Быть может, враг высокомерный
Ему являлся в час ночной...
И, с криком кинувшись, ногами,
Отягощенными цепями,
Топтал он призрак роковой?

Или изгладила чужбина
Все то, чем молодость жила,
И только слезы гражданина
Душа живая сберегла?
Как знать! Пред ним мы дети были,
Ничем мы права не купили
Делить великую печаль;
Не все мы даже понимали,
За что его сюда заслали,
Но было трудно, было жаль.
Закоренелого невежду
Спроси, и тот отдать был рад
Свою последнюю надежду —
Под небо родины возврат —
За миг единый облегченья
Его тоски, его мученья.
Но только правосудный бог
Утешить мученика мог.
И скоро гробовые двери
Пред ним открылись, но не вдруг
Клейменных каторжников друг
Сошел в них: роковой потери
По капле яд глотали мы.
Почти два года, из тюрьмы
Не выходя, он разрушался.
Зачем? Известно небесам!
«Чтоб человек не баловался» —

Смеясь, говаривал он нам.
И день и ночь поочередно
Его мы ложе берегли,
Зимой окутывали плотно,
Весной на солнышко несли
(Был для того у нас устроен
Снаряд особенный); больной
Кивал тихонько головой
И как-то грозно был спокоен.
Не шевельнется целый день;
Тосклив и кроток беспредельно,
Молчит: так, раненный смертельно,
Глядит и смерти ждет олень...

И наконец пора пришла...
В день смерти с ложа он воспрянул,
И снова силу обрела
Немая грудь — и голос грянул!
Мечтаньем чудным окрылил
Его господь перед кончиной,
И он под небо воспарил
В красе и легкости орлиной.
Кричал он радостно: «Вперед!»
И горд, и ясен, и доволен:
Ему мерещился народ
И звон московских колоколен;
Восторгом взор его сиял;
На площади, среди народа,
Ему казалось, он стоял
И говорил...
Прошло два года.
Настал святой, великий миг,
В скрижалях царства незабвенный,
И до Сибири отдаленной
Прощенья благовест достиг.
Разверзлась роковая яма,
Как птицы, вольны вышли мы
И, не сговариваясь, прямо
Пришли гурьбою из тюрьмы
К одной могиле одинокой.
Стеснилась грудь тоской жестокой,
И каждый небо вопрошал:

«Зачем он жил, зачем страдал,
Зачем свободы не дождался?»
«Чтоб человек не баловался!» —
Один сказал — и присмирел.
Переглянулись мы уныло,
И тихий ангел пролетел.
Лишь буря, не смолкая, выла
И небо хмурилось. Земли
Добыв лопатою привычной,
Мы помолчали — и пошли.
И жизнь пошла чредой обычной!..

Хотелось мне увидеть мать,
Но что пришлось бы ей сказать?
Кто подтолкнуть не устрашится
Утес, готовый обвалиться,
На плечи брата своего?
Кто скажет ей: «Уж нет его!
Загородись двойною рамой,
Напрасно горниц не студи,
Простись с надеждою упрямой
И на дорогу не гляди!»
Пусть лучше, глядя на дорогу,
Отдаст с надеждой душу богу...
Но люди — звери: кто-нибудь
Утес обрушит ей на грудь...

Кто знал его, забыть не может,
Тоска по нем язвит и гложет;
И часто мысль туда летит,
Где гордый мученик зарыт.
Пустыня белая. Над гробом
Неталый снег лежит сугробом.
То солнце тусклое блестит,
То туча черная висит,
Встают смерчи, ревут бураны,
Седые стелются туманы,
Восходит день, ложится тьма,
Вороны каркают — и злятся,
Что до костей его добраться
Мешает вечная зима.

* * *

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России —
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив...

ТИШИНА

1

Все рожь кругом, как степь живая,
Ни за́мков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
За дальним Средиземным морем,
Под небом ярче твоего,
Искал я примиренья с горем
И не нашел я ничего!
Я там не свой: хандрю, немею;
Не одолев мою судьбу,
Я там погнулся перед нею,
Но ты дохнула — и сумею,
Быть может, выдержать борьбу!

Я твой. Пусть ропот укоризны
За мною по пятам бежал,
Не небесам чужой отчизны —
Я песни родине слагал!
И ныне жадно поверяю
Мечту любимую мою,
И в умиленьи посылаю
Всему привет... Я узнаю
Суровость рек, всегда готовых
С грозою выдержать войну,
И ровный шум лесов сосновых,
И деревенек тишину,
И нив широкие размеры...
Храм божий на горе мелькнул
И детски-чистым чувством веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой!
Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храм воздыханья, храм печали —
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей!
Сюда народ, тобой любимый,
Своей тоски неодолимой
Святое бремя приносил —
И облегченный уходил!
Войди! Христос наложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной...

Я внял... я детски умилился...
И долго я рыдал и бился
О плиты старые челом,
Чтобы простил, чтоб заступился,

Чтоб осенил меня крестом
Бог угнетенных, бог скорбящих,
Бог поколений, предстоящих
Пред этим скудным алтарем!

2

Пора! За рожью колосистой
Леса сплошные начались,
И сосен аромат смолистый
До нас доходит... «Берегись!»
Уступчив, добродушно смирен
Мужик торопится свернуть...
Опять пустынно-тих и мирен
Ты, русский путь, знакомый путь!
Прибитая к земле слезами
Рекрутских жен и матерей,
Пыль не стоит уже столбами
Над бедной родиной моей.
Опять ты сердцу посылаешь
Успокоительные сны,
И вряд ли сам припоминаешь,
Каков ты был во дни войны, —
Когда над Русью безмятежной
Восстал немолчный скрип тележный,
Печальный, как народный стон!
Русь поднялась со всех сторон,
Все, что имела, отдавала
И на защиту высылала
Со всех проселочных путей
Своих покорных сыновей.
Войска водили офицеры,
Гремел походный барабан,
Скакали бешено курьеры;
За караваном караван
Тянулся к месту ярой битвы —
Свозили хлеб, сгоняли скот.
Проклятья, стоны и молитвы
Носились в воздухе... Народ
Смотрел довольными глазами
На фуры с пленными врагами,
Откуда рыжих англичан,

Французов с красными ногами
И чалмоносных мусульман
Глядели сумрачные лица...
И все минуло... все молчит...
Так мирных лебедей станица,
Внезапно спугнута, летит
И, с криком обогнув равнину
Пустынных, молчаливых вод,
Садится дружно на средину
И осторожнее плывет...

3

Свершилось! Мертвые отпеты,
Живые прекратили плач,
Окровавленные ланцеты
Отчистил утомленный врач.
Военный поп, сложив ладони,
Творит молитву небесам,
И севастопольские кони
Пасутся мирно... Слава вам!
Вы были там, где смерть летает,
Вы были в сечах роковых
И, как вдовец жену меняет,
Меняли всадников лихих.

Война молчит — и жертв не просит;
Народ, стекаясь к алтарям,
Хвалу усердную возносит
Смирившим громы небесам.
Народ-герой! в борьбе суровой
Ты не шатнулся до конца,
Светлее твой венец терновый
Победоносного венца!

Молчит и *он*... как труп безглавый,
Еще в крови, еще дымясь;
Не небеса, ожесточась,
Его снесли огнем и лавой:
Твердыня, избранная славой,
Земному грому поддалась!
Три царства перед ней стояло,

Перед одной... таких громов
Еще и небо не метало
С нерукотворных облаков!
В ней воздух кровью напоили,
Изрешетили каждый дом
И, вместо камня, намостили
Ее свинцом и чугуном.
Там по чугунному помосту
И море под стеной течет.
Носили там людей к погосту,
Как мертвых пчел, теряя счет...
Свершилось! Рухнула твердыня,
Войска ушли... кругом пустыня,
Могилы... Люди в той стране
Еще не верят тишине,
Но тихо... В каменные раны
Заходят сизые туманы,
И черноморская волна
Уныло в берег славы плещет...
Над всею Русью тишина,
Но — не предшественница сна:
Ей солнце правды в очи блещет
И думу думает она.

4

А тройка все летит стрелой.
Завидев мост полуживой,
Ямщик бывалый, парень русский,
В овраг спускает лошадей
И едет по тропинке узкой
Под самый мост... оно верней!
Лошадки рады: как в подполье,
Прохладно там... Ямщик свистит
И выезжает на приволье
Лугов... родной, любимый вид!
Там зелень ярче изумруда,
Нежнее шелковых ковров,
И, как серебряные блюда,
На ровной скатерти лугов
Стоят озера... Ночью темной
Мы миновали луг поемный,

И вот уж едем целый день
Между зелеными стенами
Густых берез. Люблю их тень
И путь, усыпанный листами!
Здесь бег коня неслышно-тих,
Легко в их сырости приятной,
И веет на душу от них
Какой-то глушью благодатной.
Скорей туда — в родную глушь!
Там можно жить, не обижая
Ни божьих, ни ревижских душ
И труд любимый довершая.
Там стыдно будет унывать
И предаваться грусти праздной,
Где пахарь любит сокращать
Напевом труд однообразный.
Его ли горе не скребет? —
Он бодр, он за сохой шагает.
Без наслажденья он живет,
Без сожаленья умирает.
Его примером укрепись,
Сломившийся под игом горя!
За личным счастьем не гонись
И богу уступай — не споря...

УБОГАЯ И НАРЯДНАЯ

1

Беспокойная ласковость взгляда
И поддельная краска ланит,
И убогая роскошь наряда —
Все не в пользу ее говорит.
Но не лучше ли, прежде чем бросим
Мы в нее приговор роковой,
Подзовем-ка ее да расспросим:
«Как дошла ты до жизни такой?»

Не длинен и не нов рассказ:
Отец ее, подьячий бедный,
Таскался писарем в Приказ,
Имел порок дурной и вредный —

Запоем пил — и был буян,
Когда домой являлся пьян.
Предвидя роковую схватку,
Жена малютку уведет,
Уложит наскоро в кроватку
И двери поплотней припрет.
Но бедной девочке не спится!
Ей чудится: отец бранится,
Мать плачет. Саша на кровать,
Рукою подпершись, садится,
Стучит в ней сердце... где тут спать?
Раздвинув завесы цветные,
Глядит на двери запертые,
Откуда слышится содом,
Не шевелится и не дремлет.
Как птичка в бурю под кустом
Сидит — и чутко буре внемлет.

Но как ни буен был отец,
Угомонился наконец,
И стало без него им хуже.
Мать умерла в тоске по муже,
А девочку взяла «мадам»
И в магазине поселила.
Не очень много шили там,
И не в шитье была там сила...
. . . .
. . . .

2

«Впрочем, что ж мы? нас могут заметить
Рядом с ней?!» И отхлынули прочь...
Нет! тебе состраданья не встретить,
Нищеты и несчастия дочь!
Свет тебя предает поруганью
И охотно прощает другой,
Что́ торгует собой по призванью,
Без нужды, без борьбы роковой;
Что́, поднявшись с позорного ложа,
Разоденется, щеки притрет
И летит, соблазнительно лежа

В щегольском экипаже, в народ —
В эту улицу роскоши, моды,
Офицеров, лореток и бар,
Где с полу-государства доходы
Поглощает заморский товар.
Говорят, в этой улице милой
Все, что модного выдумал свет,
Совместилось волшебною силой,
Ничего только русского нет, —
Разве Ванька проедет унылый.
Днем и ночью на ней маскарад,
Ей недаром гордится столица.
На французский, на английский лад
Исковеркав нерусские лица,
Там гуляют они, пустоты вековой
И наследственной праздности дети,
Разодетой, довольной толпой...
Ну, кому же расставишь ты сети?
Вышла ты из коляски своей
И на ленте ведешь собачонку;
Стая модных и глупых людей
Провожает тебя вперегонку.
У прекрасного пола тоска,
Чувство злобы и зависти тайной.
В самом деле, жена бедняка,
Позавидуй! эффект чрезвычайный!
Бриллианты, цветы, кружева,
Доводящие ум до восторга,
И на лбу роковые слова:
«Продается с публичного торга!»
Что, красавица, нагло глядишь?
Чем гордишься? Вот вся твоя повесть:
Ты ребенком попала в Париж,
Потеряла невинность и совесть,
Научилась белиться и лгать
И явилась в наивное царство:
Ты слыхала, легко обирать
Наше будто богатое барство.

Да, нетрудно! Но должно входить
В этот избранный мир с аттестатом.
Красотой нас нельзя победить,

Удивить невозможно развратом.
Нам известность, нам мода нужна,
Ты красивей была и моложе,
Но, увы! неизвестна, бедна
И нуждалась сначала... О боже!
Твой рассказ о купце разрывал
Нам сердца: по натуре бурлацкой,
Он то ноги твои целовал,
То хлестал тебя плетью казацкой.
Но, по счастию, этот дикарь,
Слабоватый умом и сердечком,
Принялся за французский букварь,
Чтоб с тобой обменяться словечком.
Этим временем ты завела
Рысаков, экипажи, наряды,
И прославилась — в моду вошла!
Мы знакомству скандальному рады.
Что за дело, что вся дочиста
Предалась ты постыдной продаже,
Что поддельна твоя красота,
Как гербы на твоем экипаже,
Что глупа ты, жадна и пуста —
Ничего! знатоки вашей нации
Порешили разумным судом,
Что цинизм твой доходит до грации,
Что геройство в бесстыдстве твоем!
Ты у бога детей не просила,
Но ты женщина тоже была,
Ты со скрежетом сына носила
И с проклятьем его родила:
Он подрос — ты его нарядила
И на Невский с собой повезла.
Ничего! Появленье малютки
Не смутило души никому,
Только вызвало милые шутки,
Дав богатую пищу уму.
Удивлялась вся гвардия наша
(Да и было чему, не шутя),
Что ко всякому с словом «папаша»
Обращалось наивно дитя...
И не кинул никто, негодуя,

Комом грязи в бесстыдную мать!
Чувством матери нагло торгуя,
Пуще стала она обирать.
Бледны, полны тупых сожалений,
Потерявшие шик молодцы, —
Вон по Невскому бродят, как тени,
Разоренные ею глупцы!
И пример никому не наука,
Разорит она сотни других:
Тупоумие, праздность и скука
За нее... Но умолкни, мой стих!

И погромче нас были витии,
Да не сделали пользы пером...
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем.

* * *

Стихи мои! Свидетели живые
За мир пролитых слез!
Родитесь вы в минуты роковые
Душевных гроз
И бьетесь о сердца людские,
Как волны об утес.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям;
Записав свое имя и званье,
Разъезжаются гости домой,
Так глубоко довольны собой,
Что подумаешь — в том их призванье!
А в обычные дни этот пышный подъезд
Осаждают убогие лица:
Прожектеры, искатели мест,
И преклонный старик, и вдовица.
От него и к нему то и знай по утрам
Всё курьеры с бумагами скачут.
Возвращаясь, иной напевает «трам-трам»,
А иные просители плачут.
Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,

Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. — «Допусти», — говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: суди его бог!
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...

А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят...
Ты, считающий жизнью завидною
Упоение лестью бесстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,
Пробудись! Есть еще наслаждение:
Вороти их! в тебе их спасение! —
Но счастливые глухи к добру...

Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках,
И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах.

Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ?
Вечным праздником быстро бегущая
Жизнь очнуться тебе не дает.
И к чему? Щелкоперов забавою

Стихи, стихи! Свидетели живые
За міръ пролитыхъ слезъ! —
Родитесь вы въ минуты роковыя
Душевныхъ грозъ,
И бьетесь о сердца людскія
Какъ волны объ утесъ...

Н. Некрасовъ

21 Августа 1863 г.

Князю Д. И. Долгорукову.

Ты народное благо зовешь;
Без него проживешь ты со славою,
И со славой умрешь!
Безмятежней аркадской идиллии
Закатятся преклонные дни:
Под пленительным небом Сицилии,
В благовонной древесной тени,
Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное,
Полосами его золотя,
Убаюканный ласковым пением
Средиземной волны, — как дитя
Ты уснешь, окружен попечением
Дорогой и любимой семьи
(Ждущей смерти твоей с нетерпением);
Привезут к нам останки твои,
Чтоб почтить похоронною тризною,
И сойдешь ты в могилу... герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой!..

Впрочем, что ж мы такую особу
Беспокоим для мелких людей?
Не на них ли нам выместить злобу?
Безопасней... Еще веселей
В чем-нибудь приискать утешенье...
Не беда, что потерпит мужик:
Так ведущее нас провиденье
Указало... да он же привык!
За заставой, в харчевне убогой
Все пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал!
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой ночуя в степи;

Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлáки идут бичевой! ..
Волга! Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля. —
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Все, что мог, ты уже совершил, —
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил? ..

ПЕСНЯ ЕРЕМУШКЕ

«Стой, ямщик! жара несносная,
Дальше ехать не могу!»
Вишь пора-то сенокосная —
Вся деревня на лугу.

У двора у постоялого
Только нянюшка сидит,
Закачав ребенка малого,
И сама почти что спит;

Через силу тянет песенку
Да, зевая, крестит рот.
Сел я рядом с ней на лесенку;
Няня дремлет и поет:

«Ниже тоненькой былиночки
Надо голову клонить,
Чтоб на свете сиротиночке
Беспечально век прожить.

Сила ломит и соломушку —
Поклонись пониже ей,
Чтобы старшие Еремушку
В люди вывели скорей.

В люди выдешь, все с вельможами
Будешь дружество водить,
С молодицами пригожими
Шутки вольные шутить.

И привольная, и праздная
Жизнь покатится шутя...»
Эка песня безобразная!
— Няня! дай-ка мне дитя! —

«На́, родной, да ты откудова?»
— Я проезжий, городской. —
«Покачай; а я покудова
Подремлю... да песню спой!»

— Как не спеть! спою, родимая,
Только, знаешь, не твою.
У меня своя, любимая...
«Баю-баюшки баю!

В пошлой лени усыпляющий
Пошлых жизни мудрецов,
Будь он проклят, растлевающий
Пошлый опыт — ум глупцов!

В нас под кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человеческой
Плодотворное зерно.

Будь счастливей! Силу новую
Благородных юных дней
В форму старую, готовую
Необдуманно не лей!

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай.

С ними ты рожден природою —
Возлелей их, сохрани!
Братством, Равенством, Свободою
Называются они.

Возлюби их! на служение
Им отдайся до конца!
Нет прекрасней назначения,
Лучезарней нет венца.

Будешь редкое явление,
Чудо родины своей;
Не холопское терпение
Принесешь ты в жертву ей:

Необузданную, дикую
К угнетателям вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду.

С этой ненавистью правою,
С этой верою святой
Над неправдою лукавою
Грянешь божьею грозой...

И тогда-то...» Вдруг проснулося
И заплакало дитя.
Няня быстро встрепенулася
И взяла его, крестя.

«Покормись, родимый, грудкою!
Сыт? .. Ну, баюшки-баю!»
И запела над малюткою
Снова песенку свою...

* * *

(ОТРЫВОК)

Ночь. Успели мы всем насладиться.
Что ж нам делать? Не хочется спать.
Мы теперь бы готовы молиться,
Но не знаем, чего пожелать.
Пожелаем тому доброй ночи,
Кто все терпит во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться мечтам и страстям;
Кто бредет по житейской дороге
В безрассветной, глубокой ночи
Без понятья о праве, о боге,
Как в подземной тюрьме без свечи...

БУНТ

ЖИВАЯ КАРТИНА

...Скачу, как вихорь, из Рязани,
Являюсь: бунт во всей красе,
Не пожалел я крупной брани —
И пали на колени все!
Задавши страху дерзновенным,
Пошел я храбро по рядам
И в кровь коленопреклоненным
Коленом тыкал по зубам...

Н. Ф. КРУЗЕ

В печальной стороне, где родились мы с вами,
Где все разумное придавлено тисками,
Где все безмозглое отмечено звездáми,
Где силен лишь обман, —
В стране бесправия, невежества и дичи —
Не часто говорить приходится нам спичи
В честь доблестных граждан.

Прими простой привет, боец неустрашимый!
Луч света трепетный, сомнительный, чуть зримый,
Внезапно вспыхнувший над родиной любимой
Ты не дал погасить, — ты объявил войну
Слугам не родины, а царского семейства,
Науку мудрую придворного лакейства
Изведавшим одну.

Впервые чрез тебя до бедного народа
Дошли великие слова:
Наука, истина, отечество, свобода,
Гражданские права.
Вступила родина на новую дорогу.
Господь! ее храни и укрепляй.
Отдай нам труд, борьбу, тревогу,
Ей счастие отдай.

1859

О ПОГОДЕ

Часть первая

УЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Что за славная столица
Развеселый Петербург!
Лакейская песня

I

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Слава богу, стрелять перестали!
Ни минуты мы нынче не спали,
И едва ли кто в городе спал:
Ночью пушечный гром грохотал,
Не до сна! Вся столица молилась,
Чтоб Нева в берега воротилась,
И минула большая беда —
Понемногу сбывает вода.
Начинается день безобразный —
Мутный, ветреный, темный и грязный.
Ах, еще бы на мир нам с улыбкой смотреть!
Мы глядим на него через тусклую сеть,
Чтó как слезы струится по окнам домов
От туманов сырых, от дождей и снегов!

Злость берет, сокрушает хандра,
Так и просятся слезы из глаз.
Нет! Я лучше уйду со двора...
Я ушел — и наткнулся как раз
На тяжелую сцену. Везли на погост
Чей-то вохрой окрашенный гроб
Через длинный Исакиев мост.
Перед гробом не шли ни родные, ни поп,

Не лежала на нем золотая парча,
Только, в крышу досчатого гроба стуча,
Прыгал град, да извозчик-палач
Бил кургузым кнутом спотыкавшихся кляч,
И вдоль спин побелевших удары кнута
Полосами ложились. Съезжая с моста,
Зацепила за дроги коляска, стремглав
С офицером, кричавшим: «пошел!», проскакав.
Гроб упал и раскрылся.

«Сердечный ты мой!
Натерпелся ты горя живой,
Да пришлося терпеть и по смерти...
То случился проклятый пожар,
То теперь наскакали вдруг — черти!
Вот уж подлинно бедный Макар!
Дом-то, где его тело стояло,
Загорелся, — забыли о нем, —
Я схватилась: побились немало,
Да спасли-таки гроб целиком,
Так опять неудача сегодня!
Видно, участь его такова...
Расходилась рука-то господня,
Не удержишь!..»

Такие слова
Говорила бездушно и звонко,
Подбежав к мертвецу впопыхах,
Провожавшая гроб старушонка,
В кацавейке, в мужских сапогах.
— Вишь, проклятые! Ехать им тесно! —
«Кто он был?» — я старуху спросил.
— Кто он был? да чиновник, известно;
В департаментах разных служил.
Петербург ему солон достался:
В наводненье жену потерял.
Целый век по квартирам таскался
И четырнадцать раз погорал.
А уж службой себя как неволил!
В будни сиднем сидел да писал,
А по праздникам ноги мозолил —
Все начальство свое поздравлял.
Вот и кончилось тем — простудился!

Звал из Шуи родную сестру,
Да деньжонок послать поскупился.
«Так один, говорит, и умру,
Не дождусь... кто меня похоронит?
Хоть уж ты не оставь, помоги!»
Страх, бывало, возьмет, как застонет!
Подари, говорю, сапоги,
А то вишь разошелся дождище!
Неравно в самом деле умрешь,
В чем пойду проводить на кладбище?
Закивал головой... «Ну, и что ж?»
— Ну и умер — и больше ни слова:
Надо места искать у другого. —
«И тебе его будто не жаль?»
— Что жалеть! нам жалеть недосужно,
Что жалеть? хоронить теперь нужно.
Эка, батюшки, страшная даль!
Эко времячко! .. господи боже!
Как ни дорого бедному жить,
Умирать ему вдвое дороже.
На кладбище-то место купить,
Да попу, да на гроб, да на свечи... —

Говоря эти грустные речи,
До кладбища мы скоро дошли
И покойника в церковь внесли.
Много их там гуртом отпевалось,
Было тесно — и трудно дышалось.
Я ушел по кладбищу гулять;
Там одной незаметной могилы,
Где уснули великие силы,
Мне хотелось давно поискать.
Сделав даром три добрые круга,
Я у сторожа вздумал спросить.
Имя, званье, все признаки друга
Он заставил пять раз повторить
И сказал: «Нет, такого не знаю;
А, пожалуй, примету скажу,
Как искать: ты ищи его с краю,
Перешедши вон эту межу,
И смотри: где кресты — там мещане,
Офицеры, простые дворяне;

Над чиновником больше плита,
Под плитой же бывает учитель,
А где нет ни плиты, ни креста,
Там, должно быть, и есть сочинитель».

За совет я спасибо сказал,
Но могилы в тот день не искал.
Я старуху знакомую встретил
И покойника с ней хоронил.
День, попрежнему, гнил и несветел,
Вместо града, дождем нас мочил.
Средь могил, по мосткам деревянным
Довелось нам долгонько шагать.
Впереди, под навесом туманным,
Открывалась болотная гладь:
Ни жилья, ни травы, ни кусточка,
Все мертво — только ветер свистит:
Вон виднеется черная точка:
Это сторож. «Скорее!» — кричит.
По танцующим жердочкам прямо
Мы направились с гробом туда.
Наконец вот и свежая яма,
И уж в ней по колено вода!
В эту воду мы гроб опустили,
Жидкой грязью его завалили —
И конец! Старушонка опять
Не могла пересилить досады:
«Ну, дождался, сердечный, отрады!
Что б уж, кажется, с мертвого взять?
Да господь, как захочет обидеть,
Так обидит: вчера погорал,
А сегодня, изволите видеть,
Из огня прямо в воду попал!»
Я взглянул на нее — и заметил,
Что старухе-то жаль бедняка:
Бровь одну поводило слегка. . .
Я немым ей поклоном ответил
И ушел. . . Я доволен собой,
Я недаром на улицу вышел:
Я хандру разогнал и смешной
Каламбур на кладбище услышал,
Подготовленный жизнью самой. . .

II

ДО СУМЕРЕК

1

Ветер что-то удушлив не в меру,
В нем зловещая нота звучит,
Все холеру — холеру — холеру —
Тиф и всякую немочь сулит!
Все больны, торжествует аптека
И варит свои зелья гуртом;
В целом городе нет человека,
В ком бы желчь не кипела ключом.
Муж, супругою страстно любимый,
В этот день не понравится ей,
И преступник, сегодня судимый,
Вдвое больше получит плетей.
Всюду встретишь жестокую сцену, —
Полицейский не в меру сердит,
Тесаком, как в гранитную стену,
В спину бедного Ваньки стучит.
Чу! визгливые стоны собаки!
Вот сильней, — видно, треснули вновь. . .
Стали греться — догрелись до драки
Два калашника. . . хохот — и кровь!

2

Под жестокой рукой человека
Чуть жива, безобразно тоща,
Надрывается лошадь-калека,
Непосильную ношу влача.
Вот она зашаталась и стала.
«Ну!» — погонщик полено схватил
(Показалось кнута ему мало)
И уж бил ее, бил ее, бил!
Ноги как-то расставив широко,
Вся дымясь, оседая назад,
Лошадь только вздыхала глубоко
И глядела. . . (так люди глядят,
Покоряясь неправым нападкам).
Он опять: по спине, по бокам,
И, вперед забежав, по лопаткам,

И по плачущим кротким глазам!
Все напрасно. Клячонка стояла
Полосатая вся от кнута,
Лишь на каждый удар отвечала
Равномерным движеньем хвоста.

Это праздных прохожих смешило,
Каждый вставил словечко свое,
Я сердился и думал уныло:
«Не вступиться ли мне за нее?
В наше время сочувствовать мода,
Мы помочь бы тебе и непрочь,
Безответная жертва народа, —
Да себе не умеем помочь!»
А погонщик недаром трудился —
Наконец-таки толку добился!
Но последняя сцена была
Возмутительней первой для взора:
Лошадь вдруг напряглась — и пошла
Как-то боком, нервически скоро,
А погонщик при каждом прыжке,
В благодарность за эти усилья,
Поддавал ей ударами крылья
И сам рядом бежал налегке.

3

Я горячим рожден патриотом,
Я весьма терпеливо стою,
Если войско несметное счетом
Переходит дорогу мою.
Ускользнут ли часы из кармана,
До костей ли прохватит мороз
Под воинственный гром барабана,
Не жалею: я истинный Росс!
Жаль, что нынче погода дурная,
Солнца нет, кивера не блестят
И не лоснится масть вороная
Лошадей... Только сабли звенят;
На солдатах едва ли что сухо,
С лиц бегут дождевые струи,
Артиллерия тяжко и глухо
Подвигает орудья свои.

Все молчит. В этой раме туманной
Лица воинов жалки на вид,
И подмоченный звук барабанный
Словно издали жидко гремит...

4

Прибывает толпа ожидающих,
Сколько дрожек, колясок, карет!
Пеших, едущих, праздно-зевающих
Счету нет!
Тут квартальный с захваченным пьяницей,
Как Федотов его срисовал;
Тут старуха с аптечною скляницей,
Тут жандармский седой генерал;
Тут и дама такая сердитая —
Открывай ей немедленно путь!
Тут и лошадь, недавно побитая:
Бог привел и ее отдохнуть!
Смотрит прямо в окошко каретное,
На стекле надышала пятно.
Вот лицо, молодое, приветное,
Вот и ручка, — раскрылось окно,
И погладила клячу несчастную
Ручка белая... дождь зачастил,
Словно спрятаться ручку прекрасную
Поскорей торопил.
Тут бедняк итальянец с фигурами,
Тут чухна, продающий грибы,
Тут рассыльный Минай с корректурами.
— Что, старинушка, много ходьбы? —
«Много было до сорок девятого;
Отдохнули потом... да опять
С пятьдесят этак прорвало с пятого —
Успевай только ноги таскать!»
— А какие ты носишь издания? —
«Пропасть их — перечесть мудрено.
Я «Записки» носил с основания,
С «Современником» няньчусь давно.
То носил к Александру Сергеичу,
А теперь уж тринадцатый год
Все ношу к Николай Алексеичу, —
На Литейной живет.

Слог хорош, а жиденько издание,
Так, оберточкой больше берут.
Вот «Записки» — одно уж название!
Но и эти, случается, врут.
Всё зарезать друг дружку стараются,
Впрочем, нас же надуть норовят:
В месяц тридцать листов обещаются,
А рассыльный таскай шестьдесят!
Знай ходи — то в Коломну, то к Невскому,
Даже Фрейганг устанет марать:
Объяви, говорит, ты Краевскому,
Что я больше не стану читать! ..
Вот и нынче несу что-то спешное —
Да пускай подождут, не впервой.
Эх, умаялось тело-то грешное! ..»
— Да, пора бы тебе на покой. —
«То-то нет! говорили мне многие,
Даже доктор (в тридцатом году
Я носил к нему Курс Патологии):
«Жить тебе, пока ты на ходу!»
И ведь точно: сильней нездоровится,
Коли в праздник ходьба остановится:
Ноет спинушка, жилы ведет!
Я хожу уж полвека без малого,
Человека такого усталого
Не держи — пусть идет!
Умереть бы привел бог со славою,
Отдохнуть отдохнем, потрудясь. . .»
Принял позу старик величавую,
На Исакия смотрит, крестясь.
Мне понравилась речь эта странная.
— Трудно дело твое! — я сказал.
«Дела нет, а ходьба беспрестанная,
Зато город я славно узнал!
Знаю, сколько в нем храмов считается,
В каждой улице сколько домов,
Сколько вывесок, сколько шагов
(Так, идешь да считаешь, случается).
Грешен, знаю число кабаков.
Чтó ни есть в этом городе жителей,
Всех по времени вызнал с лица».
— Ну, а много видал сочинителей? —

«День считай — не дойдешь до конца,
Чай, и счет потерял в литераторах!
Коих помню — пожалуй, скажу.
При царице, при трех императорах
К ним ходил... при четвертом хожу:
Знал Булгарина, Греча, Сенковского,
У Воейкова долго служил,
В Шепелевском[1] сыпал у Жуковского
И у Пушкина в Царском гостил.
Походил я к Василью Андреичу,
Да гроша от него не видал,
Не чета Александру Сергеичу —
Тот частенько на водку давал.
Да зато попрекал все цензурою:
Если красные встретит кресты,
Так и пустит в тебя корректурою:
 Убирайся, мол, ты!
Глядя, как человек убивается,
Раз я молвил: сойдет-де и так!
— Это кровь, говорит, проливается, —
 Кровь моя — ты дурак!..»

5

Полно ждать! за последней колонною
 Отсталые прошли,
И покрытого красной попоною
В заключенье коня провели.
Торжествуя конец ожидания,
Кучера завопили «пади!»
Все спешит. — Ну, старик, до свидания,
Коли нужно итти, так иди!!!

6

Я, продрогнув, домой побежал.
Небо, видно, сегодня не сжалится:
 Только дождь перестал,
Снег лепешками крупными валится!
Город начал пустеть — и пора!
Только бедный да пьяный шатаются,
Да близ медной статуи Петра,

---

[1] Дворец, где долго жил Жуковский.

У присутственных мест дожидаются
Сотни сотен крестьянских дровней
И так щедро с небес посыпаются,
Что за снегом не видно людей.
Чу! рычание баб истеричное!
Сдали парня? .. Жалей не жалей,
Перемелется — дело привычное!
Злость-тоску мужики на лошадках сорвут,
Коли денежки есть — раскошелятся
И кручинушку штофом запьют,
А слезами-то бабы поделятся!
По ведерочку слез на сестренок уйдет,
С полведра молодухе достанется,
А старуха-то мать и без меры возьмет —
И без меры возьмет — что останется!

III

СУМЕРКИ

Говорят, еще день. Правда, я не видал,
Чтобы месяц свой рог золотой показал,
　　Но и солнца не видел никто.
Без его даровых, благодатных лучей
Золоченые куполы пышных церквей
　　И вся роскошь столицы — ничто.
Надо всем, что ни есть: над дворцом и тюрьмой,
И над медным Петром, и над грозной Невой,
До чугунных коней на воротах застав
(Что хотят ускакать из столицы стремглав) —
　　Надо всем распростерся туман.
Душный, стройный, угрюмый, гнилой,
Некрасив в эту пору наш город большой,
　　Как изношенный фат без румян...

Наша улица — улиц столичных краса,
В ней дома всё в четыре этажа,
Не лазурны над ней небеса,
Да зато процветает продажа.
Сверху донизу вывески сплошь
Покрывают громадные стены,
Сколько хочешь тут немцев найдешь —
Из Берлина, из Риги, из Вены.

Всё соблазны, помилуй нас бог!
Там перчатка с руки великана,
Там торчит Веллингтонов сапог,
Там с открытою грудью Диана,
Даже ты, Варсонофий Петров,
Подле вывески «Делают гробы»
Прицепил полуженные скобы
И другие снаряды гробов,
Словно хочешь сказать: «Друг-прохожий!
Соблазнись — и умри поскорей!»
Человек ты, я знаю, хороший
Да многонько родил ты детей —
Непрестанные нужны заказы. . .
Ничего! обеспечен твой труд,
Бедность гибельней всякой заразы —
В нашей улице люди так мрут,
Что по ней, то и знай, на кладбища,
Как в холеру, тащат мертвецов.
Холод, голод, сырые жилища —
Не робей, Варсонофий Петров! . .

В нашей улице жизнь трудовая:
Начинают, ни свет ни заря,
Свой ужасный концерт, припевая,
Токари, резчики, слесаря,
А в ответ им гремит мостовая!
Дикий крик продавца-мужика,
И шарманка с пронзительным воем,
И кондуктор с трубой, и войска,
С барабанным идущие боем,
Понуканье измученных кляч,
Чуть живых, окровавленных, грязных,
И детей раздирающий плач
На руках у старух безобразных —
Все сливается, стонет, гудет,
Как-то глухо и грозно рокочет,
Словно цепи куют на несчастный народ,
Словно город обрушиться хочет.
Давка, говор. . . (о чем голоса?
Все о деньгах, о нужде, о хлебе).
Смрад и копоть. Глядишь в небеса,
Но отрады не встретишь и в небе.

Этот омут хорош для людей,
Расставляющих ближнему сети,
Но не жалко ли бедных детей!
Вы зачем тут, несчастные дети?
Неужели душе молодой
Уж знакомы нужда и неволя?
Ах, уйдите, уйдите со мной
В тишину деревенского поля!
Не такой там услышите шум,
Там шумит созревающий колос,
Усыпляя младенческий ум
И страстей преждевременный голос.
Солнце, воздух, цветов аромат —
Это всех поколений наследство,
За пределами душных оград
Проведете вы сладкое детство.
Нет! вам красного детства не знать,
Не прожить вам покойно и честно.
Жребий ваш... но к чему повторять
То, что даже ребенку известно?

На спине ли дрова ты несешь на чердак,
Через лоб протянувши веревку,
Грош ли просишь, идешь ли в кабак,
Задают ли тебе потасовку, —
Ты знаком уже нам, петербургский бедняк,
Нарисованный ловкою кистью
В модной книге: угрюмый, худой,
Обессмысленный дикой корыстью,
Страхом, голодом, мелкой борьбой.
Мы довольно похвал расточали
И довольно сплели мы венков
Тем, которые нам рисовали
Любопытную жизнь бедняков.
Где ж плоды той работы полезной?
Увидав, как читатель иной
Льет над книгою слезы рекой,
Так и хочешь сказать: «Друг любезный,
Не сочувствуй ты горю людей,
Не читай ты гуманных книжонок,
Но не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок!»

ПАПАША

Я давно замечал этот серенький дом,
В нем живут две почтенные дамы,
Тишина в нем глубокая днем,
Сторы спущены, заперты рамы.
А вечерней порой иногда
Здесь движенье веселое слышно:
Приезжают сюда господа
И девицы, одетые пышно.
Вот и нынче карета стоит,
В ней какой-то мужчина сидит;
Свищет он, поджидая кого-то,
Да на окна глядит иногда.
Наконец отворились ворота,
И, нарядна, мила, молода,
Вышла женщина...
«Здравствуй, Наташа!
Я уж думал — не будет конца!»
— Вот тебе деньги, папаша! —
Девушка села, целует отца.
Дверцы захлопнулись, скрылась карета,
И постепенно затих ее шум.
«Вот тебе деньги!» Я думал: что ж это?
Дикая мысль поразила мой ум.
Мысль эта сердце мучительно сжала.
Прочь, ненавистная, прочь!
Что же, однако, меня испугало?
Мать, продающая дочь,
Не ужасает нас... так почему же?..
Нет, не поверю я!.. изверг, злодей!
Хуже убийства, предательства хуже...
Хуже-то хуже, да легче, верней,
Да и понятней. В наш век утонченный
Изверги водятся только в лесах.
Это не изверг, а фат современный —
Фат устарелый, без места, в долгах.
Что ж ему делать? Другого закона,
Кроме дэндизма, он в жизни не знал,
Жил человеком хорошего тона
И умереть им желал.
Поздно привык он ложиться,

Поздно привык он вставать,
Кушая кофе, помадиться, бриться,
Ногти точить и усы завивать,
Час или два перед тонким обедом
Невский проспект шлифовать.
Смолоду был он лихим сердцеедом:
Долго ли денег достать?
С шиком оделся, приставил лорнетку
К левому глазу, прищурил другой,
Мигом пленил пожилую кокетку,
И полилось ему счастье рекой.

Сладки трофеи нетрудной победы —
Кровные лошади, повар француз...
Боже! какие давал он обеды —
Роскошь, изящество, вкус!
Подлая сволочь глотала их жадно.
Подлая сволочь?.. о нет!
Все, что богато, чиновно, парадно,
Кушало с чувством и с толком обед.
Мы за здоровье хозяина пили.
Мы целовалися с ним...
Правда, что слухи до нас доходили...
Что нам до слухов — и верить ли им?
Старый газетчик, в порыве усердия,
Так отзывался о нем:
«Друг справедливости! жрец милосердия!»
То вдруг облаял потом, —
Верь, чему хочешь! Мы в нем не заметили
Подлости явной: в игре он платил.
Муза! воспой же его добродетели!
Вспомни, он набожен был;
Вспомни, он руку свою тароватую
Вечно раскрытой держал,
Даже Жуковскому что-то на статую
По доброте своей дал!

Счастье, однако, на свете непрочно —
Хуже да хуже с годами дела.
Сил ему много отпущено, точно,
Да красота изменять начала.
Он уж купил три таинственных банки:

Это — для губ, для лица и бровей,
Учетверил благородство осанки
И величавость походки своей,
Ходит по Невскому с палкой, с лорнетом
Сорокалетний герой.
Ходит зимою, весною и летом,
Ходит и думает: «Чорт же с тобой,
Город проклятый! Я строен, как тополь,
Счастье найду по другим городам!»
И, рассердясь, покидает Петрополь. . .
Может быть, ведомо вам,
Что за границей местами есть воды,
Где собирается множество дам —
Милых поклонниц свободы,
Дам и отчасти девиц,
Ежели дам, то в замужстве несчастных;
Разного возраста лиц,
Но одинаково страстных, —
Словом, таких, у которых талант
Жалкою славой прославиться в свете
И за которых Жорж Санд
Перед мыслителем русским в ответе.
Что привлекает их в город такой,
Славный не столько водами,
Сколько азартной игрой
И. . . но вы знаете сами. . .
Трудно решить. Говорят,
Годы терпенья и плена,
Тяжких обид и досад
Вдруг выкупает измена;
Ежели так, то целительность вод
Не подлежит никакому сомненью.
Бурно их жизнь там идет,
Вся отдана наслажденью.
Оригинален наряд:
Дома одеты, а в люди
Полураздеться спешат:
Голые спины и голые груди!
(Впрочем, не к каждой из дам
Эти идут укоризны:
Так, например, только лечатся там
Скромные дочери нашей отчизны. . .)

Наш благородный герой
Там свои сети раскинул,
Там он блистал еще годик-другой,
Но и оттудова сгинул.
Лет через восемь потом
Он воротился в Петрополь.
Все еще строен, как тополь,
Но уже несколько хром,
То есть не хром, а немножко
Стала шалить его левая ножка —
Вовсе не гнулась! Шагал
Ею он словно полёном,
То вдруг внезапно болтал
В воздухе правым коленом.
Белый платочек в руке,
Грусть на челе горделивом,
Волосы с бурым отливом —
И ни кровинки в щеке!
Плохо! ..
А вкусы так пошлы и грубы;
Дай им красавчика, кровь с молоком...
Волк, у которого выпали зубы,
Бешено взвыл; огляделся кругом,
Да и решился... Трудами питаться
Нет ни уменья, ни сил,
В бедности гнусной открыто признаться
Перед друзьями, которых кормил,
И удалиться с роскошного пира —
Нет! добровольно герой
Санктпетербургского модного мира
Не достигает развязки такой.
Молод — так дело женитьбой поправит,
Стар — так игорный притон заведет,
Вексель фальшивый составит,
В легкую службу пойдет...
Славная служба! Наш старый красавец
Чуть не пошел было этой тропой,
Да не годился... Вот этот мерзавец!
Под руку с дочерью! Весь завитой,
Кольца, лорнетка, цепочка вдоль груди...
Плюньте в лицо ему, честные люди!
Или уйдите хоть прочь!

Легче простить за поджог, за покражу —
Это отец, развращающий дочь
И выводящий ее на продажу!..

«Знаем мы, знаем — да дела нам нет!
Очень горяч ты, любезный поэт!»

Музыка вроде шарманки
Однообразно гудит,
Сонно поют испитые цыганки,
Глупый цыган каблуками стучит.
Около русой Наташи
Пять молодых усачей
Пьют за здоровье папаши.
Кажется, весело ей;
Смотрит спокойно, наивно смеется.
Пусть же смеется всегда!
Пусть никогда не проснется!
Если ж проснется, что будет тогда?
Нож ли ухватит, застонет ли тяжко
И упадет без дыханья, бедняжка,
Сломлена ужасом, горем, стыдом?
Кто ее знает! Не дай только, боже,
Быть никому в ее коже, —
Звать обнищалого фата отцом!

1860

* * *

Что ты, сердце мое, расходилося? . .
Постыдись! Уж про нас не впервой
Снежным комом прошла — прокатилася
Клевета по Руси по родной.
Не тужи! пусть растет, прибавляется,
Не тужи. . . как умрем,
Кто-нибудь и об нас проболтается
Добрым словцом.

* * *

. . . . .одинокий, потерянный,
Я как в пустыне стою,
Гордо не кличет мой голос уверенный
Душу родную мою.

Нет ее в мире. Те дни миновалися,
Как на призывы мои
Чуткие сердцем друзья отзывалися,
Слышалось слово любви.

Кто виноват — у судьбы не доспросишься,
Да и не все ли равно?
У моря бродишь, — «не верю, не бросишься!»
Вкрадчиво шепчет оно:

«Где тебе? Дружбы, любви и участия
Ты еще жаждешь и ждешь,

Где тебе, где тебе! — Ты не без счастия,
Ты не без ласки живешь...

Видишь, рассеялась туча туманная,
Звездочки вышли, горят?
Все на тебя, голова бесталанная,
Ласковым взором глядят».

ЗНАХАРКА

Знахарка в нашем живет околодке:
На воду шепчет; на гуще, на водке

Да на каких-то гадает травах.
Просто наводит, проклятая, страх!

Радостей мало — пророчит все горе;
Вздумал бы плакать — наплакал бы море,

Да — господь милостив! русский народ
Плакать не любит, а больше поет.

Молвила ведьма горластому парню:
«Эй! угодишь ты на барскую псарню!»

И — поглядят — через месяц всего
По лесу парень орет «го-го-го!»

Дяде Степану сказала: «Кичишься
Больно ты сивкой, а сивки лишишься,

Либо своей голове пропадать!»
Стали Степана рекрутством пугать:

Вывел коня на базар — откупился!
Весь околодок колдунье дивился.

«Сем-ка! и я понаведаюсь к ней! —
Думает старый мужик Пантелей. —

Что ни предскажет кому: разоренье,
Убыль в семействе, глядишь — исполненье!

Чорт у ней, что ли, в дрожжах-то сидит? . .»
Вот и пришел Пантелей — и стоит,

Ждет: у колдуньи была уж девица,
Любо взглянуть — молода, полнолица.

Рядом с ней парень — дворовый, кажись.
Знахарка девке: «Ты с ним не вяжись!

Будет твоя особливая доля:
Малые слезы — и вечная воля!»

Дрогнул дворовый, а ведьма ему:
«Счастью не быть, молодец, твоему.

Все говорить?» — Говори! — «Ты зимою
Высечен будешь, дойдешь до запою,

Будешь небритый валяться в избе,
Чортики прыгать учнут по тебе,

Станут глумиться, тянуть в преисподню;
Ты в пузыречек наловишь их сотню,

Станешь его затыкать. . .» Пантелей
Шапку в охапку — и вон из дверей.

«Что же, старик? Погоди — погадаю!» —
Ведьма ему. Пантелей: — «Не желаю!

Что нам гадать? Малолетков морочь,
Я погожу пока, чортова дочь!

Ты нам тогда предскажи нашу долю,
Как от господ отойдем мы на волю!»

НА ВОЛГЕ

(ДЕТСТВО ВАЛЕЖНИКОВА)

1

. . . .

. . . .

Не торопись, мой верный пес!
Зачем на грудь ко мне скакать?
Еще успеем мы стрелять.
Ты удивлен, что я прирос
На Волге: целый час стою
Недвижно, хмурюсь и молчу, —
Я вспомнил молодость мою
И весь отдаться ей хочу
Здесь на свободе. Я похож
На нищего: вот бедный дом,
Тут, может, подали бы грош.
Но вот другой — богаче: в нем,
Авось, побольше подадут.
И нищий мимо; между тем
В богатом доме дворник-плут
Не наделил его ничем.
Вот дом еще пышней, но там
Чуть не прогнали по шеям!
И, как нарочно, все село
Прошел — нигде не повезло!
Пуста, хоть выверни суму.
Тогда вернулся он назад
К убогой хижине — и рад,
Что корку бросили ему;
Бедняк ее, как робкий пес,
Подальше от людей унес
И гложет... Рано пренебрег
Я тем, что было под рукой,
И чуть не детскою ногой
Ступил за отческий порог.
Меня старались удержать
Мои друзья, молила мать,
Мне лепетал любимый лес:
Верь, нет милей родных небес!
Нигде не дышится вольней

Родных лугов, родных полей,
И той же песенкою полн
Был говор этих милых волн.
Но я не верил ничему.
Нет, — говорил я жизни той, —
Ничем не купленный покой
Противен сердцу моему...

Быть может, недостало сил,
Или мой труд не нужен был,
Но жизнь напрасно я убил,
И то, о чем дерзал мечтать,
Теперь мне стыдно вспоминать!
Все силы сердца моего
Истратив в медленной борьбе,
Не допросившись ничего
От жизни ближним и себе,
Стучусь я робко у дверей
Убогой юности моей:
— О юность бедная моя!
Прости меня, смирился я!
Не помяни мне дерзких грез,
С какими, бросив край родной,
Я издевался над тобой!
Не помяни мне глупых слез,
Какими плакал я не раз,
Твоим покоем тяготясь!
Но благодушно что-нибудь,
На чем бы сердцем отдохнуть
Я мог, пошли мне! Я устал,
В себя я веру потерял,
И только память детских дней
Не тяготит души моей...

2

Я рос, как многие, в глуши,
У берегов большой реки,
Где лишь кричали кулики,
Шумели глухо камыши,
Рядами стаи белых птиц,
Как изваяния гробниц,

Сидели важно на песке;
Виднелись горы вдалеке,
И синий бесконечный лес
Скрывал ту сторону небес,
Куда, дневной окончив путь,
Уходит солнце отдохнуть.

Я страха смолоду не знал,
Считал я братьями людей,
И даже скоро перестал
Бояться леших и чертей.
Однажды няня говорит:
«Не бегай ночью — волк сидит
За нашей ригой, а в саду
Гуляют черти на пруду!»
И в ту же ночь пошел я в сад.
Не то, чтоб я чертям был рад,
А так — хотелось видеть их.
Иду. Ночная тишина
Какой-то зоркостью полна,
Как будто с умыслом притих
Весь божий мир — и наблюдал,
Что дерзкий мальчик затевал!
И как-то не шагалось мне
В всезрящей этой тишине.
Не воротиться ли домой?
А то как черти нападут
И потащат с собою в пруд,
И жить заставят под водой?
Однако я не шел назад.
Играет месяц над прудом,
И отражается на нем
Береговых деревьев ряд.
Я постоял на берегу,
Послушал — черти ни гу-гу!
Я пруд три раза обошел,
Но чорт не выплыл, не пришел!
Смотрел я меж ветвей дерев
И меж широких лопухов,
Что поросли вдоль берегов,
В воде: не спрятался ли там?
Узнать бы можно по рогам.

Нет никого! Пошел я прочь,
Нарочно сдерживая шаг.
Сошла мне даром эта ночь,
Но если б друг какой иль враг
Засел в кусту и закричал,
Иль даже, спугнутая мной,
Взвилась сова над головой, —
Наверно б мертвый я упал!
Так, любопытствуя, давил
Я страхи ложные в себе
И в бесполезной той борьбе
Немало силы погубил.
Зато добытая с тех пор
Привычка не искать опор
Меня вела своим путем,
Пока рожденного рабом
Самолюбивая судьба
Не обратила вновь в раба!

3

О Волга! после многих лет,
Я вновь принес тебе привет.
Уж я не тот, но ты светла
И величава, как была.
Кругом все та же даль и ширь,
Все тот же виден монастырь
На острову, среди песков,
И даже трепет прежних дней
Я ощутил в душе моей,
Заслыша звон колоколов.
Все то же, то же... только нет
Убитых сил, прожитых лет...

Уж скоро полдень. Жар такой,
Что на песке горят следы,
Рыбалки дремлют над водой,
Усевшись в плотные ряды;
Куют кузнечики, с лугов
Несется крик перепелов.
Не нарушая тишины
Ленивой медленной волны,

Расшива движется рекой.
Приказчик, парень молодой,
Смеясь, за спутницей своей
Бежит по палубе: она
Мила, дородна и красна.
И слышу я, кричит он ей:
«Постой, проказница, ужо
Вот догоню! . .» Догнал, поймал, —
И поцелуй их прозвучал
Над Волгой вкусно и свежо.
Нас так никто не целовал!
Да в подрумяненных губах
У наших барынь городских
И звуков даже нет таких.
В каких-то розовых мечтах
Я позабылся. Сон и зной
Уже царили надо мной.
Но вдруг я стоны услыхал,
И взор мой на берег упал.
Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бичевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик —
И сердце дрогнуло во мне.

О Волга! . . колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда еще все в мире спит
И алый блеск едва скользит
По темноголубым волнам,
Я убегал к родной реке.
Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
Брожу с ружьем по островам.
То, как играющий зверок,
С высокой кручи на песок
Скачусь, то берегом реки
Бегу, бросая камешки,

И песню громкую пою
Про удаль раннюю мою...
Тогда я думать был готов,
Что не уйду я никогда
С песчаных этих берегов.
И не ушел бы никуда —
Когда б, о Волга! над тобой
Не раздавался этот вой!

Давно-давно, в такой же час,
Его услышав в первый раз,
Я был испуган, оглушен.
Я знать хотел, что значит он, —
И долго берегом реки
Бежал. Устали бурлаки,
Котел с расшивы принесли,
Уселись, развели костер
И меж собою повели
Неторопливый разговор.
— Когда-то в Нижний попадем? —
Один сказал. — Когда б попасть
Хоть на Илью... «Авось, придем», —
Другой, с болезненным лицом,
Ему ответил. — Эх, напасть!
Когда бы зажило плечо,
Тянул бы лямку, как медведь,
А кабы к утру умереть —
Так лучше было бы еще...»
Он замолчал и навзничь лег.
Я этих слов понять не мог,
Но тот, который их сказал,
Угрюмый, тихий и больной,
С тех пор меня не покидал!
Он и теперь передо мной:
Лохмотья жалкой нищеты,
Изнеможенные черты
И, выражающий укор,
Спокойно-безнадежный взор...

Без шапки, бледный, чуть живой,
Лишь поздно вечером домой
Я воротился. Кто тут был —

У всех ответа я просил
На то, что видел, и во сне
О том, что рассказали мне,
Я бредил. Няню испугал:
«Сиди, родименький, сиди!
Гулять сегодня не ходи!»
Но я на Волгу убежал.

Бог весть, что сделалось со мной?
Я не узнал реки родной:
С трудом ступает на песок
Моя нога: он так глубок;
Уж не манит на острова
Их яркосвежая трава;
Прибрежных птиц знакомый крик
Зловещ, пронзителен и дик,
И говор тех же милых волн
Иною музыкою полн!

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски! ..

Что́ я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал —
Пускай умрет в душе моей,
Чтоб кто-нибудь не осмеял!

Но если вы — наивный бред,
Обеты юношеских лет,
Зачем же вам забвенья нет?
И вами вызванный упрек
Так сокрушительно жесток? ..

4

Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал,
Таким и ныне увидал:
Все ту же песню ты поешь,

Все ту же лямку ты несешь,
В чертах усталого лица
Все та ж покорность без конца...

Прочна суровая среда,
Где поколения людей
Живут и гибнут без следа
И без урока для детей!
Отец твой сорок лет стонал,
Бродя по этим берегам,
И перед смертию не знал,
Что́ заповедать сыновьям.
И, как ему, не довелось
Тебе наткнуться на вопрос:
Чем хуже был бы твой удел,
Когда б ты менее терпел?
Как он, безгласно ты умрешь,
Как он, безвестно пропадешь.
Так заметается песком
Твой след на этих берегах,
Где ты шагаешь под ярмом
Не краше узника в цепях,
Твердя постылые слова,
От века те же: «раз да два!»
С болезненным припевом: «ой!»
И в такт мотая головой...

НА ПСАРНЕ
(ОТРЫВОК)

Ты, старина, здесь живешь, как в аду, —
Воля придет, чай, бежишь без оглядки?
— На́што мне воля? куда я пойду?
Нету ни батьки, ни матки,
Нету никем никого,
Хлеб добывать не умею,
Только и знаю кричать: «Го-го-го!
Горе косому злодею!..»

РЫЦАРЬ НА ЧАС

Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует,
Над душой воцаряется мгла,
Ум, бездействуя, вяло тоскует.
Только сном и возможно помочь,
Но, к несчастью, не всякому спится...

Слава богу! морозная ночь —
Я сегодня не буду томиться.
По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко,
Разбудил я гусей на пруду,
Я со стога спугнул ястребенка.
Как он вздрогнул! как крылья развил!
Как взмахнул ими сильно и плавно!
Долго, долго за ним я следил,
Я невольно сказал ему: славно!
Чу! стучит проезжающий воз,
Деготьком потянуло с дороги...
Обоняние тонко в мороз,
Мысли свежи, выносливы ноги.
Отдаешься невольно во власть
Окружающей бодрой природы;
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняют ожившую грудь;
Жаждой дела душа закипает,
Вспоминается пройденный путь,
Совесть песню свою запевает...

Я советую гнать ее прочь —
Будет время еще сосчитаться!
В эту тихую, лунную ночь
Созерцанию должно предаться.
Даль глубоко прозрачна, чиста,
Месяц полный плывет над дубровой
И господствуют в небе цвета
Голубой, беловатый, лиловый.
Воды ярко блестят средь полей,
А земля прихотливо одета

В волны белого лунного света
И узорчатых, странных теней.
От больших очертаний картины
До тончайших сетей паутины,
Что как иней к земле прилегли, —
Все отчетливо видно: далече
Протянулися полосы гречи,
Красной лентой по скату прошли;
Замыкающий сонные нивы,
Лес сквозит, весь усыпан листвой;
Чудны красок его переливы
Под играющей, ясной луной;
Дуб ли пасмурный, клен ли веселый —
В нем легко отличишь издали;
Грудью к северу ворон тяжелый —
Видишь — дремлет на старой ели!
Все, чем может порадовать сына
Поздней осенью родина-мать:
Зеленеющей озими гладь,
Подо льном — золотая долина,
Посреди освещенных лугов
Величавое войско стогов —
Все доступно довольному взору...
Не сожмется мучительно грудь,
Если б даже пришлось в эту пору
На родную деревню взглянуть:
Не видна ее бедность нагая!
Запаслася скирдами, родная,
Окружилася ими она
И стоит, словно полная чаша.
Пожелай ей покойного сна —
Утомилась кормилица наша!..

Спи, кто может, — я спать не могу,
Я стою потихоньку, без шуму,
На покрытом стогами лугу
И невольную думаю думу.
Не умел я с собой совладать,
Не осилил я думы жестокой...

В эту ночь я хотел бы рыдать
    На могиле далекой,

Где лежит моя бедная мать...
В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий.
Да! я вижу тебя, божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом,
Облаченного в светлую ризу.
Поднимается сторож-старик
На свою колокольню-руину,
На тени он громадно велик:
Пополам пересек всю равнину.
Поднимись! — и медлительно бей,
Чтобы слышалось долго гуденье!
В тишине деревенских ночей
Этих звуков властительно пенье:
Если есть в околодке больной,
Он при них встрепенется душой
И, считая внимательно звуки,
Позабудет на миг свои муки;
Одинокий ли путник ночной
Их заслышит — бодрее шагает;
Их заботливый пахарь считает
И, крестом осенясь в полусне,
Просит бога о ведреном дне.

Звук за звуком, гудя, прокатился,
Насчитал я двенадцать часов.
С колокольни старик возвратился,
Слышу шум его звонких шагов,
Вижу тень его: сел на ступени,
Дремлет, голову свесив в колени.
Он в мохнатую шапку одет,
В балахоне убогом и темном...
Все, чего не видал столько лет,
От чего я пространством огромным
Отделен, — все живет предо мной,
Все так ярко рисуется взору,

Что не верится мне в эту пору,
Чтоб не мог увидать я и той,
Чья душа здесь незримо витает,
Кто под этим крестом почивает...

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты, — грудью своей
Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилася!
Ты, не дрогнув, удар приняла,
За врагов, умирая, молилася,
На детей милость бога звала.
Неужели за годы страдания
Тот, кто столько тобою был чтим,
Не пошлет тебе радость свидания
С погибающим сыном твоим?..

Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О, прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый поставила путь.

Треволненья мирского далекая,
С неземным выраженьем в очах,
Русокудрая, голубоокая,

С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой величаво-безгласная —
Молода умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мне
При волшебно светящей луне.
Да! я вижу тебя бледнолицую
И на суд твой себя отдаю.
Не робеть перед правдой-царицею
Научила ты музу мою:
Мне не страшны друзей сожаления,
Не обидно врагов торжество,
Изреки только слово прощения,
Ты, чистейшей любви божество!
Что враги? пусть клевещут язвительней,
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!
Что друзья? Наши силы не ровные,
Я ни в чем середины не знал;
Что обходят они, хладнокровные,
Я на все безрассудно дерзал;
Я не думал, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдет —
И влекла меня жажда безумная,
Жажда жизни — вперед и вперед!
Увлекаем бесславною битвою,
Сколько раз я над бездной стоял,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падал — и вовсе упал!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Тот, чья жизнь бесполезно разбилася,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце неробкое билося,
Что умел он любить...

. . . .

(Утром, в постели)

О мечты! о волшебная власть
Возвышающей душу природы!
Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы —
Все в душе угнетенной моей
Пробудилось... но где же ты, сила?
Я проснулся ребенка слабей.
Знаю: день проваляюсь уныло,
Ночью буду микстуру глотать,
И пугать меня будет могила,
Где лежит моя бедная мать.

Все, что в сердце кипело, боролось,
Все луч бледного утра спугнул,
И насмешливый внутренний голос
Злую песню свою затянул:
«Покорись, о ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе,
Захватило вас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...»

ДЕРЕВЕНСКИЕ НОВОСТИ

Вот и Качалов лесок,
Вот и пригорок последний.
Как-то шумлив и легок
Дождь начинается летний,
И по дороге моей,
Светлые, словно из стали,
Тысячи мелких гвоздей
Шляпками вниз поскакали —
Скучная пыль улеглась...
Благодарение богу,
Я совершил еще раз

Милую эту дорогу.
Вот уж запасный амбар,
Вот уж и риги... как сладок
Теплого колоса пар!
— Останови же лошадок!
Видишь: из каждых ворот
Спешно идет обыватель.
Все-то знакомый народ,
Что ни мужик, то приятель.
— Здравствуйте, братцы! — «Гляди,
Крестничек твой-то Ванюшка!»
— Вижу, кума! погоди,
Есть мальчугану игрушка. —
«Здравствуй, как жил-поживал?
Не понапрасну мы ждали,
Ты-таки слово сдержал.
Выводки крупные стали;
Так уж мы их берегли,
Сами ни штуки не били.
Будет охота — пали!
Только бы ноги служили.
Вишь ты лядащий какой,
Мы не таким отпускали:
Словно тебя там сквозь строй
В зиму-то трижды прогнали.
Право, сердечный, чуть жив;
Али не ладно живется?»
— Сердцем я больно строптив,
Попусту глупое рвется.
Ну, да поправлюсь у вас.
Что у вас нового, братцы? —

«Умер третьеводни Влас
И отказал тебе святцы».
— Царство небесное! Что,
Было ему уж до сотни? —
«Было и с хвостиком сто.
Чудны дела-то господни!
Не понапрасну продлил
Этак-то жизнь человека:
Сто лет подушны платил,
Барщину правил полвека!»

— Как урожай? — «Ничего.
Горе другое: покрали
Много леску твоего.
Мы станового уж звали.
Шут и дурак наголо!
Слово-то молвит, скотина,
Словно как дунет в дупло,
Несообразный детина!
«Стан мой велик, говорит,
С хвостиком двадцать пять тысяч,
Где тут судить, говорит,
Всех не успеешь и высечь!»
С тем и уехал домой,
Так, ничего не поделав:
Нужен-ста тут межевой
Да епутат от уделов!..
В Ботове валится скот,
А у солдатки Аксиньи
Девочку — было ей с год —
Съели проклятые свиньи;
В Шахове свекру сноха
Вилами бок просадила —
Было за что... Пастуха
Громом во стаде убило.
Ну, уж и буря была!
Как еще мы уцелели!
Колокола-то, колокола —
Словно о Пасхе гудели!
Наши речонки водой
Налило на три аршина;
С поля бежала домой,
Словно шальная, скотина:
С ног ее ветер валил.
Крепко нам жаль мальчугана:
Этакой клоп, а отбил
Этто у волка барана!
Стали Волчком его звать —
Любо! Встает с петухами,
Песни начнет распевать,
Весь уберется цветами,
Ходит проворный такой.
Матка его проводила:

— Поберегися, родной!
Слышишь, какая завыла! —
«Буря-ста мне нипочем,
Я, говорит, не ребенок!»
Да размахнулся кнутом
И повалился с ножонок!
Мы посмеялись тогда,
Так до полден позевали,
Слышим — случилась беда:
Шли бы: убитого взяли!
И уцелел бы, да вишь
Крикнул дурак ему Ванька:
— Что ты под древом сидишь?
Хуже под древом-то... Встань-ка! —
Он не перечил — пошел,
Сел под рогожей на кочку,
Ну, а господь и навел
Гром в эту самую точку!
Взяли — не в поле бросать,
Да как рогожу открыли,
Так не одна его мать —
Все наши бабы завыли:
Угомонился Волчок —
Спит себе. Кровь на рубашке,
В левой ручонке рожок,
А на шляпенке венок
Из васильков да из кашки!

Этой же бурей сожгло
Красные Горки: пониже,
Помнишь, Починки село —
Ну и его... Вот поди же!
В Горках пожар уж притих.
Ждали: Починок не тронет!
Смотрят, а ветер на них
Пламя и гонит, и гонит!
Встречу-то поп со крестом,
Дьякон с кадилами вышел,
Не совладали с огнем —
Видно, господь не услышал!..

Вот и хоромы твои,
Ты, чай, захочешь покою? ..»
— Полноте, други мои!
Милости просим за мною... —

Сходится в хате моей
Больше да больше народу:
— Ну, говори поскорей,
Что ты слыхал про свободу?

ДУМА

Сторона наша убогая,
Выгнать некуда коровушку.
Проклинай житье мещанское
Да почесывай головушку.

Спи, не спи — валяйся по́-печи,
Каждый день недоедаючи,
Трать задаром силу дюжую,
Недоимку накопляючи.

Уж как нет беды кручиннее
Без работы парню маяться,
А пойдешь куда к хозяевам —
Ни один-то не нуждается!

У купца у Семипалова
Живут люди не говеючи,
Льют на кашу масло постное
Словно воду, не жалеючи.

В праздник — жирная баранина,
Пар над щами тучей носится,
В пол-обеда распояшутся —
Вон из тела душа просится!

Ночь храпят, наевшись до́-поту,
День придет — работой тешутся.
Эй! возьми меня в работники,
Поработать руки чешутся!

Повели ты в лето жаркое
Мне пахать пески сыпучие,
Повели ты в зиму лютую
Вырубать леса дремучие, —

Только треск стоял бы дó неба,
Как деревья бы валилися:
Вместо шапки, белым инеем
Волоса бы серебрилися!

ПЛАЧ ДЕТЕЙ

Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей, —
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?

«В золотую пóру малолетства
Все живое — счастливо живет.
Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радости берет.
Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колеса
Мы вертим — вертим — вертим! —

Колесо чугунное вертится,
И гудит, и ветром обдает,
Голова пылает и кружится,
Сердце бьется, все кругом идет:
Красный нос безжалостной старухи,
Что за нами смотрит сквозь очки,
По стенам гуляющие мухи,
Стены, окна, двери, потолки, —
Всё и все! Впадая в исступленье,
Начинаем громко мы кричать:
— Погоди, ужасное круженье!
Дай нам память слабую собрать!
Бесполезно плакать и молиться,
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри — проклятое вертится,
Хоть умри — гудит — гудит — гудит! —

Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас теперь пустили в поле,
Мы в траву попадали бы — спать.
Нам домой скорей бы воротиться...
Но зачем идем мы и туда?..
Сладко нам и дома не забыться:
Встретит нас забота и нужда!
Там, припав усталой головою
К груди бледной матери своей,
Зарыдав над ней и над собою,
Разорвем на части сердце ей...»

НА СМЕРТЬ ШЕВЧЕНКА

Не предавайтесь особой унылости!
Случай предвиденный, чуть не желательный.
Так погибает по божией милости
Русской земли человек замечательный
С давнего времени. Молодость трудная,
Полная страсти, надежд, увлечения,
Смелые речи, борьба безрассудная,
Вслед затем долгие дни заточения...

Все он изведал: тюрьму петербургскую,
Справки, допросы, жандармов любезности,
Все — и раздольную степь Оренбургскую,
И ее крепость... В нужде, в неизвестности
Там, оскорбляемый каждым невеждою,
Жил он солдатом — с солдатами жалкими.
Мог умереть он, конечно, под палками,
Может, и жил-то он этой надеждою.

Но, сократить не желая страдания,
Поберегло его в годы изгнания
Русских людей провиденье игривое, —
Кончилось время его несчастливое,
Все, чего с юности ранней не видывал,
Милое сердцу, ему улыбалося.
Тут ему бог позавидовал.
Жизнь оборвалася.

* * *

Что ни год — уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холодней...
Мать-отчизна! дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!

Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведреный день впереди;

Чтобы ветер родного селенья
Звук единый до слуха донес,
Под которым не слышно кипенья
Человеческой крови и слез.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ

Опять я в деревне. Хожу на охоту,
Пишу мои вирши — живется легко.
Вчера, утомленный ходьбой по болоту,
Забрел я в сарай и заснул глубоко.
Проснулся: в широкие щели сарая
Глядятся веселого солнца лучи.
Воркует голубка; над крышей летая,
    Кричат молодые грачи,
Летит и другая какая-то птица —
По тени узнал я ворону как раз.
Чу! шопот какой-то... а вот вереница
    Вдоль щели внимательных глаз!
Всё серые, карие, синие глазки —
    Смешались, как в поле цветы.
В них столько покоя, свободы и ласки,
    В них столько святой доброты!
Я детского глаза люблю выраженье,
    Его я узна́ю всегда.
Я замер: коснулось души умиленье...
    Чу! шопот опять!

Первый голос

Борода!

Второй

А барин, сказали!..

Третий

Потише вы, черти!

Второй

У бар бороды не бывает — усы.

Первый

А ноги-то длинные, словно как жерди.

Четвертый

А вона на шапке, гляди-тко — часы!

Пятый

Ай, важная штука!

Шестой

И цепь золотая...

Седьмой

Чай, дорого стоит?

Восьмой

Как солнце горит!

Девятый

А вона собака — большая, большая!
Вода с языка-то бежит.

Пятый

Ружье! погляди-тко: стволина двойная,
Замочки резные...

Третий

(с испугом)

Глядит!

Четвертый

Молчи, ничего! постоим еще, Гриша!

Третий

Прибьет...

—

Испугались шпионы мои
И кинулись прочь: человека заслыша,
Так стаей с мякины летят воробьи.
Затих я, прищурился — снова явились,
Глазенки мелькают в щели.
Что было со мною — всему подивились
И мой приговор изрекли:
— Такому-то гусю уж что за охота!
Лежал бы себе на печи!
И видно, не барин: как ехал с болота,
Так рядом с Гаврилой... — «Услышит, молчи!»

О милые плуты! Кто часто их видел,
Тот, верю я, любит крестьянских детей;
Но если бы даже ты их ненавидел,
Читатель, как «низкого рода людей», —
Я все-таки должен сознаться открыто,
Что часто завидую им:
В их жизни так много поэзии слито,
Как дай бог балованным деткам твоим.
Счастливый народ! Ни науки, ни неги
Не ведают в детстве они.
Я делывал с ними грибные набеги:
Раскапывал листья, обшаривал пни,
Старался приметить грибное местечко,
А утром не мог ни за что отыскать.
«Взгляни-ка, Савося, какое колечко!»
Мы оба нагнулись, да разом и хвать
Змею! Я подпрыгнул: ужалила больно!
Савося хохочет: «Попался спроста!»
Зато мы потом их губили довольно
И клали рядком на перилы моста.
Должно быть, за подвиги славы мы ждали.
У нас же дорога большая была:
Рабочего звания люди сновали
По ней без числа.
Копатель канав вологжанин,
Лудильщик, портной, шерстобит,
А то в монастырь горожанин
Под праздник молиться катит.
Под наши густые, старинные вязы

На отдых тянуло усталых людей.
Ребята обступят: начнутся рассказы
Про Киев, про турку, про чудных зверей.
Иной подгуляет, так только держися —
Начнет с Волочка, до Казани дойдет!
Чухну передразнит, мордву, черемиса,
И сказкой потешит, и притчу ввернет:
«Прощайте, ребята! Старайтесь найпаче
На господа бога во всем потрафлять:
У нас был Вавило, жил всех побогаче,
Да вздумал однажды на бога роптать, —
С тех пор захудал, разорился Вавило,
Нет меду со пчел, урожаю с земли,
И только в одном ему счастие было,
Что волосы из носу шибко росли...»
Рабочий расставит, разложит снаряды —
Рубанки, подпилки, долота, ножи:
«Гляди, чертенята!» А дети и рады,
Как пилишь, как лудишь — им все покажи.
Прохожий заснет под свои прибаутки,
Ребята за дело — пилить и строгать!
Иступят пилу — не наточишь и в сутки!
Сломают бурав — и с испугу бежать.
Случалось, тут целые дни пролетали,
Чтó новый прохожий, то новый рассказ...
Ух, жарко!.. До полдня грибы собирали.
Вот из лесу вышли — навстречу как раз
Синеющей лентой, извилистой, длинной,
Река луговая: спрыгнули гурьбой,
И русых головок над речкой пустынной,
Что белых грибов на полянке лесной!
Река огласилась и смехом, и воем:
Тут драка — не драка, игра — не игра...
А солнце палит их полуденным зноем.
Домой, ребятишки! обедать пора.
Вернулись. У каждого полно лукошко,
А сколько рассказов! Попался косой,
Поймали ежа, заблудились немножко,
И видели волка... у, страшный какой!
Ежу предлагают и мух, и козявок,
Корней молочко ему отдал свое —
Не пьет! отступились...

Кто ловит пиявок
На лаве, где матка колотит белье,
Кто нянчит сестренку двухлетнюю Глашку,
Кто тащит на пожню ведерко кваску,
А тот, подвязавши под горло рубашку,
Таинственно что-то чертит по песку;
Та в лужу забилась, а эта с обновой:
Сплела себе славный венок,
Все беленький, желтенький, бледнолиловый
Да изредка красный цветок.
Те спят на припеке, те пляшут вприсядку.
Вот девочка ловит лукошком лошадку:
Поймала, вскочила и едет на ней.
И ей ли, под солнечным зноем рожденной
И в фартуке с поля домой принесенной,
Бояться смиренной лошадки своей?..

Грибная пора отойти не успела,
Гляди — уж чернехоньки губы у всех,
Набили оскому: черница поспела!
А там и малина, брусника, орех!
Ребяческий крик, повторяемый эхом,
С утра и до ночи гремит по лесам.
Испугана пеньем,ауканьем, смехом,
Взлетит ли тетеря, закокав птенцам,
Зайчонок ли вскочит — содом, суматоха!
Вот старый глухарь с облинялым крылом
В кусту завозился... ну, бедному плохо!
Живого в деревню тащат с торжеством...

— Довольно, Ванюша! гулял ты не мало,
Пора за работу, родной! —
Но даже и труд обернется сначала
К Ванюше нарядной своей стороной:
Он видит, как поле отец удобряет,
Как в рыхлую землю бросает зерно,
Как поле потом зеленеть начинает,
Как колос растет, наливает зерно;
Готовую жатву подрежут серпами,
В снопы перевяжут, на ригу свезут,
Просушат, колотят-колотят цепами,
На мельнице смелют и хлеб испекут,

Отведает свежего хлебца ребенок
И в поле охотней бежит за отцом.
Навьют ли сенца: «Полезай, постреленок!»
Ванюша в деревню въезжает царем...

Однако же зависть в дворянском дитяти
Посеять нам было бы жаль.
Итак, обернуть мы обязаны кстати
Другой стороною медаль.
Положим, крестьянский ребенок свободно
Растет, не учась ничему,
Но вырастет он, если богу угодно,
А сгибнуть ничто не мешает ему.
Положим, он знает лесные дорожки,
Гарцует верхом, не боится воды,
Зато беспощадно едят его мошки,
Зато ему рано знакомы труды...

Однажды, в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведет под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах... а сам с ноготок!
— Здорово, парнище! — «Ступай себе мимо!»
— Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки? — «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
(В лесу раздавался топор дровосека.)
— А что, у отца-то большая семья? —
«Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я...»
— Так вон оно что! А как звать тебя? —
«Власом».
— А кой тебе годик? — «Шестой миновал...
Ну, мертвая!» — крикнул малюточка басом,
Рванул под уздцы и быстрей зашагал.
На эту картину так солнце светило,
Ребенок был так уморительно мал,
Как будто все это картонное было,

Как будто бы в детский театр я попал!
Но мальчик был мальчик живой, настоящий,
И дровни, и хворост, и пегонький конь,
И снег до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь —
Все, все настоящее русское было,
С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,
Что русской душе так мучительно мило,
Что русские мысли вселяет в умы,
Те честные мысли, которым нет воли,
Которым нет смерти — дави не дави,
В которых так много и злобы, и боли,
В которых так много любви!

Играйте же, дети! Растите на воле!
На то вам и красное детство дано,
Чтоб вечно любить это скудное поле,
Чтоб вечно вам милым казалось оно.
Храните свое вековое наследство,
Любите свой хлеб трудовой —
И пусть обаянье поэзии детства
Проводит вас в недра землицы родной! . .

—

Теперь нам пора возвратиться к началу.
Заметив, что стали ребята смелей,
— Эй! воры идут! — закричал я Фингалу.
— Украдут, украдут! Ну, прячь поскорей! —
Фингалушка скорчил серьезную мину,
Под сено пожитки мои закопал.
С особым стараньем припрятал дичину,
У ног моих лег — и сердито рычал.
Обширная область собачьей науки
Ему в совершенстве знакома была;
Он начал такие выкидывать штуки,
Что публика с места сойти не могла,
Дивятся, хохочут! Уж тут не до страха!
Командуют сами! — «Фингалка, умри!»
— Не засти, Сергей! Не толкайся, Кузяха! —
«Смотри — умирает — смотри!»
Я сам наслаждался, валяясь на сене,
Их шумным весельем. Вдруг стало темно

В сарае: так быстро темнеет на сцене,
Когда разразиться грозе суждено.
И точно: удар прогремел над сараем,
В сарай полилась дождевая река,
Актер залился оглушительным лаем,
А зрители дали стречка!
Широкая дверь отперлась, заскрипела,
Ударилась в стену, опять заперлась.
Я выглянул: темная туча висела
Над нашим театром как раз.
Под крупным дождем ребятишки бежали
Босые к деревне своей...
Мы с верным Фингалом грозу переждали
И вышли искать дупелей.

ПОХОРОНЫ

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.

Ой, беда приключилася страшная!
Мы такой не знавали вовек:
Как у нас — голова бесшабашная —
Застрелился чужой человек!

Суд приехал... допросы... — тошнехонько!
Догадались деньжонок собрать:
Осмотрел его лекарь скорехонько
И велел где-нибудь закопать.

И пришлось нам нежданно-негаданно
Хоронить молодого стрелка,
Без церковного пенья, без ладана,
Без всего, чем могила крепка...

Без попов!.. Только солнышко знойное,
Вместо ярого воску свечи,
На лицо непробудно спокойное,
Не скупясь, наводило лучи;

Да высокая рожь колыхалася,
Да пестрели в долине цветы;
Птичка божья на гроб опускалася
И, чирикнув, летела в кусты.

Поглядим: что ребят набирается!
Покрестились и подняли вой...
Мать о сыне рекой разливается,
Плачет муж по жене молодой, —

Как не плакать им? Диво велико ли?
Своему-то свои хороши!
А по ком ребятишки захныкали,
Тот, наверно, был доброй души!

Меж двумя хлебородными нивами,
Где прошел неширокий долок,
Под большими плакучими ивами
Упокоился бедный стрелок.

Что тебя доконало, сердешного?
Ты за что свою душу сгубил?
Ты захожий, ты роду нездешнего,
Но ты нашу сторонку любил:

Только минут морозы упорные
И весенних гостей налетит, —
«Чу! — кричат наши детки проворные, —
Прошлогодний охотник палит!»

Ты ласкал их, гостинцу им нашивал,
Ты на спрос отвечать не скучал.
У тебя порошку я попрашивал,
И всегда ты нескупо давал.

Почивай же, дружок! Память вечная!
Не жива ль твоя бедная мать?
Или, может, зазноба сердечная
Будет таять, дружка поджидать?

Мы дойдем, повестим твою милую:
Может быть, и приедет любя,

И поплачет она над могилою,
И расскажем мы ей про тебя.

Почивай себе с миром, с любовию!
Почивай! Бог тебе судия,
Что обрызгал ты грешною кровию
Неповинные наши поля!

Кто дознает, какою кручиною
Надрывалося сердце твое
Перед вольной твоею кончиною,
Перед тем, как спустил ты ружье?..

—

Меж двумя хлебородными нивами,
Где прошел неширокий долок,
Под большими плакучими ивами
Упокоился бедный стрелок.

Будут песни к нему хороводные
Из села по заре долетать,
Будут нивы ему хлебородные
Безгреховные сны навевать...

СЛЕЗЫ И НЕРВЫ

О слезы женские, с придачей
Нервических, тяжелых драм!
Вы долго были мне задачей,
Я долго слепо верил вам
И много вынес мук мятежных.
Теперь я знаю наконец:
Не слабости созданий нежных —
Вы их могущества венец.
Вернее закаленной стали
Вы поражаете сердца.
Не знаю, сколько в вас печали,
Но деспотизму нет конца!
Когда, бывало, предо мною
Зальется милая моя,
Наружно ласковость удвою,

Но внутренно озлоблен я.
Пока она дрожит и стонет,
Лукавлю праздною душой:
Язык лисит, а глаз шпионит
И открывает... Боже мой!
Зачем не мог я прежде видеть?
Ее не стоило любить,
Ее не стоит ненавидеть,
О ней не стоит говорить...
Скажи «спасибо» близорукой,
Всеукрашающей любви
И с головы с ревнивой мукой
Волос седеющих не рви!
Чем ты был пьян — вином поддельным
Иль настоящим — все равно;
Жалей о том, что сном смертельным
Не усыпляет нас оно!

Кто ей теперь флакон подносит,
Застигнут сценой роковой?
Кто у нее прощенья просит,
Вины не зная за собой?
Кто сам трясется в лихорадке,
Когда она к окну бежит
В преувеличенном припадке
И «ты свободен!» говорит?
Кто боязливо наблюдает,
Сосредоточен и сердит,
Как буйство нервное стихает
И переходит в аппетит?
Кто ночи трудные проводит,
Один, ревнивый и больной,
А утром с ней по лавкам бродит,
Наряд торгуя дорогой?
Кто говорит: «Прекрасны оба» —
На нежный спрос: «Который взять?»
Меж тем как закипает злоба
И к чорту хочется послать
Француженку с нахальным носом,
С ее коварным: «c'est joli!»
И даже милую с вопросом...
Кто молча достает рубли,

Спеша скорей покончить муку,
И, увидав себя в трюмо,
В лице своем читает скуку
И рабства темное клеймо!..

ТУРГЕНЕВУ

Мы вышли вместе... Наобум
Я шел во мраке ночи,
А ты... уж светел был твой ум,
И зорки были очи.

Ты знал, что ночь, глухая ночь
Всю нашу жизнь продлится,
И не ушел ты с поля прочь,
И стал ты честно биться.

Врагу дремать ты не давал,
Клеймя и проклиная,
И маску дерзостно срывал
С глупца и негодяя.

И что же? луч едва блеснул
Сомнительного света,
Молва гремит, что ты задул
Свой факел... ждешь рассвета.

Наивно стал ты охранять
Спокойствие невежды —
И начал сам в душе питать
Какие-то надежды.

На пылких юношей ворча,
Ты глохнешь год от года
И к свисту буйного бича,
И к ропоту народа.

Щадишь ты важного глупца,
Безвредного ласкаешь
И на идущих до конца
Поход ты замышляешь.

Кому назначено орлом
Парить над русским миром,

Быть русских юношей вождем
И русских дев кумиром,

Кто на смерть был готов итти
За страждущего брата,
Тому с тернистого пути
Покамест нет возврата.

Непримиримый враг цепей
И верный друг народа,
До дна святую чашу пей,
На дне ее — свобода!

КОРОБЕЙНИКИ

ДРУГУ-ПРИЯТЕЛЮ ГАВРИЛЕ ЯКОВЛЕВИЧУ
(крестьянину деревни Шоды, Костромской губернии)

Как с тобою я похаживал
По болотинам вдвоем,
Ты меня почасту спрашивал:
Что строчишь карандашом?

Почитай-ка! Не прославиться,
Угодить тебе хочу.
Буду рад, коли понравится,
Не понравится — смолчу.

Не побрезгуй на подарочке!
А увидимся опять,
Выпьем мы по доброй чарочке
И отправимся стрелять.

Н. Некрасов

23 августа.
Грешнево.

I

Кумачу я не хочу,
Китайки не надо.
Песня

«Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы, и парча.
Пожалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!

Выди, выди в рожь высокую!
Там до ночки погожу,
А завижу черноокую —
Все товары разложу.
Цены сам платил немалые,
Не торгуйся, не скупись:
Подставляй-ка губы алые,
Ближе к милому садись!»
Вот и пала ночь туманная,
Ждет удалый молодец.
Чу, идет! — пришла желанная,
Продает товар купец.
Катя бережно торгуется,
Все боится передать.
Парень с девицей целуется,
Просит цену набавлять.
Знает только ночь глубокая,
Как поладили они.
Распрямись ты, рожь высокая,
Тайну свято сохрани!

—

«Ой, легка, легка коробушка,
Плеч не режет ремешок!
А всего взяла зазнобушка
Бирюзовый перстенек.
Дал ей ситцу штуку целую,
Ленту алую для кос,
Поясок — рубаху белую
Подпоясать в сенокос.
Все поклала ненаглядная
В короб, кроме перстенька:
«Не хочу ходить нарядная
Без сердечного дружка!»
То-то дуры вы, молодочки!
Не сама ли принесла
Полуштофик сладкой водочки?
А подарков не взяла!
Так постой же! Нерушимое
Обещаньице даю:
У отца дитя любимое!

Ты попомни речь мою:
Опорожнится коробушка,
На Покров домой приду
И тебя, душа-зазнобушка,
В божью церковь поведу!»

Вплоть до вечера дождливого
Молодец бежит бегом
И товарища ворчливого
Нагоняет под селом.
Старый Тихоныч ругается:
«Я уж думал, ты пропал!»
Ванька только ухмыляется —
Я-де ситцы продавал!

II

Зачали — почали
Поповы дочери.

Припев деревенских торгашей

«Эй, Федорушки! Варварушки!
Отпирайте сундуки!
Выходите к нам, сударушки,
Выносите пятаки!»

Жены мужние — молодушки
К коробейникам идут,
Красны девушки-лебедушки
Новины свои несут.
И старушки важеватые,
Глядь, туда же приплелись.

«Ситцы есть у нас богатые,
Есть миткаль, кумач и плис.
Есть у нас мыла пахучие —
По две гривны за кусок,
Есть румяна нелинючие —
Молодись за пятачок!

Видишь, камни самоцветные
В перстеньке как жар горят.
Есть и любчики[1] заветные —
Хоть кого приворожат!»

Началися толки рьяные,
Посреди села базар,
Бабы ходят словно пьяные,
Друг у дружки рвут товар.
Старый Тихоныч так божится
Из-за каждого гроша,
Что Ванюха только ежится:
«Пропади моя душа!
Чтоб тотчас же очи лопнули,
Чтобы с места мне не встать,
Провались я!..» Глянь — и хлопнули
По рукам! Ну, исполать!
Не торговец — удивление!
Как божиться-то не лень...
Долго, долго все селение
Волновалось в этот день.
Где гроши какие медные
Были спрятаны в мотках, —
Всё достали бабы бедные,
Ходят в новеньких платках.
Две снохи за ленту пеструю
Расцарапалися в кровь.
На Феклушку, бабу вострую,
Раскудахталась свекровь.
А потом и коробейников
Поругала баба всласть:
«Принесло же вас, мошейников!
Вот уж подлинно напасть!
Вишь вы жадны, как кутейники,
Из села бы вас колом!..»

Посмеялись коробейники
И пошли своим путем.

---

[1] Любчики — деревенские талисманы, имеющие, по понятиям простолюдинок, привораживающую силу.

III

Уж ты пей до дна, коли хошь добра,
А не хошь добра, так не пей до дна.

Старинная былина

За селом остановилися,
Поделили барыши
И на церковь покрестилися,
Повздыхали от души.
— Славно, дядя, ты торгуешься!
Что не весел? ох да ох! —
«В день теперя не отплюешься,
Как еще прощает бог:
Осквернил уста я ложию —
Не обманешь — не продашь!»
И опять на церковь божию
Долго крестится торгаш.
«Кабы в строку приходилися
Все-то речи продавца,
Все давно бы провалилися
До единого купца —
Сквозь сырую землю-матушку
Провалились бы... эх-эх!»
— Понагрел ты Калистратушку. —
«Ну, его нагреть не грех,
Сам снимает крест с убогого».
— Рыжий, клином борода. —
«Нашим делом нынче многого
Не добыть — не те года!
Подошла война проклятая,
Да и больно уж лиха,
Где бы свадебка богатая —
Цоп в солдаты жениха!
Царь дурит — народу горюшко!
Точит русскую казну,
Красит кровью Черно морюшко,
Корабли валит ко дну.
Перевод свинцу да олову,
Да удалым молодцам.
Весь народ повесил голову,
Стон стоит по деревням.
Ой! бабье неугомонное,



Полно взапуски реветь!
Причитанье похоронное
Над живым-то рано петь!
Не уймешь их! Как отпетого
Парня в город отвезут.
Бабы сохнут с горя с этого,
Мужики в кабак идут.
Ты попомни целовальника,
Что́ сказал — подлец седой!
— Выше нет меня начальника,
Весь народ — работник мой!
Лето, осень убиваются,
А спроси-ка, на кого
Православные стараются?
Им не нужно ничего!
Всё бессребренники, сватушка,
Сам не сею и не жну,
Что родит земля им, матушка,
Всё несут в мою казну! —

Пропилися, подоконники,
Где уж баб им наряжать!
В город едут, балахонники,
Ходят лапти занимать!

Ой! ты зелие кабашное
Да китайские чаи,
Да курение табашное!
Бродим сами не свои.
С этим пьянством да курением
Сломишь голову как раз.
Перед светопреставлением,
Знать, война-то началась.
Грянут, грянут гласы трубные!
Станут мертвые вставать!
За дела-то душегубные
Как придется отвечать?
Вот и мы гневим всевышнего. . .»
— Полно, дядя! Страшно мне!
Уж не взять рублишка лишнего
На чужой-то стороне? . .

IV

Ай барыня! барыня!
Песня

«Эй вы, купчики-голубчики,
К нам ступайте ночевать!»
Ночевали наши купчики,
Утром тронулись опять.
Полегоньку подвигаются,
Накопляют барыши,
Чем попало развлекаются
По дороге торгаши.
По реке идут — с бурлаками
Разговоры заведут:
«Кто вас спутал?»[1] и собаками
Их бурлаки назовут.
Поделом вам, пересмешники,
Лыком шитые купцы!..

Потянулись огурешники:
«Эй! просыпал огурцы!»
Ванька вдруг как захихикает
И на стадо показал:
Старичонко в стаде прыгает
За савраской, — длинен, вял,
И на цыпочки становится,
И лукошечком манит —
Нет! проклятый конь не ловится!
Вот подходит, вот стоит.
Сунул голову в лукошечко,
Старичок за холку хвать!
— Эй! еще, еще немножечко! —
Нет! урвался конь опять
И, подбросив ноги задние,
Брызнул грязью в старика.
«Знамо, в стаде-то поваднее,
Чем в косуле мужика:
Эх ты, пареный да вяленый!
Где тебе его поймать?

---

[1] Общеизвестная народная шутка над бурлаками, которая спокон-веку приводит их в негодование.

Потерял сапог-то валяный,
Надо новый покупать!»

Им обозики военные
Попадались иногда:
«Погляди-тко! турки пленные,
Эка пестрая орда!»
Ванька искоса поглядывал
На турецких усачей
И в свиное ухо складывал
Полы свиточки своей:
— Эй вы, нехристи, табашники,
Карачун приходит вам! ..

Попадались им собашники:
Псы носились по кустам,
А охотничек покрикивал,
В роги звонкие трубил,
Чтобы серый зайка спрыгивал,
В чисто поле выходил.
Остановятся с ребятами:
— Чьи такие господа? —
«Кашпирята с Зюзенятами... [1]
Заяц! вон, гляди туда!»
Всполошилися борзители:
«Ай! а-ту его! а-ту!»
Ну собачки! Ну губители!
Подхватили на лету...

Посидели на пригорочке,
Закусили как-нибудь
(Не разъешься черствой корочки)
И опять пустились в путь.
— Счастье, Тихоныч, неровное,
Нынче выручка плоха. —
«Встрелось нам лицо духовное —
Хуже не было б греха.
Хоть душа-то христианская,
Согрешил — поджал я хвост».

[1] Кашпировы. Зюзины. Крестьяне, беседуя между собою об известных предметах и лицах, редко употребляют иную форму выражения.

— Вот усадьбишка дворянская,
Завернем? — «Ты, Ваня, прост!
Нынче баре деревенские
Не живут по деревням,
И такие моды женские
Завелись... куда уж нам!
Хоть бы наша: баба старая,
Угреватая лицом,
Безволосая, поджарая,
А оделась — стог стогом!
Говорить с тобой гнушается:
Ты мужик, так ты нечист!
А тобой-то кто прельщается?
Долог хвост, да не пушист!
Ой ты, барыня спесивая,
Ты стыдись глядеть на свет!
У тебя коса фальшивая,
Ни зубов, ни груди нет,
Все подклеено, подвязано!
Город есть такой: Париж,
Про него недаром сказано:
Как заедешь — угоришь.
По всему по свету славится,
Мастер по-миру пустить;
Коли нос тебе не нравится,
Могут новый наклеить!
Вот от этих-то мошейников,
Что в том городе живут,
Ничего у коробейников
Нынче баре не берут.
Чорт побрал бы моду новую!
А бывало в старину
Приведут меня в столовую,
Все товары разверну;
Выдет барыня красивая,
С настоящею косой,
Важеватая, учтивая,
Детки выбегут гурьбой,
Девки-горничные, нянюшки,
Слуги высыплют к дверям.
На рубашечки для Ванюшки
И на платья дочерям

Все сама руками белыми
Отбирает, не спеша,
И берет кусками целыми —
Вот так барыня-душа!
«Что возьмешь за серьги с бусами?
Что за алую парчу?»
Я тряхну кудрями русыми,
Заломлю — чего хочу!
Навалит покупки кучею,
Разочтется — бог с тобой! ..

А то раз попал я к случаю
За рекой за Костромой.
Именины были званые —
Расходился баринок!
Слышу, кличут гости пьяные:
«Подходи сюда, дружок!»
Подбегаю к ним скорехонько.
«Что возьмешь за короб весь?»
Усмехнулся я легохонько:
— Дорог будет, ваша честь. —
Слово за слово, приятели
Посмеялись меж собой
Да три сотни и отпятили,
Не глядя, за короб мой.
Уж тогда товары вынули
Да в девичий хоровод
Середи двора и кинули:
«Подбирай, честной народ!»
Закипела свалка знатная.
Вот так были господа:
Угодил домой обратно я
На девятый день тогда!»

V

— Много ли верст до Гогулина?
— Да обходами три, а прямо-то шесть.
Крестьянская шутка

Хорошо было детинушке
Сыпать ласковы слова,
Да трудненько Катеринушке
Парня ждать до Покрова.

Часто в ночку одинокую
Девка часу не спала,
А как жала рожь высокую,
Слезы в три ручья лила!
Извелась бы неутешная,
Кабы время горевать,
Да пора страдная, спешная —
Надо десять дел кончать.
Как ни часто приходилося
Молодице невтерпеж,
Под косой трава валилася,
Под серпом горела рожь.
Изо всей-то силы-моченьки
Молотила по утрам,
Лен стлала до темной ноченьки
По росистым по лугам.
Стелет лен, а неотвязная
Дума на́ сердце лежит:
«Как другая девка красная
Молодца приворожит.
Как изменит? как засватает
На чужой на стороне?»
И у девки сердце падает:
«Ты женись, женись на мне!
Ни тебе, ни свекру-батюшке
Николи не согрублю,
От свекрови, твоей матушки,
Слово всякое стерплю,
Не дворянка, не купчиха я,
Да и нравом-то смирна,
Буду я невестка тихая,
Работящая жена.
Ты не нудь себя работою,
Силы мне не занимать,
Я за милого с охотою
Буду пашенку пахать.
Ты живи себе гуляючи,
За работницей женой,
По базарам разъезжаючи,
Веселися, песни пой!
А вернешься с торгу пьяненький —
Накормлю и уложу!

«Спи, пригожий, спи, румяненький!» —
Больше слова не скажу.
Видит бог, не осердилась бы!
Обрядила бы коня
Да к тебе и подвалилась бы:
«Поцелуй, дружок, меня! ..»
Думы девичьи заветные,
Где вас все-то угадать?
Легче камни самоцветные
На дне моря сосчитать.
Уж овечка опушается,
Чуя близость холодов,
Катя пуще разгорается...
Вот и праздничек Покров!

—

«Ой! пуста, пуста коробушка,
Полон денег кошелек.
Жди-пожди, душа-зазнобушка,
Не обманет мил-дружок!»
Весел Ванька. Припеваючи,
Прямиком домой идет.
Старый Тихоныч, зеваючи,
То и дело крестит рот.
В эту ночку не уснулося
Ни минуточки ему.
Как мошна-то пораздулася,
Так, бог знает почему,
Всё такие мысли страшные
Забираются в башку.
Прощелыги ли кабашные
Подзывают к кабаку,
Попадутся ли солдатики —
Коробейник сам не свой:
«Проходите с богом, братики!»
И ударится рысцой.
Словно пятки-то иголками
Понатыканы — бежит.

В Кострому идут проселками,
По болоту путь лежит,
То кочажником, то бродами.

«Эх! пословица-то есть:
Коли три версты обходами,
Прямиками будет шесть!
Да в Трубе, в селе, мошейники
Сбили с толку, мужики:
— Вы подите, коробейники,
В Кострому-то напрямки:
Верных сорок с половиною
По нагорной стороне,
А болотной-то тропиною
Двадцать восемь. — Вот оне!
Чорт попутал — мы поверили,
А кто версты тут считал?»
— Бабы их клюкою меряли, —
Ванька с важностью сказал:
— Не ругайся! Сам я слыхивал,
Тут дорога попрямей. —
«Дьявол, что ли, понапихивал
Этих кочек да корней?
Доведись пора вечерняя,
Не дойдешь — сойдешь с ума!
Хороша наша губерния,
Славен город Кострома,
Да леса, леса дремучие,
Да болота к ней ведут,
Да пески, пески сыпучие...»
Стой-ка, дядя, чу, идут!

VI

Только молодец и жив бывал.
Старинная былина

Не тростник высок колышется,
Не дубровушки шумят,
Молодецкий посвист слышится,
Под ногой сучки трещат.
Показался пес в ошейничке,
Вот и добрый молодец:
— Путь-дорога, коробейнички! —
«Путь-дороженька, стрелец!»

— Что ты смотришь? — «Не прохаживал
Ты, как давеча в Трубе
Про дорогу я расспрашивал?»
— Нет, почудилось тебе.
Трои сутки не был дома я,
Жить ли дома леснику? —
«А, кажись, лицо знакомое», —
Шепчет Ванька старику.
— Что вы шепчетесь? — «Да каемся,
Лучше б нам горой итти.
Так ли, малый, пробираемся
В Кострому?» — Нам по пути,
Я из Шуньи. — «А далеко ли
До деревни до твоей?»
— Верст двенадцать. А по многу ли
Поделили барышей? —
«Коли знать всю правду хочется,
Весь товар несем назад».
Лесничок как расхохочется!
— Ты, я вижу, прокурат!
Кабы весь, небось, не скоро бы
Шел ты, старый воробей! —
И лесник приподнял коробы
На плечах у торгашей.
— Ой! легохоньки коробушки,
Все повыпродали, знать?
Наклевалися воробушки,
Полетели отдыхать! —
«Что, дойдем в село до ноченьки?»
— Надо, парень, добрести,
Сам устал я, нету моченьки —
Тяжело ружье нести.
Наше дело подневольное,
День и ночь броди в лесу. —
И с плеча ружье двуствольное
Снял — и держит навесу.
— Эх вы, стволики-голубчики!
Больно вы уж тяжелы. —
Покосились наши купчики
На тяжелые стволы:
Сколько ниток понамотано!
В палец щели у замков.

«Неужели, парень, бьет оно?»
— Бьет на семьдесят шагов.
Деревенский, видно, плотничек
Строил ложу — тяп да ляп! —
Да и сам Христов охотничек
Ростом мал и с виду слаб.
Выше пояса замочена
Одежонка лесника,
Борода густая склочена,
Лычко вместо пояска.
А туда же пес в ошейнике,
По прозванию — Упырь.
Посмеялись коробейники:
«Эх ты, горе-богатырь! ..»

Час идут, другой. «Далеко ли?»
— Близко. — «Что ты?» — У реки
Куропаточки закокали. —
И детина взвел курки.
— Ай, курочки! важно щелкнули,
Хоть медведя уложу!
Что вы, други, приумолкнули?
Запоем для куражу! —

Коробейникам не пелося:
Уж темнели небеса,
Над болотом засинелося,
Понависнула роса.
«День деньской и так умелешься,
Сам бы лучше ты запел...
Что ты? .. эй! в кого ты целишься?»
— Так, я пробую прицел... —
Дождик, что ли, собирается,
Ходят по небу бычки,[1]
Вечер пуще надвигается,
Прытче идут мужички.
Пес бежит сторонкой, нюхает,
Поминутно слышит дичь.
Чу! как ухалица [2] ухает,

---

[1] Бычки — небольшие отрывочные тучки (Яросл. губ.).
[2] Ухалица — филин-пугач.

Чу! ребенком стонет сыч.
Поглядел старик украдкою:
Парня словно дрожь берет.
«Аль спознался с лихорадкою?»
— Да уж три недели бьет —
Полечи! — А сам прищурился,
Словно в Ваньку норовит.
Старый Тихоныч нахмурился:
«Что за шутки! — говорит. —
Чем шутить такие шуточки,
Лучше песни петь и впрямь.
Погодите пол-минуточки —
Затяну лихую вам!
Знал я старца еле зрячего,
Он весь век с сумой ходил
И про странника бродячего
Песню длинную сложил.
Ней от старости, ней с голоду
Он в канавке кончил век,
А живал богато смолоду,
Был хороший человек,
Вспоминают обыватели.
Да его попутал бог:
По ошибке заседатели
Упекли его в острог:
Нужно было из Спиридова
Вызвать Тита Кузьмича,
Описались — из Давыдова
Взяли Титушку-ткача!
Ждет сердечный: «Завтра, нонче ли
Ворочусь на вольный свет?»
Наконец и дело кончили,
А ему решенья нет.
«Эй, хозяйка! нету моченьки,
Ты иди к судьям опять!
Изойдут слезами оченьки,
Как полотна буду ткать?»
Да не то у Степанидушки
Завелося на уме:
С той поры ее у Титушки
Не видали уж в тюрьме.

Захворала ли, покинула,
Тит не ведал ничего.
Лет двенадцать этак минуло —
Призывают в суд его.
Пред зерцалом, в облачении
Молодой судья сидел.
Прочитал ему решение,
Расписаться повелел
И на все четыре стороны
Отпустил — ступай к жене!
«А за что вы, черны вороны,
Очи выклевали мне?»
Тут и сам судья покаялся:
— Ты прости, прости любя!
Вправду, ты задаром маялся,
Позабыли про тебя! —

Тит — домой. Поля не ораны,
Дом растаскан на клочки,
Продала косули, бороны,
И одежу, и станки,
С баринком слюбилась женушка,
Убежала в Кострому.
Тут родимая сторонушка
Опостылела ему.
Плюнул! Долго не разгадывал,
Без дороги в путь пошел.
Шел — да песню эту складывал,
Сам с собою речи вел.
И говаривал старинушка:
«Вся-то песня — два словца,
А запой ее, детинушка,
Не дотянешь до конца!
Эту песенку мудреную
Тот до слова допоет,
Кто всю землю, Русь крещеную,
Из конца в конец пройдет».
Сам ее Христов угодничек
Не допел — спит вечным сном.
Ну, вытягивай, охотничек!
Да иди ты передом!

Песня убогого странника

Я лугами иду — ветер свищет в лугах:
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименький, холодно!

Я лесами иду — звери воют в лесах:
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно!

Я хлебами иду — что вы тощи, хлеба?
С холоду, странничек, с холоду,
С холоду, родименький, с холоду!

Я стадами иду: что скотинка слаба?
С голоду, странничек, с голоду,
С голоду, родименький, с голоду!

Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименький, холодно!

Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь?
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно!

Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь?
С холоду, странничек, с холоду,
С холоду, родименький, с холоду!

Я в четверту: мужик! что в кабак ты идешь?
С голоду, странничек, с голоду,
С голоду, родименький, с голоду!

Я опять во луга — ветер свищет в лугах:
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименький, холодно!

Я опять во леса — звери воют в лесах:
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно!

Я опять во хлеба, —
Я опять во стада, —

и т. д.

Пел старик, а сам поглядывал:
Поминутно лесничок
То к плечу ружье прикладывал,
То потрогивал курок.
На беду, ни с кем не встретишься!
«Полно петь... Эй, молодец!
Что отстал? .. В кого ты метишься?
Что ты делаешь, подлец!»
— Трусы, трусы вы великие! —
И лесник захохотал
(А глаза такие дикие!).
«Стыдно! — Тихоныч сказал. —
Как не грех тебе захожего
Человека так пугать?
А еще хотел я дешево
Миткалю тебе продать!»
Молодец не унимается,
Штуки делает ружьем,
Воем, лаем отзывается
Хохот глупого кругом.
«Эй! уймись! Чего дурачишься? —
Молвил Ванька: — Я молчу,
А заеду, так наплачешься,
Разом скулы сворочу!
Коли ты уж с нами встретился,
Должен честью проводить!» —
А лесник опять наметился.
«Не шути!» — Чаво шутить! —
Коробейники отпрянули,
Бог помилуй — смерть пришла!
Почитай что разом грянули
Два ружейные ствола.
Без словечка Ванька валится,
С криком падает старик...

В кабаке бурлит, бахвалится
Тем же вечером лесник:
«Пейте, пейте, православные!
Я, ребятушки, богат;
Два бекаса нынче славные
Мне попали под заряд!

Много серебра и золотца,
Много всякого добра
Бог послал!» Глядят, у молодца
Точно — куча серебра.
Подзадорили детинушку —
Он почти всю правду бух!
На беду его — скотинушку
Тем болотом гнал пастух:
Слышал выстрелы ружейные;
Слышал крики... «Стой! винись!..»
И мирские, и питейные
Тотчас власти собрались.
Молодцу скрутили рученьки:
«Ты вяжи меня, вяжи,
Да не тронь мои онученьки!»
— Их-то нам и покажи! —
Поглядели: под онучами
Денег с тысячу рублей —
Серебро, бумажки кучами.
Утром позвали судей,
Судьи тотчас всё доведали
(Только денег не нашли!),
Погребенью мертвых предали,
Лесника в острог свезли...

СВОБОДА

Родина-мать! по равнинам твоим
Я не езжал еще с чувством таким!

Вижу дитя на руках у родимой,
Сердце волнуется думой любимой:

В добрую пору дитя родилось,
Милостив бог! не узнаешь ты слез!

С детства никем не запуган, свободен,
Выберешь дело, к которому годен,

Хочешь — останешься век мужиком,
Сможешь — под небо взовьешся орлом!

В этих фантазиях много ошибок:
Ум человеческий тонок и гибок,

Знаю: на место сетей крепостных
Люди придумали много иных,

Так! .. но распутать их легче народу.
Муза! с надеждой приветствуй свободу!

ДЕШЕВАЯ ПОКУПКА

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДРАМА

«За отъездом продаются: мебель, зеркала и проч. Дом Воронина, № 159».

„Полиц. Вед."

Надо поехать — статья подходящая!
Слышится в этом нужда настоящая,
Не попадется ли что-нибудь дешево?
Вот и поехал я. Много хорошего:
Бронза, картины, портьеры всё новые,
Мягкие кресла, диваны отменные.
Только у барыни очи суровые,
Речи короткие, губы надменные;
Видимо, чем-то она озабочена,
Но молода, хороша удивительно:
Словно рукой гениальной обточено
Смуглое личико. Все в ней пленительно:
Тянут назад ее голову милую
Черные волосы, сеткою сжатые,
Дышат какою-то сдержанной силою
Ноздри красивые, вверх приподнятые.
Видно, что жгучая мысль беспокойная
В сердце кипит, на простор порывается.
Вся соразмерная, гордая, стройная,
Мне эта женщина часто мечтается...
Я отобрал себе вещи прекрасные,
Но оказалися цены ужасные!
День переждал, — захожу — то же самое!
Меньше предложишь, так даже обидится! ..



— Барыня эта — созданье упрямое:
С мужем, подумал я, надо увидеться.
Муж — господин красоты замечательной,
В гвардии год прослуживший отечеству,
Был человек разбитной, обязательный,
Склонный к разгулу, к игре, к молодечеству, —
С ним у нас дело как раз завязалося.
Странная драма тогда разыгралася:
Мужа застану — поладим скорехонько;
Барыня выйдет — ни в чем не сторгуешься
(Только глазами ее полюбуешься).
Нечего делать! вставал я ранехонько,
И пока барыня сном наслаждалася —
Многое сходно купить удавалося.
У дому ждут ломовые извозчики,
В доме толпятся вещей переносчики,
Окна ободраны, стены уж голые,
У покупателей лица веселые.
Только у няни глаза заслезилися:
«Вот и с приданым своим мы простилися!» —
Молвила няня. — Какое приданое? —
«Все это взял он за барышней нашею,
Вместе весной покупали с мамашею;
Как любовались! . .»

Открытье нежданное!
Сказано слово — и все объяснилося!
Вот почему так она дорожилася.
Бедная женщина! В позднем участии,
Я проклинаю торгашество пошлое.
Все это куплено с мыслью о счастии,
С этим уходит — счастливое прошлое!
Здесь ты свила себе гнездышко скромное,
Каждый здесь гвоздик вколочен с надеждою. . .
Ну, а теперь ты созданье бездомное,
Порабощенное грубым невеждою!
Где не остыл еще след обаяния
Девственной мысли, мечты обольстительной,
Там совершается торг возмутительный.
Как еще можешь сдержать ты рыдания!
В очи твои голубые, красивые
Нагло глядят торгаши неприветные.

Осквернены твои думы стыдливые,
Проданы с торгу надежды заветные! . .

Няня меж тем заунывные жалобы
Шепчет мне в ухо: «Распродали дешево —
Лишь до деревни доехать достало бы.
Что уж там будет? не жду я хорошего!
Барин, поди, загуляет с соседями,
Барыня будет одна-одинехонька,
День-то невесел, а ночь-то чернехонька.
Рядом лесище — с волками, с медведями».

— Смолкни ты, няня! созданье болтливое,
Не надрывай мое сердце пугливое!
Нам ли в диковину сцены тяжелые?
Каждому трудно живется и дышится.
Чудо, что есть еще лица веселые,
Чудо, что смех еще временем слышится! . .

Барин пришел — поздравляет с покупкою,
Барыня бродит такая унылая;
С тихо воркующей, нежной голубкою
Я ее сравнивал, деньги постылые
Ей отдавая... Копейка ты медная!
Горе ты, горе! нужда окаянная...

Чуть над тобой не заплакал я, бедная!
Вот одолжил бы... Прощай, бесталанная! . .

ДВАДЦАТОЕ НОЯБРЯ
1861 ГОДА

Я покинул кладбище унылое,
Но я мысль мою там позабыл, —
Под землею в гробу приютилася
И глядит на тебя, мертвый друг!

Ты схоронен в морозы трескучие,
Жадный червь не коснулся тебя,
На лицо через щели гробовые

Проступить не успела вода;
Ты лежишь как сейчас похороненный,
Только словно длинней и белей
Пальцы рук, на груди твоей сложенных,
Да сквозь землю проникнувшим инеем
Убелил твои кудри мороз,
Да следы наложили чуть видные
Поцелуи суровой зимы
На уста твои, плотно сомкнутые,
И на впалые очи твои...

1862

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ[1]

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Играючи расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнет кусты ольховые,
Подымет пыль цветочную,
Как облако: все зелено, —
И воздух, и вода!

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Скромна моя хозяюшка
Наталья Патрикеевна,
Водой не замутит!
Да с ней беда случилася,
Как лето жил я в Питере...
Сама сказала, глупая,
Типун ей на язык!

В избе сам-друг с обманщицей
Зима нас заперла,
В мои глаза суровые
Глядит, молчит жена.
Молчу... а дума лютая
Покоя не дает:
Убить... так жаль сердечную!

---

[1] Так народ называет пробуждение природы весной.

Стерпеть — так силы нет!
А тут зима косматая
Ревет и день, и ночь:
«Убей, убей изменницу!
Злодея изведи!
Не то весь век промаешься,
Ни днем, ни долгой ноченькой
Покоя не найдешь.
В глаза твои бесстыжие
Соседи наплюют!..»

Под песню-вьюгу зимнюю
Окрепла дума лютая —
Припас я вострый нож...
Да вдруг весна подкралася...

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса;
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая березонька
С зеленою косой!
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клен...
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему...

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук,
И все мне песня слышится
Одна — в лесу, в лугу:

«Люби, покуда любится,
Терпи, покуда терпится,
Прощай, пока прощается,
И — бог тебе судья!»

* * *

Литература, с трескучими фразами,
Полная духа античеловечного,
Администрация наша с указами
О забирании всякого встречного, —
Дайте вздохнуть! ..
Я простился с столицами,
Мирно живу средь полей,
Но и крестьяне с унылыми лицами
Не услаждают очей;
Их нищета, их терпенье безмерное
Только досаду родит...
Что же ты любишь, дитя маловерное,
Где же твой идол стоит? ..

* * *

Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
Барабанов, цепей, топора.

Но люблю я, весна золотая,
Твой сплошной, чудно-смешанный шум;
Ты ликуешь, на миг не смолкая,
Как дитя, без заботы и дум.
В обаянии счастья и славы,
Чувству жизни ты вся предана, —
Что-то шепчут зеленые травы,
Говорливо струится волна;
В стаде весело ржет жеребенок,
Бык с землей вырывает траву,
А в лесу белокурый ребенок —
Чу! кричит: «Парасковья, ау!»

По холмам, по лесам, над долиной
Птицы севера вьются, кричат,
Разом слышны — напев соловьиный
И нестройные писки галчат,
Грохот тройки, скрипенье подводы,
Крик лягушек, жужжание ос,
Треск кобылок, — в просторе свободы
Все в гармонию жизни слилось...

Я наслушался шума иного...
Оглушенный, подавленный им,
Мать-природа! иду к тебе снова
Со всегдашним желаньем моим —
Заглуши эту музыку злобы!
Чтоб душа ощутила покой
И прозревшее око могло бы
Насладиться твоей красотой.

ЧТО ДУМАЕТ СТАРУХА, КОГДА ЕЙ НЕ СПИТСЯ

В позднюю ночь над усталой деревнею
Сон непробудный царит,
Только старуху столетнюю, древнюю
Не посетил он. — Не спит,

Мечется пó печи, охает, мается,
Ждет — не поют петухи!
Вся-то ей долгая жизнь представляется,
Всё-то грехи да грехи!

«Охти-мне! часто владыку небесного
Я искушала грехом:
Нутко-се! с ходу-то, с ходу-то крестного
Раз я ушла с пареньком

В рощу... Вот то-то! мы смолоду дурочки,
Думаем: милостив бог!
Раз у соседки взяла из-под курочки
Пару яичек... ох! ох!

В страдную пору больной притворилася —
Мужа в побывку ждала...
С Федей-солдатиком чуть не слюбилася...
С мужем под праздник спала.

Охти-мне... ох! угожу в преисподнюю!
Раз, как забрили сынка,
Я возроптала на благость господнюю,
В пост испила молока, —

То-то я грешница! то-то преступница!
С горя валялась пьяна...
Божия матерь! Святая заступница!
Вся-то грешна я, грешна! ..»

* * *

В полном разгаре страда деревенская...
Доля ты! русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.

Немудрено, что ты вянешь до времени,
Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать!

Зной нестерпимый: равнина безлесная,
Нивы, покосы да ширь поднебесная —
Солнце нещадно палит.

Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над ней колыхается,
Жалит, щекочет, жужжит!

Приподнимая косулю тяжелую,
Баба порезала ноженьку голую —
Некогда кровь унимать!

Слышится крик у соседней полосыньки,
Баба туда — растрепалися косыньки, —
Надо ребенка качать!

Что же ты стала над ним в отупении?
Пой ему песню о вечном терпении,
    Пой, терпеливая мать!..

Слезы ли, пот ли у ней над ресницею,
    Право, сказать мудрено.
В жбан этот, заткнутый грязной тряпицею,
    Канут они — все равно!

Вот она губы свои опаленные
    Жадно подносит к краям...
Вкусны ли, милая, слезы соленые
    С кислым кваском пополам?..

КУМУШКИ

Темен вернулся с кладбища Трофим;
Малые детки вернулися с ним,

Сын да девóчка. Домой-то без матушки
Горько вернуться: дорогой ребятушки

Ревма-ревели; а тятька молчал.
Дома порылся, кубарь отыскал:

«Нате, ребята! — играйте, сердечные!»
И улыбнулися дети беспечные,

Жжжж-жи! запустили кубарь у ворот...
Кто ни проходит — жалеет сирот:

«Нет у вас матушки!» — молвила Марьюшка,
«Нету родимой!» — прибавила Дарьюшка.

Дети широко раскрыли глаза,
Стихли. У Маши блеснула слеза...

«Как теперь будете жить, сиротиночки!» —
И у Гришутки блеснули слезиночки.

«Кто-то вас будет ласкать-баловать?» —
Навзрыд заплакали дети опять.

«Полно, не плачьте!» — сказала Протасьевна,
«Уж не воротишь, — прибавила Власьевна, —

Грешную душеньку боженька взял,
Кости в могилушку поп закопал,

То-то, чай, холодно, страшно в могилушке?
Ну же, не плачьте! родные вы, милушки! . .

Пуще расплакались дети. Трофим
Крики услышал и выбежал к ним,

Стал унимать как умел, а соседушки
Ну помогать ему: «Полноте, детушки!

Что уж тут плакать? пора привыкать
К доле сиротской; забудьте вы мать:

Спели церковники память ей вечную,
Чай, уж теперь ее гложет сердечную

Червь подземельный! . .» Трофим поскорей
На руки взял — да в избенку детей!

Целую ночь проревели ребятушки:
«Нет у нас матушки! нет у нас матушки!

Матушку на небо боженька взял!»
Целую ночь с ними тятька не спал,

У самого расходилися думушки. . .
Ну, удружили досужие кумушки!

КАЛИСТРАТ

Надо мной певала матушка,
Колыбель мою качаючи:
«Будешь счастлив, Калистратушка!
«Будешь жить ты припеваючи!»

И сбылось, по воле божией,
Предсказанье моей матушки:
Нет богаче, нет пригожее,
Нет нарядней Калистратушки!

В ключевой воде купаюся,
Пятерней чешу волосыньки,
Урожаю дожидаюся
С непосеянной полосыньки!

А хозяйка занимается
На нагих детишек стиркою,
Пуще мужа наряжается —
Носит лапти с подковыркою!..

ПОЖАРИЩЕ

Весело бить вас, медведи почтенные,
Только до вас добираться невесело,
Кочи, ухабины, ели бессменные!
Каждое дерево ветви повесило,
Каркает ворон над белой равниною,
Нищий в деревне за дровни цепляется.
Этой сплошной безотрадной картиною
Сердце подавлено, взор утомляется.
Ой! надоела ты, глушь новгородская!
Ой! истомила ты, бедность крестьянская!
То ли бы дело лошадка заводская,
С полостью санки, прогулка дворянская?..
Даже церквей здесь почти не имеется.
Вот наконец впереди развлечение:
Что-то на белой поляне чернеется,
Что-то дымится, — сгорело селение!
Бедных, богатых не различающий,
Шутку огонь подшутил презабавную:
Только повсюду еще украшающий
Освобожденную Русь православную
Столб уцелел — и на нем сохраняются
Строки: «Деревня помещика Вечева».
С лаем собаки на нас не бросаются,
Думают, видно: украсть вам тут нечего!
(Так. А давно ли служили вы с верою,
Лаяли, злились до самозабвения
И на хребте своем шерсть черно-серую
Ставили дыбом в защиту селения?..)
Да на обломках стены штукатуренной

Крайнего дома — должно быть, дворянского —
Видны портреты: Кутузов нахмуренный,
Блюхер бессменный и бок Забалканского.
Лошадь дрожит у плетня почернелого,
Куры бездомные с холоду ежатся,
И на остатках жилья погорелого
Люди, как черви на трупе, копошатся...

* * *

I

«Благодарение господу богу,
Кончен проселок!.. Не спишь?»
— Думаю, братец, про эту дорогу. —
«То-то давненько молчишь.

Что же ты думаешь?» — Долго рассказывать.
Только тронулись по ней,
Стала мне эта дорога показывать
Тени погибших людей,

Бледные тени! ужасные тени!
Злоба, безумье, любовь...
Едем мы, братец, в крови по колени! —
«Полно — тут пыль, а не кровь...»

II

«Барин! не выпить ли нам понемногу?
Больно уж ты присмирел».
— Пел бы я песню про эту дорогу,
Пел бы да ревма-ревел,

Песней над песнями стала бы эта
Песня... Да петь не рука. —
«Песня про эту дорогу уж спета,
Да что в ней проку?.. Тоска!..»

— Знаю, народ *проторенной цепями*
Эту дорогу зовет. —
«Верно! увидишь своими глазами,
Русская песня не врет!»

III

Скоро попались нам пешие ссыльные,
С гиком ямщик налетел,
В тряской телеге два путника пыльные
Скачут... едва разглядел:

Подле лица — молодого, прекрасного
С саблей усач...
Брат, удаляемый с поста опасного,
Есть ли там смена? Прощай!

ОРИНА, МАТЬ СОЛДАТСКАЯ

День-денской моя печальница,
В ночь — ночная богомолица,
Векова моя сухотница...

Из народной песни

Чуть живые, в ночь осеннюю
Мы с охоты возвращаемся,
До ночлега прошлогоднего,
Слава богу, добираемся.

— Вот и мы! Здорово, старая!
Что́ насупилась ты, кумушка!
Не о смерти ли задумалась?
Брось! Пустая это думушка!

Посетила ли кручинушка?
Молви — может, и размыкаю. —
И поведала Оринушка
Мне печаль свою великую.

«Восемь лет сынка не видела,
Жив ли, нет — не откликается,
Уж и свидеться не чаяла,
Вдруг сыночек возвращается.

Вышло молодцу в бессрочные...
Истопила жарко банюшку,
Напекла блинов Оринушка,
Не насмотрится на Ванюшку!

Да недолги были радости:
Воротился сын больнехонек,
Ночью кашель бьет солдатика,
Белый плат в крови мокрехонек!

Говорит: «Поправлюсь, матушка!»
Да ошибся — не поправился,
Девять дней хворал Иванушка,
На десятый день преставился. . .»

Замолчала — не прибавила
Ни словечка, бесталанная.
— Да с чего же привязалася
К парню хворость окаянная?

Хилый, что ли, был с рождения? . . —
Встрепенулася Оринушка:
«Богатырского сложения,
Здоровенный был детинушка!

Подивился сам из Питера
Генерал на парня этого,
Как в рекрутское присутствие
Привели его раздетого. . .

На избенку эту бревнышки
Он один таскал сосновые. . .
И вилися у Иванушки
Русы кудри как шелко́вые. . .»

И опять молчит несчастная. . .
— Не молчи — развей кручинушку!
Что сгубило сына милого —
Чай, спросила ты детинушку? —

«Не любил, сударь, рассказывать
Он про жизнь свою военную,
Грех мирянам-то показывать
Душу — богу обреченную!

Говорить — гневить всевышнего,
Окаянных бесов радовать. . .
Чтоб не молвить слова лишнего,
На врагов не подосадовать,

Немота перед кончиною
Подобает христианину.
Знает бог, какие тягости
Сокрушили силу Ванину!

Я узнать не добивалася.
Никого не осуждаючи,
Он одни слова утешные
Говорил мне, умираючи.

Тихо по двору похаживал
Да постукивал топориком,
Избу ветхую облаживал,
Огород обнес заборикам;

Перекрыть сарай задумывал,
Не сбылись его желания:
Слег — и встал на ноги резвые
Только за день до скончания!

Поглядеть на солнце красное
Пожелал, — пошла я с Ванею:
Попрощался со скотинкою,
Попрощался с ригой, с банею.

Сенокосом шел — задумался.
— Ты прости, прости, полянушка!
Я косил тебя во младости! —
И заплакал мой Иванушка!

Песня вдруг с дороги грянула.
Подхватил, что было голосу:
«Не белы снежки», закашлялся,
Задышался — пал на полосу!

Не стояли ноги резвые,
Не держалася головушка!
С час домой мы возвращалися. . .
Было время — пел соловушка!

Страшно в эту ночь последнюю
Было; память потерялася,

Все ему перед кончиною
Служба эта представлялася.

Ходит, чистит амуницию,
Набелил ремни солдатские,
Языком играл сигналики,
Песни пел — такие хватские!

Артикул ружьем выкидывал,
Так, что весь домишка вздрагивал;
Как журавль стоял на ноженьке
На одной — носок вытягивал.

Вдруг метнулся... смотрит жалобно...
Повалился — плачет, кается,
Крикнул: «Ваше благородие!
Ваше! ..» Вижу — задыхается;

Я к нему. Утих, послушался —
Лег на лавку. Я молилася:
Не пошлет ли бог спасение? ..
К утру память воротилася,

Прошептал: «Прощай, родимая!
Ты опять одна осталася! ..»
Я над Ваней наклонилася,
Покрестила, попрощалася,

И погас он, словно свеченька
Восковая, предиконная...»

—

Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная! ..

МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС

ПОСВЯЩАЮ МОЕЙ СЕСТРЕ АННЕ АЛЕКСЕЕВНЕ

Ты опять упрекнула меня,
Что я с музой моей раздружился,
Что заботам текущего дня
И забавам его подчинился.

Для житейских расчетов и чар
Не расстался б я с музой моею,
Но, бог весть, не погас ли тот дар,
Что, бывало, дружил меня с нею?
Но не брат еще людям поэт,
И тернист его путь и непрочен,
Я умел не бояться клевет,
Не был ими я сам озабочен;
Но я знал, чье во мраке ночном
Надрывалося сердце с печали,
И на чью они грудь упадали свинцом,
И кому они жизнь отравляли.
И пускай они мимо прошли,
Надо мною ходившие грозы,
Знаю я, чьи молитвы и слезы
Роковую стрелу отвели...
Да и время ушло, — я устал...
Пусть я не был бойцом без упрека,
Но я силы в себе сознавал,
Я во многое верил глубоко,
А теперь — мне пора умирать...
Не затем же пускаться в дорогу,
Чтобы в любящем сердце опять
Пробудить роковую тревогу...

Присмиревшую музу мою
Я и сам неохотно ласкаю...
Я последнюю песню пою
Для тебя — и тебе посвящаю.
Но не будет она веселей,
Будет много печальнее прежней,
Потому что на сердце темней
И в грядущем еще безнадежней...

Буря воет в саду, буря ломится в дом,
Я боюсь, чтоб она не сломила
Старый дуб, что посажен отцом,
И ту иву, что мать посадила,
Эту иву, которую ты
С нашей участью странно связала,
На которой поблекли листы
В ночь, как бедная мать умирала...

И дрожит, и пестреет окно...
Чу! как крупные градины скачут!
Милый друг, поняла ты давно —
Здесь одни только камни не плачут...
. . . .

Часть первая

СМЕРТЬ КРЕСТЬЯНИНА

I

Савраска увяз в половине сугроба —
Две пары промерзлых лаптей
Да угол рогожей покрытого гроба
Торчат из убогих дровней.

Старуха в больших рукавицах
Савраску сошла понукать.
Сосульки у ней на ресницах,
С морозу — должно полагать.

II

Привычная дума поэта
Вперед забежать ей спешит:
Как саваном, снегом одета,
Избушка в деревне стоит.

В избушке — теленок в подклети,
Мертвец на скамье у окна;
Шумят его глупые дети,
Тихонько рыдает жена.

Сшивая проворной иголкой
На саван кусок полотна,
Как дождь, зарядивший надолго,
Негромко рыдает она.

III

Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сына раба,

А третья — до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли.

Века протекали — все к счастью стремилось,
Все в мире по нескольку раз изменилось,
Одну только бог изменить забывал
Суровую долю крестьянки.
И все мы согласны, что тип измельчал
Красивой и мощной славянки.

Случайная жертва судьбы!
Ты глухо, незримо страдала,
Ты свету кровавой борьбы
И жалоб своих не вверяла, —

Но мне ты их скажешь, мой друг!
Ты с детства со мною знакома.
Ты вся — воплощенный испуг,
Ты вся — вековая истома!

Тот сердца в груди не носил,
Кто слез над тобою не лил!

IV

Однакоже речь о крестьянке
Затеяли мы, чтоб сказать,
Что тип величавой славянки
Возможно и ныне сыскать.

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»

Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идет,

Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветет

Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.

И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косит:
Что взмах — то готова копна!

Платок у ней на ухо сбился,
Того гляди косы падут.
Какой-то парнек изловчился
И кверху подбросил их, шут!

Тяжелые русые косы
Упали на смуглую грудь,
Покрыли ей ноженьки босы,
Мешают крестьянке взглянуть.

Она отвела их руками,
На парня сердито глядит.
Лицо величаво, как в раме,
Смущеньем и гневом горит...

По будням не любит безделья.
Зато вам ее не узнать,
Как сгонит улыбка веселья
С лица трудовую печать.

Такого сердечного смеха,
И песни, и пляски такой
За деньги не купишь. «Утеха!» —
Твердят мужики меж собой.

В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет, — спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Красивые, ровные зубы
Что крупные перлы у ней,
Но строго румяные губы
Хранят их красу от людей —

Она улыбается редко...
Ей некогда лясы точить,
У ней не решится соседка
Ухвата, горшка попросить;

Не жалок ей нищий убогий —
Вольно ж без работы гулять!
Лежит на ней дельности строгой
И внутренней силы печать.

В ней ясно и крепко сознанье,
Что все их спасенье в труде,
И труд ей несет воздаянье:
Семейство не бьется в нужде,

Всегда у них теплая хата,
Хлеб выпечен, вкусен квасок,
Здоровы и сыты ребята,
На праздник есть лишний кусок.

Идет эта баба к обедне
Пред всею семьей впереди:
Сидит, как на стуле, двулетний
Ребенок у ней на груди;

Рядком шестилетнего сына
Нарядная матка ведет...
И по́ сердцу эта картина
Всем, любящим русский народ!

V

И ты красотою дивила,
Была и ловка, и сильна,
Но горе тебя иссушило,
Уснувшего Прокла жена!

Горда ты — ты плакать не хочешь,
Крепишься, но холст гробовой
Слезами невольно ты мочишь,
Сшивая проворной иглой.

Слеза за слезой упадает
На быстрые руки твои.
Так колос беззвучно роняет
Созревшие зерна свои...

VI

В селе, за четыре версты,
У церкви, где ветер шатает
Подбитые бурей кресты,
Местечко старик выбирает;

Устал он, работа трудна,
Тут тоже сноровка нужна —

Чтоб крест было видно с дороги,
Чтоб солнце играло кругом.
В снегу до колен его ноги,
В руках его заступ и лом.

Вся в инее шапка большая,
Усы, борода в серебре.
Недвижно стоит, размышляя,
Старик на высоком бугре.

Решился. Крестом обозначил,
Где будет могилу копать,
Крестом осенился и начал
Лопатою снег разгребать.

Иные приемы тут были,
Кладбище не то, что поля.
Из снегу кресты выходили,
Крестами ложилась земля.

Согнув свою старую спину,
Он долго, прилежно копал,

И желтую мерзлую глину
Тотчас же снежок застилал.

Ворона к нему подлетела,
Потыкала носом, прошлась:
Земля как железо звенела —
Ворона ни с чем убралась...

Могила на славу готова, —
«Не мне б эту яму копать!»
(У старого вырвалось слово):
«Не Проклу бы в ней почивать.

Не Проклу!..» Старик оступился,
Из рук его выскользнул лом
И в белую яму скатился,
Старик его вынул с трудом.

Пошел... по дороге шагает...
Нет солнца, луна не взошла...
Как будто весь мир умирает:
Затишье, снежок, полумгла...

VII

В овраге, у речки Желтухи,
Старик свою бабу нагнал
И тихо спросил у старухи:
«Хорош ли гробок-то попал?»

Уста ее чуть прошептали
В ответ старику: «Ничего».
Потом они оба молчали,
И дровни так тихо бежали,
Как будто боялись чего...

Деревня еще не открылась,
А близко — мелькает огонь.
Старуха крестом осенилась,
Шарахнулся в сторону конь —

Без шапки, с ногами босыми,
С большим заостренным колом,
Внезапно предстал перед ними
Старинный знакомец Пахом.

Прикрыты рубахою женской,
Звенели вериги на нем;
Постукал дурак деревенский
В морозную землю колом,

Потом помычал сердобольно,
Вздохнул и сказал: «Не беда!
На вас он работал довольно!
И ваша пришла череда!

Мать сыну-то гроб покупала,
Отец ему яму копал,
Жена ему саван сшивала —
Всем разом работу вам дал! ..»

Опять помычал — и без цели
В пространство дурак побежал,
Вериги уныло звенели,
И голые икры блестели,
И посох по снегу черкал.

VIII

У дома оставили крышу,
К соседке свели ночевать
Зазябнувших Машу и Гришу
И стали сынка обряжать.

Медлительно, важно, сурово
Печальное дело велось:
Не сказано лишнего слова,
Наружу не выдано слез.

Уснул, потрудившийся в поте!
Уснул, поработав земле!
Лежит, непричастный заботе,
На белом сосновом столе,

Лежит неподвижный, суровый,
С горящей свечой в головах,
В широкой рубахе холщевой
И в липовых новых лаптях.

Большие, с мозолями руки,
Подъявшие много труда,
Красивое, чуждое муки
Лицо — и до рук борода...

IX

Пока мертвеца обряжали,
Не выдали словом тоски
И только глядеть избегали
Друг другу в глаза бедняки.

Но вот уже кончено дело,
Нет нужды бороться с тоской,
И что на душе накипело,
Из уст полилося рекой.

Не ветер гудит по ковыли,
Не свадебный поезд гремит, —
Родные по Прокле завыли,
По Прокле семья голосит:

«Голубчик ты наш сизокрылый!
Куда ты от нас улетел?
Пригожеством, ростом и силой
Ты ровни в селе не имел,

Родителям был ты советник,
Работничек в поле ты был,
Гостям хлебосол и приветник,
Жену и детей ты любил...

Что ж мало гулял ты по свету?
За что нас покинул, родной?
Одумал ты думушку эту,
Одумал с сырою землей —

Одумал — а нам оставаться
Велел во миру, сиротам,
Не свежей водой умываться, —
Слезами горючими нам!

Старуха помрет со кручины,
Не жить и отцу твоему,
Береза в лесу без вершины —
Хозяйка без мужа в дому.

Ее не жалеешь ты, бедной,
Детей не жалеешь... Вставай!
С полоски своей заповедной
По лету сберешь урожай!

Сплесни, ненаглядный, руками,
Сокольим глазком посмотри,
Тряхни шелковыми кудрями,
Сахарны уста раствори!

На радости мы бы сварили
И меду, и браги хмельной,
За стол бы тебя посадили —
Покушай, желанный, родной!

А сами напротив бы стали —
Кормилец, надежа семьи!
Очей бы с тебя не спускали,
Ловили бы речи твои...»

X

На эти рыданья и стоны
Соседи валили гурьбой:
Свечу положив у иконы,
Творили земные поклоны
И шли молчаливо домой.

На смену входили другие.
Но вот уж толпа разбрелась,
Поужинать сели родные —
Капуста да с хлебушком квас.

Старик бесполезной кручине
Собой овладеть не давал:
Поддадившись ближе к лучине,
Он лапоть худой ковырял.

Протяжно и громко вздыхая,
Старуха на печку легла,
А Дарья, вдова молодая,
Проведать ребяток пошла.

Всю ноченьку, стоя у свечки,
Читал над усопшим дьячок,
И вторил ему из-за печки
Пронзительным свистом сверчок.

XI

Сурово метелица выла
И снегом кидала в окно,
Невесело солнце всходило:
В то утро свидетелем было
Печальной картины оно.

Савраска, запряженный в сани,
Понуро стоял у ворот;
Без лишних речей, без рыданий
Покойника вынес народ.

— Ну, трогай, саврасушка! трогай!
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!..

В торговом селе Чистополье
Купил он тебя сосунком,
Взрастил он тебя на приволье,
И вышел ты добрым конем.

С хозяином дружно старался,
На зимушку хлеб запасал,
Во стаде ребенку давался,
Травой да мякиной питался,
А тело изрядно держал.

Когда же работы кончались
И сковывал землю мороз,
С хозяином вы отправлялись
С домашнего корма в извоз.

Не мало и тут доставалось —
Возил ты тяжелую кладь,
В жестокую бурю случалось,
Измучась, дорогу терять.

Видна на боках твоих впалых
Кнута не одна полоса,
Зато на дворах постоялых
Покушал ты вволю овса.

Слыхал ты в январские ночи
Метели пронзительный вой,
И волчьи горящие очи
Видал на опушке лесной.

Продрогнешь, натерпишься страху,
А там — и опять ничего!
Да, видно, хозяин дал маху —
Зима доконала его! ..

XII

Случилось в глубоком сугробе
Полсуток ему простоять,
Потом то в жару, то в ознобе
Три дня за подводой шагать:

Покойник на срок торопился
До места доставить товар.
Доставил, домой воротился —
Нет голосу, в теле пожар!

Старуха его окатила
Водой с девяти веретен
И в жаркую баню сводила,
Да нет — не поправился он!

Тогда ворожеек созвали —
И поят, и шепчут, и трут —
Все худо! Его продевали
Три раза сквозь потный хомут,

Спускали родимого в пролубь,
Под куричий клали насест. . .
Всему покорялся, как голубь, —
А плохо — не пьет и не ест!

Еще положить под медведя,
Чтоб тот ему кости размял,
Ходебщик сергачевский Федя
— Случившийся тут — предлагал.

Но Дарья, хозяйка больного,
Прогнала советчика прочь:
Испробовать средства иного
Задумала баба: и в ночь

Пошла в монастырь отдаленный
(Верстах в десяти от села),
Где в некой иконе явленной
Целебная сила была.

Пошла, воротилась с иконой —
Больной уж безгласен лежал,
Одетый, как в гроб, причащенный.
Увидел жену, простонал

И умер. . .

XIII

. . .Саврасушка, трогай,
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!

Чу! два похоронных удара!
Попы ожидают — иди!

Убитая, скорбная пара,
Шли мать и отец впереди.

Ребята с покойником оба
Сидели, не смея рыдать,
И, правя савраской, у гроба
С вожжами их бедная мать

Шагала... Глаза ее впали,
И был не белей ее щек
Надетый на ней в знак печали
Из белой холстины платок.

За Дарьей — соседей, соседок
Плелась негустая толпа,
Толкуя, что Прокловых деток
Теперь незавидна судьба,

Что Дарье работы прибудет,
Что ждут ее черные дни.
«Жалеть ее некому будет», —
Согласно решили они...

XIV

Как водится, в яму спустили,
Засыпали Прокла землей;
Поплакали, громко повыли,
Семью пожалели, почтили
Покойника щедрой хвалой.

Сам староста, Сидор Иваныч,
Вполголоса бабам подвыл,
И «мир тебе, Прокл Севастьяныч! —
Сказал, — благодушен ты был.

Жил честно, а главное: — в сроки —
Уж как тебя бог выручал! —
Платил господину оброки
И подать царю представлял!»

Истратив запас красноречья,
Почтенный мужик покряхтел:
«Да, вот она жизнь человечья!» —
Прибавил — и шапку надел.

«Свалился... а то-то был в силе!
Свалимся... не минуть и нам!..»
Еще покрестились могиле
И с богом пошли по домам.

Высокий, седой, сухопарый,
Без шапки, недвижно-немой,
Как памятник, дедушка старый
Стоял на могиле родной!

Потом старина бородатый
Задвигался тихо по ней,
Ровняя землицу лопатой,
Под вопли старухи своей.

Когда же, оставивши сына,
Он с бабой в деревню входил:
«Как пьяных, шатает кручина!
Гляди-тко!..» — народ говорил.

XV

А Дарья домой воротилась —
Прибраться, детей накормить,
Ай-ай! как изба настудилась!
Торопится печь затопить,

Ан глядь — ни полена дровишек!
Задумалась бедная мать:
Покинуть ей жаль ребятишек,
Хотелось бы их приласкать,

Да времени нету на ласки.
К соседке свела их вдова,
И тотчас, на том же савраске,
Поехала в лес, по дрова...

Часть вторая

МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС

XVI

Морозно. Равнины белеют под снегом,
Чернеется лес впереди,
Савраска плетется ни шагом, ни бегом,
Не встретишь души на пути.

Как тихо! В деревне раздавшийся голос
Как будто у самого уха гудет,
О корень древесный запнувшийся полоз
Стучит, и визжит, и за сердце скребет.

Кругом — поглядеть нету мочи,
Равнина в алмазах блестит...
У Дарьи слезами наполнились очи —
Должно быть, их солнце слепит...

XVII

В полях было тихо, но тише
В лесу, и как будто светлей.
Чем дале — деревья все выше,
А тени длинней и длинней.

Деревья, и солнце, и тени,
И мертвый, могильный покой...
Но — чу! заунывные пени,
Глухой, сокрушительный вой!

Осилило Дарьюшку горе.
И лес безучастно внимал,
Как стоны лились на просторе,
И голос рвался и дрожал,

И солнце кругло и бездушно,
Как желтое око совы,
Глядело с небес равнодушно
На тяжкие муки вдовы.

И много ли струн оборвалось
У бедной крестьянской души,
Навеки сокрыто осталось
В лесной нелюдимой глуши.

Великое горе вдовицы
И матери малых сирот
Подслушали вольные птицы,
Но выдать не смели в народ...

XVIII

Не псарь по дубровушке трубит,
Гогочет, сорви-голова, —
Наплакавшись, колет и рубит
Дрова молодая вдова.

Срубивши, на дровни бросает —
Наполнить бы их поскорей,
И вряд ли сама замечает,
Что слезы все льют из очей:

Иная с ресницы сорвется
И на снег с размаху падет —
До самой земли доберется,
Глубокую ямку прожжет;

Другую на дерево кинет,
На плашку, — и смотришь, она
Жемчужиной крупной застынет —
Бела, и кругла, и плотна.

А та на глазу поблистает,
Стрелой по щеке побежит,
И солнышко в ней поиграет...
Управиться Дарья спешит,

Знай рубит, — не чувствует стужи,
Не слышит, что ноги знобит,
И, полная мыслью о муже,
Зовет его, с ним говорит...

XIX

. . . .
. . . .

«Голубчик! красавицу нашу
Весной в хороводе опять
Подхватят подруженьки Машу
И станут на ручках качать!

Станут качать,
Кверху бросать,
Маковкой звать,
Мак отряхать! [1]

Вся раскраснеется наша
Маковым цветиком Маша
С синими глазками, с русой косой!

Ножками бить и смеяться
Будет... а мы-то с тобой,
Мы на нее любоваться
Будем, желанный ты мой!..

XX

Умер, не дожил ты веку,
Умер и в землю зарыт!

Любо весной человеку!
Солнышко ярко горит.
Солнышко все оживило,
Божьи открылись красы,
Поле сохи запросило,
Травушки просят косы.

Рано я, горькая, встала,
Дома не ела, с собой не брала,
До ночи пашню пахала,

---

[1] Известная народная игра, называемая: *сеять мак*. *Маковкой* садится в середине круга красивая девочка, которую под конец подкидывают вверх, представляя тем отряхиванье мака; а то еще *маком* бывает простоватый детина, которому при подкидывании достается немало колотушек.

Ночью я косу клепала,
Утром косить я пошла...

Крепче, вы, ноженьки, стойте!
Белые руки, не нойте!
Надо одной поспевать!

В поле одной-то надсадно,
В поле одной неповадно,
Стану я милого звать!

Ладно ли пашню вспахала?
Выди, родимый, взгляни!
Сухо ли сено убрала?
Прямо ли стоги сметала?..
Я на граблях отдыхала
Все сенокосные дни!

Некому бабью работу поправить!
Некому бабу на разум наставить...

XXI

Стала скотинушка в лес убираться,
Стала рожь-матушка в колос метаться,
Бог нам послал урожай!
Нынче солома по грудь человеку,
Бог нам послал урожай!
Да не продлил тебе веку, —
Хочешь не хочешь, одна поспевай!..

Овод жужжит и кусает,
Смертная жажда томит,
Солнышко серп нагревает,
Солнышко очи слепит,
Жжет оно голову, плечи,
Ноженьки, рученьки жжет,
Изо ржи словно из печи
Тоже теплом обдает,
Спинушка ноет с натуги,
Руки и ноги болят,
Красные, желтые круги
Перед очами стоят...

Жни-дожинай поскорее,
Видишь — зерно потекло. . .

Вместе бы дело спорее,
Вместе повадней бы шло. . .

XXII

Сон мой был в руку, родная!
Сон перед спасовым днем.
В поле заснула одна я
После полудня, с серпом.
Вижу — меня оступает
Сила — несметная рать, —
Грозно руками махает,
Грозно очами сверкает.
Думала я убежать,
Да не послушались ноги.
Стала просить я подмоги,
Стала я громко кричать.

Слышу, земля задрожала —
Первая мать прибежала,
Травушки рвутся, шумят —
Детки к родимой спешат.
Шибко без ветру не машет
Мельница в поле крылом.
Братец идет, да приляжет,
Свекор плетется шажком.
Все прибрели, прибежали,
Только дружка одного
Очи мои не видали. . .
Стала я кликать его:
«Видишь, меня оступает
Сила — несметная рать, —
Грозно руками махает,
Грозно очами сверкает:
Что не идешь выручать? . .»
Тут я кругом огляделась —
Господи! Что куда делось?
Что это было со мной? . .
Рати тут нет никакой!
Это не люди лихие,

Не бусурманская рать,
Это колосья ржаные,
Спелым зерном налитые,
Вышли со мной воевать!

Машут, шумят, наступают,
Руки, лицо щекотят,
Сами солому под серп нагибают —
Больше стоять не хотят!

Жать принялась я проворно,
Жну, а на шею мою
Сыплются крупные зерна —
Словно под градом стою!

Вытечет, вытечет за ночь
Вся наша матушка-рожь...
Где же ты, Прокл Севастьяныч?
Что пособлять не идешь?..

Сон мой был в руку, родная!
Жать теперь буду одна я.

Стану без милого жать,
Снопики крепко вязать,
В снопики слезы ронять!

Слезы мои не жемчужны,
Слезы горюшки-вдовы,
Что же вы господу нужны,
Чем ему дороги вы?..

XXIII

Долги вы, зимние ноченьки,
Скучно без милого спать,
Лишь бы не плакали оченьки,
Стану полотна я ткать.

Много натку я полотен,
Тонких добротных новин,
Вырастет крепок и плотен,
Вырастет ласковый сын.

Будет по нашему месту
Он хоть куда женихом,
Высватать парню невесту
Сватов надежных пошлем...

Кудри сама расчесала я Грише,
Кровь с молоком наш сынок-первенец,
Кровь с молоком и невеста... Иди же!
Благослови молодых под венец!..

Этого дня мы как праздника ждали,
Помнишь, как начал Гришуха ходить,
Целую ноченьку мы толковали,
Как его будем женить,
Стали на свадьбу копить понемногу...
Вот — дождались, слава богу!

Чу, бубенцы говорят!
Поезд вернулся назад,
Выди навстречу проворно —
Пава-невеста, соколик-жених! —
Сыпь на них хлебные зерна,
Хмелем осыпь молодых!..[1]

XXIV

Стадо у лесу у темного бродит,
Лыки в лесу пастушонко дерет,
Из лесу серый волчище выходит.
Чью он овцу унесет?

Черная туча, густая-густая,
Прямо над нашей деревней висит,
Прыснет из тучи стрела громовая,
В чей она дом сноровит?

Вести недобрые ходят в народе:
Парням недолго гулять на свободе,
Скоро — рекрутский набор!

---

[1] Хмелем и хлебным зерном осыпают молодых в знак будущего богатства.

Наш-то молодчик в семье одиночка,
Всех у нас деток — Гришуха да дочка,
Да голова у нас вор —
Скажет: мирской приговор!

Сгибнет ни зá что, ни прó что детина,
Встань, заступись за родимого сына!

Нет! не заступишься ты!..
Белые руки твои опустились,
Ясные очи навеки закрылись...
Горькие мы сироты!..

XXV

Я ль не молила царицу небесную?
Я ли ленива была?
Ночью одна по икону чудесную
Я не сробела — пошла.

Ветер шумит, наметает сугробы,
Месяца нет — хоть бы луч!
Нá небо глянешь — какие-то гробы,
Цепи да гири выходят из туч...

Я ли о нем не старалась?
Я ли жалела чего?
Я ему молвить боялась,
Как я любила его!

Звездочки будут у ночи,
Будет ли нам-то светлей?..

Заяц спрыгнул из-под кочи.
Заинька, стой! не посмей
Перебежать мне дорогу!

В лес укатил, слава богу...
К полночи стало страшней, —

Слышу, нечистая сила
Залотошила, завыла,
Заголосила в лесу,

Что мне до́ силы нечистой?
Чур меня! Деве пречистой
Я приношенье несу!

Слышу я конское ржанье,
Слышу волков завыванье,
Слышу погоню за мной, —

Зверь на меня не кидайся!
Лих человек не касайся,
Дорог наш грош трудовой!

Лето он жил работаючи,
Зиму не видел детей;
Ночи о нем помышляючи,
Я не смыкала очей.

Едет он, зябнет... а я-то, печальная,
Из волокнистого льну,
Словно дорога его чужедальная,
Долгую нитку тяну.

Веретено мое прыгает, вертится,
В пол ударяется.
Проклушка пеш идет, в рытвине крестится,
К возу на горочке сам припрягается.

Лето за летом, зима за зимой,
Этак-то мы раздобылись казной!

Милостив буди к крестьянину бедному,
Господи! всё отдаем,
Что по копейке, по грошику медному
Мы сколотили трудом!..

XXVI

Вся ты, тропина лесная!
Кончился лес.
К утру звезда золотая
С божьих небес
Вдруг сорвалась — и упала,

Дунул господь на нее,
Дрогнуло сердце мое:
Думала я, вспоминала —
Что́ было в мыслях тогда,
Как покатилась звезда?
Вспомнила! ноженьки стали,
Силюсь итти, а нейду!
Думала я, что едва ли
Прокла в живых я найду...

Нет! не попустит царица небесная!
Даст исцеленье икона чудесная!

Я осенилась крестом
И побежала бегом...

Сила-то в нем богатырская,
Милостив бог, не умрет...
Вот и стена монастырская!
Тень уж моя головой достает
До монастырских ворот.

Я поклонилася зе́мным поклоном,
Стала на ноженьки, глядь —
Ворон сидит на кресте золоченом,
Дрогнуло сердце опять!

XXVII

Долго меня продержали —
Схимницу сестры в тот день погребали.

Утреня шла,
Тихо по церкви ходили монашины,
В черные рясы наряжены,
Только покойница в белом была:
Спит — молодая, спокойная,
Знает, что будет в раю.
Поцеловала и я, недостойная,
Белую ручку твою!
В личико долго глядела я:
Всех ты моложе, нарядней, милей,

Ты меж сестер словно горлинка белая
Промежду сизых простых голубей;
    В ручках чернеются четки,
    Писанный венчик на лбу.
    Черный покров на гробу —
    Этак-то ангелы кротки!

    Молви, касатка моя,
    Богу святыми устами,
    Чтоб не осталася я
    Горькой вдовой с сиротами!

Гроб на руках до могилы снесли,
С пеньем и плачем ее погребли.

XXVIII

Двинулась с миром икона святая,
Сестры запели, ее провожая,
    Все приложилися к ней.

Много владычице было почету:
Старый и малый бросали работу,
    Из деревень шли за ней.

К ней выносили больных и убогих. . .
Знаю, владычица! знаю: у многих
    Ты осушила слезу. . .

Только ты милости к нам не явила!
. . . .
. . . .
Господи! сколько я дров нарубила!
    Не увезешь на возу. . .»

XXIX

Окончив привычное дело,
На дровни поклала дрова,
За вожжи взялась и хотела
Пуститься в дорогу вдова.

Да вновь пораздумалась стоя,
Топор машинально взяла
И тихо, прерывисто воя,
К высокой сосне подошла.

Едва ее ноги держали,
Душа истомилась тоской,
Настало затишье печали —
Невольный и страшный покой!

Стоит под сосной чуть живая,
Без думы, без стона, без слез.
В лесу тишина гробовая —
День светел, крепчает мороз.

XXX

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?

Идет — по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.

Дорога везде чародею.
Чу! ближе подходит, седой.
И вдруг очутился над нею,
Над самой ее головой!

Забравшись на сосну большую,
По веточкам палицей бьет
И сам про себя удалую,
Хвастливую песню поет:

XXXI

«Вглядись, молодица, смелее,
Каков воевода Мороз!
Навряд тебе парня сильнее
И краше видать привелось?

Метели, снега и туманы
Покорны морозу всегда,
Пойду на моря-окияны —
Построю дворцы изо льда.

Задумаю — реки большие
Надолго упрячу под гнет,
Построю мосты ледяные,
Каких не построит народ.

Где быстрые, шумные воды
Недавно свободно текли —
Сегодня прошли пешеходы,
Обозы с товаром прошли.

Люблю я в глубоких могилах
Покойников в иней рядить,
И кровь вымораживать в жилах,
И мозг в голове леденить.

На горе недоброму вору,
На страх седоку и коню,
Люблю я в вечернюю пору
Затеять в лесу трескотню.

Бабенки, пеняя на леших,
Домой удирают скорей.
А пьяных, и конных, и пеших
Дурачить еще веселей.

Без мелу всю выбелю рожу,
А нос запылает огнем,
И бороду так приморожу
К вожжам — хоть руби топором!

Богат я, казны не считаю,
А все не скудеет добро;
Я царство мое убираю
В алмазы, жемчуг, серебро.

Войди в мое царство со мною
И будь ты царицею в нем!
Поцарствуем славно зимою,
А летом глубоко уснем.

Войди! приголублю, согрею,
Дворец отведу голубой. . .»
И стал воевода над нею
Махать ледяной булавой.

XXXII

«Тепло ли тебе, молодица?» —
С высокой сосны ей кричит.
— Тепло! — отвечает вдовица,
Сама холодеет, дрожит.

Морозко спустился пониже,
Опять помахал булавой
И шепчет ей ласковей, тише:
«Тепло ли? . .» — Тепло, золотой! —

Тепло — а сама коченеет.
Морозко коснулся ее:
В лицо ей дыханием веет
И иглы колючие сеет
С седой бороды на нее.

И вот перед ней опустился!
«Тепло ли?» — промолвив опять,
И в Проклушку вдруг обратился
И стал он ее целовать.

В уста ее, в очи и в плечи
Седой чародей целовал
И те же ей сладкие речи,
Что милый о свадьбе, шептал.

И так-то ли любо ей было
Внимать его сладким речам,
Что Дарьюшка очи закрыла,
Топор уронила к ногам.

Улыбка у горькой вдовицы
Играет на бледных губах,
Пушисты и белы ресницы,
Морозные иглы в бровях...

XXXIII

В сверкающий иней одета
Стоит, холодеет она,
И снится ей жаркое лето —
Не вся еще рожь свезена,

Но сжата, — полегче им стало!
Возили снопы мужики,
А Дарья картофель копала
С соседних полос у реки.

Свекровь ее тут же, старушка,
Трудилась; на полном мешке
Красивая Маша-резвушка
Сидела с морковкой в руке.

Телега, скрипя, подъезжает —
Савраска глядит на своих,
И Проклушка крупно шагает
За возом снопов золотых.

— Бог помочь! А где же Гришуха? —
Отец мимоходом сказал.
«В горохах», — сказала старуха.
— Гришуха! — отец закричал,

На небо взглянул. — Чай, не рано?
Испить бы... Хозяйка встает
И Проклу из белого жбана
Напиться кваску подает.

Гришуха меж тем отозвался:
Горохом опутан кругом,
Проворный мальчуга казался
Бегущим зеленым кустом.

— Бежит!.. у!.. бежит, постреленок,
Горит под ногами трава! —
Гришуха черен, как галчонок,
Бела лишь одна голова.

Крича, подбегает вприсядку
(На шее горох хомутом).
Попотчевал баушку, матку,
Сестренку — вертится вьюном!

От матери молодцу ласка,
Отец мальчугана щипнул;
Меж тем не дремал и савраска:
Он шею тянул да тянул,

Добрался, — оскаливши зубы,
Горох аппетитно жует,
И в мягкие добрые губы
Гришухино ухо берет...

XXXIV

Машутка отцу закричала:
— Возьми меня, тятька, с собой! —
Спрыгнула с мешка — и упала,
Отец ее поднял. «Не вой!

Убилась — неважное дело!..
Девчонок не надобно мне,
Еще вот такого пострела
Рожай мне, хозяйка, к весне!

Смотри же! . .» Жена застыдилась.
— Довольно с тебя одного!
(А знала, под сердцем уж билось
Дитя. . .) «Ну! Машук, ничего!»

И Проклушка, став на телегу,
Машутку с собой посадил.
Вскочил и Гришуха с разбегу,
И с грохотом воз покатил.

Воробушков стая слетела
С снопов, над телегой взвилась.
И Дарьюшка долго смотрела,
От солнца рукой заслонясь,

Как дети с отцом приближались
К дымящейся риге своей,
И ей из снопов улыбались
Румяные лица детей. . .

Чу, песня! знакомые звуки!
Хорош голосок у певца. . .
Последние признаки муки
У Дарьи исчезли с лица:

Душой улетая за песней,
Она отдалась ей вполне. . .
Нет в мире той песни прелестней,
Которую слышим во сне!

О чем она — бог ее знает!
Я слов уловить не умел,
Но сердце она утоляет,
В ней дольнего счастья предел.

В ней кроткая ласка участья,
Обеты любви без конца. . .
Улыбка довольства и счастья
У Дарьи не сходит с лица.

XXXV

Какой бы ценой ни досталось
Забвенье крестьянке моей,
Что нужды? Она улыбалась.
Жалеть мы не будем о ней.

Нет глубже, нет слаще покоя,
Какой посылает нам лес,
Недвижно, бестрепетно стоя
Под холодом зимних небес.

Нигде так глубоко и вольно
Не дышит усталая грудь,
И ежели жить нам довольно,
Нам слаще нигде не уснуть!

XXXVI

Ни звука! Душа умирает
Для скорби, для страсти. Стоишь
И чувствуешь, как покоряет
Ее эта мертвая тишь.

Ни звука! И видишь ты синий
Свод неба, да солнце, да лес,
В серебряно-матовый иней
Наряженный, полный чудес,

Влекущий неведомой тайной,
Глубоко-бесстрастный... Но вот
Послышался шорох случайный —
Вершинами белка идет.

Ком снегу она уронила
На Дарью, прыгнув по сосне.
А Дарья стояла и стыла
В своем заколдованном сне...

ПАМЯТИ ДОБРОЛЮБОВА

Суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять.
Учил ты жить для славы, для свободы,
Но более учил ты умирать.

Сознательно мирские наслажденья
Ты отвергал, ты чистоту хранил,
Ты жажде сердца не дал утоленья;
Как женщину, ты родину любил,
Свои труды, надежды, помышленья

Ты отдал ей; ты честные сердца
Ей покорял. Взывая к жизни новой,
И светлый рай, и перлы для венца
Готовил ты любовнице суровой.

Но слишком рано твой ударил час,
И вещее перо из рук упало.
Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!

Года минули, страсти улеглись,
И высоко вознесся ты над нами...
Плачь, русская земля! но и гордись —
С тех пор, как ты стоишь под небесами,

Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно:
Сокровища душевной красоты
Совмещены в нем были благодатно...

Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

ПРИТЧА О ЕРМОЛАЕ ТРУДЯЩЕМСЯ

Раньше людей Ермолай подымается,
Позже людей с полосы возвращается,

Разбогатеть ему хочется пашнею.
Правит мужик свою нужду домашнюю

Да и семян запасает порядочно —
Тужит, землицы ему недостаточно!

Сила меж тем в мужике убавляется,
Старость подходит, частенько хворается, —

Стало хозяйство тогда поправлятися:
Стало земли от семян оставатися!

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЕТЯМ)

Ваня (*в кучерском армячке*). Папаша! кто строил эту дорогу?

Папаша (*в пальто на красной подкладке*). Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!

(Разговор в вагоне)

I

Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор! —
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —

Все хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...

II

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! восклицанья послышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение? .. «В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цынгой.

Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Все претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Все ли нас, бедных, добром поминаете,
Или забыли давно? ..»

Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это всё братья твои — мужики!

Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький! .. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый, больной белорусс:

Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;

Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!

Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит

И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!

Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!

Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе.

III

В эту минуту свисток оглушительный
Взвизгнул — исчезла толпа мертвецов!
«Видел, папаша, я сон удивительный, —
Ваня сказал, — тысяч пять мужиков,

Русских племен и пород представители
Вдруг появились — и *он* мне сказал:
Вот они — нашей дороги строители!..»
Захохотал генерал!

— Был я недавно в стенах Ватикана,
По Колизею две ночи бродил,
Видел я в Вене святого Стефана,
Что же... все это народ сотворил?

Вы извините мне смех этот дерзкий,
Логика ваша немножко дика.
Или для вас Аполлон Бельведерский
Хуже печного горшка?

Вот наш народ: эти термы и бани —
Чудо искусства — он всё растаскал! —

«Я говорю не для вас, а для Вани...»
Но генерал возражать не давал:

— Ваш славянин, англо-сакс и германец
Не создавать — разрушать мастера,
Варвары! дикое скопище пьяниц!..
Впрочем, Ванюшей заняться пора;

Знаете, зрелищем смерти, печали
Детское сердце грешно возмущать.
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону...

IV

Рад показать!
Слушай, мой милый: труды роковые
Кончены — немец уж рельсы кладет.
Мертвые в землю зарыты; больные
Скрыты в землянках; рабочий народ

Тесной гурьбой у конторы собрался...
Крепко затылки чесали они:
Каждый подрядчику должен остался,
Стали в копейку прогульные дни!

Всё заносили десятники в книжку —
Брал ли на баню, лежал ли больной:
«Может, и есть тут теперича лишку,
Да вот, поди ты!..» Махнули рукой...

В синем кафтане — почтенный лабазник.
Толстый, присадистый, красный, как медь,
Едет подрядчик по линии в праздник,
Едет работы свои посмотреть.

Праздный народ расступается чинно...
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
«Ладно... нештó... молодцá!.. молодцá!..

С богом, теперь по домам, — проздравляю!
(Шапки долой — коли я говорю!) —

Бочку рабочим вина выставляю
И — *недоимку дарю!..»*

Кто-то «ура» закричал. Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь:
С песней десятники бочку катили...
Тут и ленивый не мог устоять!

Выпряг народ лошадей — и купчину
С криком «ура!» по дороге помчал...
Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?..

ВОЗВРАЩЕНИЕ

И здесь душа унынием объята.
Не ласков был мне родины привет;
Так смотрит друг, любивший нас когда-то,
Но в ком давно уж прежней веры нет.

Сентябрь шумел, земля моя родная
Вся под дождем рыдала без конца,
И черных птиц за мной летела стая,
Как будто бы почуяв мертвеца!

Волнуемый тоскою и боязнью,
Напрасно гнал я грозные мечты,
Меж тем как лес с какой-то неприязнью
В меня бросал холодные листы,

И ветер мне гудел неумолимо:
Зачем ты здесь, изнеженный поэт?
Чего от нас ты хочешь? Мимо! мимо!
Ты нам чужой, тебе здесь дела нет!

И песню я услышал в отдаленье.
Знакомая, она была горька,
Звучало в ней бессильное томленье,
Бессильная и вялая тоска.

С той песней вновь в душе зашевелилось,
О чем давно я позабыл мечтать,
И проклял я то сердце, что смутилось
Перед борьбой — и отступило вспять! . .

НАЧАЛО ПОЭМЫ

Опять она, родная сторона
С ее зеленым, благодатным летом,
И вновь душа поэзией полна. . .
Да, только здесь могу я быть поэтом!

(На Западе — не вызвал я ничем
Красивых строф, пластических и сильных,
В Германии я был, как рыба, нем,
В Италии — писал о русских ссыльных.

Давно то было. . . Город наш родной
Санктпетербург, — как он ни поэтичен,
Но в нем я постоянно сам не свой —
Зол, озабочен или апатичен. . .)

Опять леса в уборе вековом,
Зверей и птиц угрюмые чертоги
И меж дерев, нависнувших шатром,
Травнистые, зеленые дороги!

На первый раз сказать позвольте вам,
Чем пахнут вообще дороги наши —
То запах дегтя с сеном пополам.
Не знаю, каково на нервы ваши

Он действует, но мне приятен он,
Он мысль мою свежит и направляет:
Куда б мечтой я ни был увлечен,
Он вмиг ее к народу возвращает. . .

Чу! воз скрипит! Плетутся два вола,
Снопы пред нами в зелени ныряют,
Подобие зеленого стола,
На коем груды золота мелькают.

(Друзья мои картежники! для вас
Придумано сравненье на досуге...)
Но мы догнали воз — и порвалась
Нить вольных мыслей. Вздрогнул я в испуге:

Почудились на этом мне возу,
Сидящие рядком, как на картине,
Столичный франт со стеклышком в глазу
И барыня в широком кринолине!..

1865

О ПОГОДЕ

Часть вторая

I

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

— Государь мой! куда вы бежите? —
«В канцелярию; что за вопрос?
Я не знаю вас!» — Трите же, трите
Поскорей, бога ради, ваш нос!
Побелел! — «А! весьма благодарен!»
— Ну, а мой-то? — «Да ваш лучезарен!»
— То-то! принял я меры... — «Чего-с?»
— Ничего. Пейте водку в морозы —
Сбережете наверно ваш нос,
На щеках же появятся розы!

Усмехнувшись, они разошлись,
И за каждым извозчик помчался.
Бедный Ванька! надеждой не льстись,
Чтоб сегодня седок отыскался:
Двадцать градусов, ветер притом —
Бескаретные ходят пешком.

Разыгралися силы господни!
На пространстве пяти саженей,
Насчитаешь, наверно, до сотни
Отмороженных щек и ушей.
Двадцать градусов! щеки и уши
Не беда, — как-нибудь ототрем!
Целиком христианские души
Часто гибнут теперь; подождем —
Часовой ли замерзнет, бедняга,

Или Ванька, уснувший в санях,
Всё прочтем, коли стерпит бумага,
Завтра утром в газетных листах.

Ежедневно газетная проза
Обличает проделки мороза;
Кучера его громко клянут,
У подъездов господ поджидая,
Бедняки ему песню поют,
Зубом на зуб едва попадая:

«Уходи из подвалов сырых,
Полутемных, зловонных, дымящихся,
Уходи от голодных, больных,
Озабоченных, вечно трудящихся,
Уходи, уходи, уходи!
Петербургскую голь пощади!»

Но мороз не щадит, — прибавляется,
Приуныла столица; один
Самоед на Неве удивляется:
От каких чрезвычайных причин
На оленях никто не катается?
Там, где строй заготовленных льдин
Возвышается синею клеткою,
Ходит он со своей самоедкою,
Песни родины дальней поет,
Седока-благодетеля ждет...

Самоедские нервы и кости
Стерпят всякую стужу, но вам,
Голосистые южные гости,
Хорошо ли у нас по зимам?
Вспомним — Бозио. Чванный Петрополь
Не жалел ничего для нее.
Но напрасно ты кутала в соболь
Соловьиное горло свое,
Дочь Италии! С русским морозом
Трудно ладить полуденным розам.

Перед силой его роковой
Ты поникла челом идеальным,
И лежишь ты в отчизне чужой

На кладбище пустом и печальном.
Позабыл тебя чуждый народ
В тот же день, как земле тебя сдали,
И давно там другая поет,
Где цветами тебя осыпали.
Там светло, там гудет контрабас,
Там попрежнему громки литавры.
Да! на севере грустном у нас
Трудны деньги и дороги лавры!

Всевозможные тифы, горячки,
Воспаленья идут чередом;
Мрут, как мухи, извозчики, прачки,
Мерзнут дети на ложе своем.
Ни в одной петербургской больнице
Нет кровати за сотню рублей.
Появился убийца в столице,
Бич довольных и сытых людей.
С бедняками, с сословием грубым
Не имеет он дела! тайком
Ходит он по гостиным, по клубам
С смертоносным своим кистенем.

«Побранился с супругой своею
После ужина Нестор Фомич,
Ухватил за короткую шею
И прихлопнул его паралич!
Генерал Федор Карлыч фон Штубе,
Десятипудовой генерал,
Скушал четверть телятины в клубе,
Крикнул «пас!» — и со стула не встал!»
Таковы-то теперь разговоры,
Что ни день, то плачевная весть.
В клубах мрак и унынье; обжоры
Поклялися не пить и не есть.

Мучим голодом, страхом томимый,
Сановит и солиден на вид,
В сильный ветер, в мороз нестерпимый,
Кто по Невскому быстро бежит?
И кого он на Невском встречает?
И о чем начался разговор?

В эту пору никто не гуляет,
Кроме мнительных, тучных обжор.
Говоря меж собой про удары,
Повторяя обеты не есть,
Ходят эти угрюмые пары,
До обеда не смея присесть,
А потом наедаются вдвое,
И наутро разносится слух,
Слух ужасный — о новом герое,
Испустившем нечаянно дух!

Никакие известья из Вильно,
Никакие статьи из Москвы [1]
Нас теперь не волнуют так сильно,
Как подобные слухи... Увы!
Неприятно с местечек солидных,
Из хороших казенных квартир
Вдруг, без всяких причин благовидных
Удаляться в неведомый мир!
Впрочем, если уж смерть неизбежна,
Так зимой умирать хорошо:
Для супруги, нас любящей нежно,
Сохранимся мы чисто, свежо
До последней минуты лобзанья,
И друзьям нашим будет легко
Подходить к нам в минуту прощанья;
Понесут они гроб далеко.
Похоронная музыка чище
И звончей на морозе слышна,
Вместо грязи покрыто кладбище
Белым снегом; сурово-пышна
Обстановка; гроб бросят не в лужу,
Червь не скоро в него заползет,
Сам покойник в жестокую стужу
Дольше важный свой вид сбережет.
И притом, если друг неутешный
Нас живьем схоронить поспешит,
Мы избавимся муки кромешной:
Дело смерти мороз довершит.

---

[1] Писано в разгаре деятельности М. Н. Муравьева и М. Н. Каткова.

Умирай же, богач, в стужу сильную!
Бедняки пускай осенью мрут,
Потому что за яму могильную
Вдвое больше в морозы берут.

II

КОМУ ХОЛОДНО, КОМУ ЖАРКО!

Свечерело. В предместиях дальных,
Где, как черные змеи, летят
Клубы дыма из труб колоссальных,
Где сплошными огнями горят
Красных фабрик громадные стены,
Окаймляя столицу кругом, —
Начинаются мрачные сцены.
Но в предместия мы не пойдем.
Нам зимою приятней столица
Там, где ярко горят фонари,
Где гуляют довольные лица,
Где катаются сами цари.

Надышавшись классической пылью
В Петербурге, паспорт мы берем
И чихать уезжаем в Севилью.
Но кто летом толкается в нем,
Тот ему одного пожелает —
Чистоты, чистоты, чистоты!
Грязны улицы, лавки, мосты,
Каждый дом золотухой страдает;
Штукатурка валится — и бьет
Тротуаром идущий народ,
А для едущих есть мостовая,
Не щадящая бедных боков;
Летом взроют ее, починяя,
Да наставят зловонных костров:
Как дорогой бросаются в очи
На зеленом лугу светляки,
Ты заметишь в туманные ночи
На вершине костров огоньки —
Берегись! .. В дополнение, с мая,
Не весьма-то чиста и всегда,
От природы отстать не желая,
Зацветает в каналах вода...

(Наша муза парит не высоко,
Но мы пишем не легкий сонет,
Наше дело — исчерпать глубоко
Воспеваемый нами предмет).

Уж давно в тебя летней порою
Не случалося нам заглянуть,
Милый город! где трудной борьбою
Надорвали мы смолоду грудь,
Но того мы еще не забыли,
Что в июле пропитан ты весь
Смесью водки, конюшни и пыли —
Характерная русская смесь.

Но зимой — дышишь вольно; для глаза —
Роскошь! Улицы, зданья, мосты
При волшебном сиянии газа
Получают печать красоты.
Как проворно по хрупкому снегу
Мчится тысячный, кровный рысак!
Даже клячи извозчичьи бегу
Прибавляют теперь. Каждый шаг,
Каждый звук так отчетливо слышен,
Все свежо, все эффектно: зимой,
Словно весь посеребренный, пышен
Петербург самобытной красой!
По каналам, что́ летом зловонны,
Блещет лед, ожидая коньков,
Серебром отливают колонны,
Орнаменты ворот и мостов;
В серебре лошадиные гривы,
Шапки, бороды, брови людей,
И, как бабочек крылья, красивы
Ореолы вокруг фонарей!

Пусть с какой-то тоской безотрадной
Месяц с ясного неба глядит
На Неву, что гробницей громадной
В берегах освещенных лежит,
И на шпиль, за угрюмой Невою,
Перед длинной стеной крепостною,
Наводящей унынье и сплин.

Мы не тужим. У русской столицы,
Кроме мрачной Невы и темницы,
Есть довольно и светлых картин.

Невский полон: эстампы и книги,
Бриллианты из окон глядят,
Вновь прибывшие девы из Риги
Неподдельным румянцем блестят.
Всюду люди — шумят, суетятся.
Вот красивая тройка бежит:
«Не хотите ли с нами кататься?» —
Деве бравый усач говорит.
Поглядела, подумала, села.
И другую сманили, — летят!
Полумерзлые девы несмело
На своих кавалеров глядят.
— Ваше имя? — «Матильда». — А ваше? —
«Александра». К Матильде один,
А другой подвигается к Саше.
— Вы модистка? — «Да, шью в магазин».
— Эй! пошел хорошенько, Тараска! —
Город из виду скоро пропал.

Начинается зимняя сказка:
Ветер злился, гудел и стонал,
Франты песню удалую пели,
Кучер громко подтягивал ей,
Кони, фыркая, вихрем летели,
Злой мороз пробирал до костей.
Прискакали в открытое поле.
«Да куда же везете вы нас?
Мы одеты легко... мудрено ли
Простудиться?» — Приедем сейчас!
Ну, потрогивай! живо, дружище! —
Снова скачут! Могилы вокруг,
Монументы... «Да это кладбище», —
Шепчет Саша Матильде — и вдруг
Сани набок! Упали девицы...
Повернули назад господа.
И умчали их кони, как птицы.
Девы встали. «Куда ж вы? куда?» —
Нет ответа! несчастные девы

В чистом поле остались одни.
Дикий хохот, лихие напевы
Постепенно умолкли. Они
Огляделись: безлюдно и тихо,
Звезды с ясного неба глядят...
«Мы сегодня потешились лихо!» —
Франты в клубе друзьям говорят...

А театры, балы, маскарады?
Впрочем, здесь и конец, господа,
Мы бы там побывать с вами рады,
Но нас цензор не пустит туда.
До того, что творится в природе,
Дела нашему цензору нет.
«Вы взялися писать о погоде,
Воспевайте же данный предмет!»

— Но озябли мы, друт наш угрюмый!
Пощади — нам погреться пора! —
«Вот вам случай — взгляните: над Думой
Показались два красных шара,
В вашей власти наполнить пожаром
Сто страниц — и погреетесь даром!»

Где ж пожар? пешеходы глядят.
Чу! неистовый топот раздался,
И на бочке верхом полицейский солдат,
Медной шапкой блестя, показался.
Вот другой — не поспеешь считать!
Мчатся вихрем красивые тройки.
Осторожней, пожарная рать!
Кони сытые слишком уж бойки.

Вся команда на борзых конях
Через Невский проспект прокатилась
И на окнах аптек в разноцветных шарах
Вверх ногами на миг отразилась...

Озадаченный люд толковал,
Где пожар и причина какая?
Вдруг еще появился сигнал,
И промчалась команда другая.

Постепенно во многих местах
Небо вспыхнуло заревом красным,
Топот, грохот! Народ впопыхах
Разбежался по улицам разным,
Каждый в свой торопился квартал,
«Не у нас ли горит? — помышляя. —
Бог помилуй!» Огонь не дремал,
Лавки, церкви, дома пожирая...

Семь пожаров случилось в ту ночь,
Но смотреть их нам было невмочь.
В сильный жар да в морозы трескучие
В Петербурге пожарные случаи
Беспрестанны — на днях как-нибудь
И пожары успеем взглянуть...

ГАЗЕТНАЯ

...Через дым, разъедающий очи
Милых дам, убивающих ночи
За игрою в лото-домино,
Разглядеть что-нибудь мудрено.
Миновав этот омут кромешный,
Это тусклое царство теней,
Добрались мы походкой поспешной
До газетной...

Здесь воздух свежей;
Пол с ковром, с абажурами свечи,
Стол с газетами, с книгами шкап.
Неуместны здесь громкие речи,
А еще неприличнее храп,
Но сморит после наших обедов
Хоть какого чтеца, и притом
Прав доныне старик Грибоедов:
С русской книгой мы вечно уснем.
Мы не любим словесности русской
И доныне, предвидя досуг,
Запасаемся книгой французской.
Что же так? .. Даже избранный круг
Увлекали талантом недавно

Граф Толстой, Фет и просто Толстой.
«Русский слог исправляется явно!» —
Замечают тузы меж собой.
Не без гордости русская пресса
Именует себя иногда
Путеводной звездою прогресса,
И недаром она так горда:
Говорят — о Гомер и Овидий! —
До того расходилась печать,
Что явилась потребность субсидий.
Эк хватила куда! исполать!
Таксы нет на гражданские слезы,
Но и так они льются рекой.
Образцы изумительной прозы
Замечаются в прессе родной:
Тот добился успеху во многом
И удачно врагов обуздал,
Кто идею свободы с поджогом,
С грабежом и убийством мешал;
Тот прославился другом народа
И мечтает, что пользу принес,
Кто на тему: *вино и свобода*
На народ напечатал донос.
Нам Катков предстоит великаном,
Мы Тургенева кушать зовем...
Почему же французским романам
Предпочтение мы отдаем?
Не избыток хорошего тона,
Не картин соблазнительных ряд,
Нас отсутствие «мрака и стона»
К ним влечет... Мудрецы говорят:
«Час досуга, за утренним чаем,
Для чего я тоской отравлю?
Наши немощи знаем мы, знаем,
Но я думать о них не люблю!..»

Эта песня давно уже слышится,
Но она не ведет ни к чему,
Коли нам так писалось и пишется,
Значит — есть и причина тому!
Не заказано ветру свободному
Петь тоскливые песни в полях,

Не заказаны волку голодному
Заунывные стоны в лесах;
Спокон веку дождем разливаются
Над родной стороной небеса,
Гнутся, стонут, под бурей ломаются
Спокон веку родные леса,
Спокон веку работа народная
Под унылую песню кипит,
Вторит ей наша муза свободная,
Вторит ей — или честно молчит.

Как бы ни было, в комнате этой
Праздно кипы журналов лежат,
Пусто! разве, прикрывшись газетой,
Два-три члена солидные спят.
(Как не скажешь: москвич идеальней.
Там газетная вечно полна,
Рядом с ней, нареченная *«вральней»*,
Есть там мрачная зала одна —
Если ты не московского мненья,
Не входи туда — будешь побит!)
В Петербурге любители чтенья
Пробегают один «Инвалид»;
В дни, когда высочайшим приказом
Назначается много наград,
Десять рук к нему тянется разом.
Да порой наш журнальный собрат
Дерзновенную штуку отколет,
Тронет личность, известную нам.
О! тогда целый клуб соизволит
Прикоснуться к презренным листам.
Шопот, говор. Приводится в ясность —
Кто затронут, метка ли статья?
И суровые толки про гласность
Начинаются. Слыхивал я
Здесь такие сужденья и споры...
Поневоле поникнешь лицом
И потупишь смущенные взоры...
Не в сужденьях дело, а в том,
Что судила такая особа...
Впрочем, я ей обязан до гроба!

Раз послушав такого туза,
Не забыть до скончания века.
В мановении брови — гроза!
В полуслове — судьба человека!
Согласишься, почтителен, тих,
Постоишь, удалишься украдкой
И начнешь сатирический стих
В комплимент перелаживать сладкий...

Да! Но все-таки грустен напев
Наших песен, нельзя не сознаться.
Переделать его не сумев,
Мы решились при нем оставаться.
Примиритесь же с Музой моей!
Я не знаю другого напева.
Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей...

С давних пор только два человека
Постоянно в газетной сидят:
Одному уж три четверти века,
Но он крепок и силен на взгляд.
Про него бесконечны рассказы:
Жаден, скуп, ненавидит детей.
Здесь он к старосте пишет приказы,
Чтобы дома не тратить свечей.
Говорят, одному человеку
Удалось из-за плеч старика
Прочитать, что он пишет: «В аптеку,
Чтоб спасти бедняка-мужика,
Посылал ты — нелепое барство!
Впредь расходов таких не иметь!
Деньги с миру взыскать... а лекарство
Для крестьянина лучшее — плеть...»
Анекдот этот в клубе я слышал
(Это было лет десять тому).
Из полка он за шулерство вышел,
Мать родную упрятал в тюрьму.
Про его воровские таланты
Тоже ходит таинственный слух;
У супруги его бриллианты
Родовые пропали — двух слуг

Присудили тогда и сослали.
А потом — раз старик оплошал —
У него эти камни видали:
Сам же он у жены их украл!
Ненавидят его, но для виста
Он всегда партенеров найдет:
«Что ж? ведь в клубе играет он чисто!»
Наша логика дальше нейдет...

А другой? среди праздных местечек,
Под огромным газетным листом,
Видишь, тощий сидит человечек
С озабоченным, бледным лицом,
Весь исполнен тревогою страстной,
По движеньям похож на лису,
Стар и глух; и в руках его красный
Карандаш и очки на носу.
В óны годы служил он в цензуре
И доныне привычку сберег
Все, что прежде черкал в корректуре,
Отмечать: выправляет он слог,
С мысли автора краски стирает.
Вот он тихо промолвил: «шалишь!»
Глаз его под очками играет,
Как у кошки, заметившей мышь;
Карандаш за привычное дело
Принялся... «А позвольте узнать
(Он болтун — говорите с ним смело),
Что изволили вы отыскать?»

— Ужасаюсь, читая журналы!
Где я? где? Цепенеет мой ум!
Что ни строчка — скандалы, скандалы!
Вот взгляните — мой собственный кум
Обличен! Моралист-проповедник,
Цыц!.. Умолкни, журнальная тварь!..
Он действительный статский советник,
Этот чин даровал ему царь!
Мало им, что они Маколея
И Гизота в печать провели,
Кровопийцу Прудона, злодея
Тьера выше небес вознесли,

К государственной росписи смеют
Прикасаться нечистой рукой!
Будет время — пожнут, что посеют! —
(Старец грозно качнул головой).
— А свобода, а земство, а гласность!
(Крикнул он и очки уронил).
Вот где бедствие! вот где опасность
Государству... Не так я служил!

О чинах, о свободе, о взятках
Я словечка в печать не пускал.
К сожаленью, при новых порядках,
Председатель отставку мне дал.
На начальство роптать не дерзаю
(*Не умею* — и этим горжусь),
Но убей меня, если я знаю,
Отчего я теперь не гожусь?
Служба всю мою жизнь поглощала,
Иногда до того я вникал,
Что во сне благодать осеняла,
И, вскочив, — я черкал и черкал!
К сочинению ключ понемногу,
К тайной цели его, подберешь,
Сходишь в церковь, помолишься богу
И опять троекратно прочтешь:
Взвешен, пойман на каждом словечке,
Сочинитель дрожал предо мной, —
Повертится, как муха на свечке,
И уйдет тихомолком домой.
Рад-радехонек, если тетрадку
Я, похерив, ему возвращу!
А то, если б пустить по порядку...
Но всего говорить не хочу!
Занимаясь семь лет этим дельцем,
Не напрасно я брал свой оклад
(Тут сравнил он себя с земледельцем,
Рвущим сорные травы из гряд).
Например, Вальтер Скотт или Купер —
Их на веру иной пропускал,
Но и в них открывал я *канупер!*
(Так он вредную мысль называл).

Но зато, если дельны и строги
Мысли — кто их в печать проводил?
Я вам мысль, что «большие налоги
Любит русский народ», пропустил,
Я статью отстоял в комитете,
Что реформы раненько вводить,
Что крестьяне — опасные дети,
Что их грамоте рано учить!
Кто, чтоб нам микроскопы купили,
С представленьем к министру вошел?
А то раз цензора пропустили,
Вместо северный, скверный орел!
Только буква... Шутите вы буквой!
Автор прав, чего цензор смотрел? —

Освежившись холодною клюквой,
Он прибавил: — А что я терпел!
Не один оскорбленный писатель
Письма бранные мне посылал
И грозился... (да шутишь, приятель!
Меры я надлежащие брал).
Мне мерещились авторов тени,
Третьей ночью еще Фейербах
Мне приснился — был рот его в пене,
Он держал свою шляпу в зубах,
А в руке суковатую палку...
Мне одна романистка чуть-чуть
В маскараде... но бабу-нахалку
Удержали... да, труден наш путь!

Ни родства, ни знакомства, ни дружбы
Совесть цензора знать не должна,
Долг, во-первых, — обязанность службы!
Во-вторых, сударь: дети, жена!
И притом я себя так прославил,
Что свихнись я — другой бы навряд
Место новое мне предоставил,
Зависть общий порок, говорят! —

Тут взглянул мне в лицо старичина:
Ужас, что ли, на нем он прочел,
Я не знаю, какая причина,
Только речь он помягче повел:

— Так храня целомудрие прессы,
Не всегда был, однако, я строг,
Если б знали вы, как интересы
Я писателей бедных берег!
Да! меня не коснутся упреки,
Что я платы за труд их лишал.
Оставлял я страницы и строки,
Только вредную мысль исключал.
Если ты написал: «равнодушно
Губернатора встретил народ»,
Исключу я три буквы: «ра — душно»
Выйдет... что же? три буквы не счет!
Если скажешь: «в дворянских именьях
Нищета ежегодно растет», —
«Речь идет о сардинских владеньях»,
Поясню, — и статейка пройдет!
Точно так: если страстную Лизу
Соблазнит русокудрый Иван,
Переносится действие в Пизу —
И спасен многотомный роман!
Незаметные эти поправки
Так изменят и мысли, и слог,
Что потом не подточишь булавки!
Да, я авторов много берег!
Сам я в бедности тяжкой родился,
Сам имею детей, я не зверь!
Дети! дети! (старик омрачился).
Воздух, что ли, такой уж теперь —
Утешения в собственном сыне
Не имею... Кто б мог ожидать?
Никакого почтенья к святыне!
Спорю, спорю! не раз и ругать
Принимался, а втайне-то плачешь.
Я однажды ему пригрозил:
«Что ты бесишься? что ты чудачишь?
В нигилисты ты, что ли, вступил?»
— Нигилист — это глупое слово, —
Говорит, — но когда ты под ним
Разумел человека прямого,
Кто не любит живиться чужим,
Кто работает, истины ищет,
Не без пользы старается жить,

Прямо в нос негодяя освищет,
А при случае рад и побить, —
Так пожалуй — зови нигилистом,
Отчего и не так! — Каково?
Что прикажете с этим артистом?
Я в студенты хотел бы его,
Чтобы чин получил... но едва ли...
— Что чины? — говорит, — ерунда!
Там таких дураков насажали,
Что их слушать не стоит труда,
Там я даром убью только время. —
И прибавил еще сгоряча
(Каково современное племя?):
Там мне скажут: ты сын палача! —
Тут невольно я голос возвысил,
«Стой, глупец! — я ему закричал,
Я на службе себя не унизил,
Добросовестно долг исполнял!»
— Добросовестность милое слово, —
Возразил он, — но с нею подчас... —
«Что, мой друг? говори — это ново!»
Сильный спор завязался у нас;
Всю нелепость свою понемногу
Обнаружил он ясно тогда;
Между прочим, сказал: «Слава богу,
Что чиновник у нас не всегда
Добросовестен»... Вот как! .. За что же
Возрождается в сыне моем,
Что всю жизнь истреблял я? .. о боже! .. —

Старец скорбно поникнул челом.

— Хорошо ли, служа, корректуры
Вы скрывали от ваших детей? —
Я с участьем сказал: — без цензуры
Начитался он, видно, статей? —
«И! как можно! ..»
Тут нас перервали,
Старец снова газету берет...
. . . .

ПЕСНИ О СВОБОДНОМ СЛОВЕ

I

РАССЫЛЬНЫЙ

Люди бегут, суетятся,
Мертвых везут на погост...
Еду кой с кем повидаться
Чрез Николаевский мост.

Пот отирая обильный
С голого лба, стороной —
Вижу — плетется рассыльный,
Старец угрюмый, седой.

С дедушкой этим, Минаем,
Я уж лет тридцать знаком:
Оба мы хлеб добываем
Литературным трудом.

(Молод я прибыл в столицу,
Вирши в редакцию свез, —
Первую эту страницу
Он мне в наборе принес!)

Оба судьбой мы похожи,
Если пошире глядеть:
Век свой мы лезли из кожи,
Чтобы в цензуру поспеть;

Цензор в спокойствии нашем
Равную ролю играл, —
Раньше, бывало, мы ляжем,
Если статью подписал;

Если ж сказал: «запрещаю!»
Вновь я садился писать,
Вновь приходилось Минаю
Бегать к нему, поджидать.

Эти волнения были
Сходны в итоге вполне:

Ноги ему подкосили,
Нервы расстроили мне.

Кто поплатился дороже,
Время уж скоро решит,
Впрочем, я вдвое моложе.
Он уж непрочен на вид,

Длинный и тощий, как остов,
Но стариковски пригож...
— Эй, на Васильевский остров
К цензору, что ли, идешь? —

«Баста ходить по цензуре!
Ослобонилась печать,
Авторы наши в натуре
Стали статейки пущать.

К ним да к редактору ныне
Только и носим статьи...
Словно повысились в чине,
Ожили детки мои!

Каждый теперича кроток,
Ну да и нам-то расчет:
На восемь гривен подметок
Меньше износится в год!..»

II

НАБОРЩИКИ

Чей это гимн суровый
Доносит к нам зефир?
То армии свинцовой
Смиренный командир —

Наборщик распевает
У пыльного станка.
Меж тем как набирает
Проворная рука:

— Рабочему порядок
В труде всего важней,
И лишний рубль не сладок,
Когда не спишь ночей!

Работы до отвалу,
Хоть не ходи домой.
Тетрадь оригиналу
Еще несут... ой, ой!

Тетрадь толстенька в стане,
В неделю не набрать.
Но не гордись заране,
Премудрая тетрадь!

Не похудей в цензуре!
Ужо мы наберем,
Оттиснем в корректуре
И к цензору пошлем.

Вот он тебя читает,
Надев свои очки;
Отечески марает —
Словечко, полстроки!

Но недостало силы,
Вдруг руки разошлись,
И красные чернилы
Потоком полились.

Живого нет местечка!
И только на строке
Торчит кой-где словечко,
Как муха в молоке.

Угрюмый и сердитый
Редактор этот сброд,
Как армии разбитой
Остатки, подберет;

На ниточку нанижет,
Кой-как сплотит опять

И нам приказ напишет:
«Исправив, вновь послать».

Набор мы рассыпаем
Зачеркнутых столбцов
И литеры бросаем,
Как в ямы мертвецов,

По кассам! Вновь в порядке
Лежат одна к одной.
Потерян ключ к загадке,
Что выражал их строй!

Так остается тайной,
Каков и где тот плод,
Который вихрь случайный
С деревьев в бурю рвет.

(Что, какова заметка?
Недурен оборот?
Случается нередко
У нас лихой народ.

Наборщики бывают
Философы порой:
Не все же набирают
Они сумбур пустой.

Встречаются статейки,
Встречаются умы —
Полезные идейки
Усваиваем мы. . .)

Уж в новой корректуре
Статья не велика,
Глядишь — опять в цензуре
Посгладят ей бока.

Вот наконец и сверстка!
Но что с тобой, тетрадь?

Ты менее наперстка
Являешься в печать!

А то еще бывает,
Сам автор прибежит,
Посмотрит, повздыхает,
Да всю и порешит!

Нам все равны статейки,
Печатай, разбирай, —
Три четверти копейки
За строчку нам отдай!

Но не равны заботы.
Чтоб время наверстать,
Мы слепнем от работы...
Хотите ли писать?

Мы вам дадим сюжеты:
Войдите-ка в полночь
В наборную газеты —
Кромешный ад точь-в-точь!

Наборщик безответный
Красив, как трубочист...
Кто выдумал газетный
Бесчеловечный лист?

Хоть целый свет обрыщешь,
И в самых рудниках
Тошней труда не сыщешь:
Мы вечно на ногах;

От частой недосыпки,
От пыли, от свинца
Мы все здоровьем хлипки,
Все зелены с лица;

В работе беспорядок
Нам сокращает век.
И лишний рубль не сладок,
Как болен человек...

Но вот свобода слова
Негаданно пришла,
Не так уж бестолково,
Авось, пойдут дела!

Хор

Поклон тебе, свобода!
Тра-ла, ла-ла, ла-ла!
С рабочего народа
Ты тяготу сняла!..

III

ПОЭТ

Друзья, возрадуйтесь! — простор!
(Давай скорей бутылок!)
Теперь бы петь... Но стал я хвор!
А прежде был я пылок.
И был подвижен я, как челн
(Зачем на пробке плесень?..),
И как у моря звучных волн
У лиры было песен.
Но жизнь была так коротка
Для песен этой лиры, —
От типографского станка
До цензорской квартиры!

IV

ЛИТЕРАТОРЫ

Три друга обнялись при встрече,
Входя в какой-то магазин.
«Теперь пойдут иные речи!» —
Заметил весело один.
— Теперь нас ждут простор и слава! —
Другой восторженно сказал,
А третий посмотрел лукаво
И головою покачал! [1]

---

[1] Эти два последние стиха взяты у Лермонтова:
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал...

V

ФЕЛЬЕТОННАЯ БУКАШКА

Я — фельетонная букашка.
Ищу посильного труда.
Я, как ходячая бумажка,
Поистрепался, господа,

Но лишь давайте мне сюжеты,
Увидите — хорош мой слог.
Сначала я писал куплеты,
Состряпал несколько эклог,

Но скоро я стихи оставил,
Поняв, что лучший на земле
Тот род, который так прославил
Булгарин в «Северной Пчеле».

Я говорю о фельетоне. . .
Статейки я писать могу
В великосветском, модном тоне,
И будут хороши, не лгу.

Из жизни здешней и московской
Черты охотно я беру.
Знаком вам господин Пановский?
Мы с ним похожи по перу.

Известен я в литературе. . .
Угодно ль вам меня нанять?
Умел писать я при цензуре,
Так мудрено ль теперь писать?

Признаться, я попал невольно
В литературную семью.
Ох! было время — вспомнить больно!
Дрожишь, бывало, за статью.

Мою любимую идейку,
Что в Петербурге климат плох,
И ту не в каждую статейку
Вставлять я без боязни мог.

Однажды написал я сдуру,
Что видел на мосту дыру.
Переполошил всю цензуру,
Таскали даже ко двору!

Ну! дали мне головомойку,
С полгода поджимал я хвост.
С тех пор не езжу через Мойку
И не гляжу на этот мост!

Я надоел вам? извините!
Но старых ран коснулся я...
И вдруг... кто думать мог? .. скажите! ..
Горька была вся жизнь моя,

Но претерпев судьбы удары,
Под старость счастье я узнал:
Курил на улицах сигары
И без цензуры сочинял!

VI

ПУБЛИКА

1

Ай да свободная пресса!
Мало вам было хлопот?
Юное чадо прогресса
Рвется, брыкается, бьет,
Как забежавший из степи
Конь, незнакомый с уздой,
Или сорвавшийся с цепи
Зверь нелюдимый, лесной...

Боже! пошли нам терпенье!
Или цензура воспрянь!
Всюду одно осужденье,
Всюду нахальная брань!
В цивилизованном классе
Будто растленье одно,
Бедность безмерная в массе.
(Где же берут на вино?)
В каждом нажиться старанье,
В каждом продажная честь,

Только под шубой бараньей
Сердце хорошее есть!
Ох, этот автор злодейский!
Тоже хитрит иногда,
Думает лестью лакейской
Нас усыпить, господа!
Мы не хотим поцелуев,
Но и ругни не хотим...
Что ж это смотрит Валуев,[1]
Как этот автор терпим?
Слышали? Всё лишь подобье,
Всё у нас маска и ложь,
Глупость, разврат, узколобье...
Кто же умен и хорош?
Кто же всегда одинаков?
Истине друг и родня?
Ясно — премудрый Аксаков,
Автор премудрого «Дня»!
Пусть он таков, но за что же
Надоедает он всем?..
Чем это кончится, боже!..
Чем это кончится, чем?

Ай да свободная пресса!
Мало вам было хлопот?
Юное чадо прогресса
Рвется, брыкается, бьет,
Как забежавший из степи
Конь, незнакомый с уздой,
Или сорвавшийся с цепи
Зверь нелюдимый, лесной...

2

Нынче, журналы читая,
Просто не веришь глазам,
Слышали — новость какая?
Мы же должны мужикам!
Экой герой-сочинитель!
Экой вещун-богатырь!
Верно ли только, учитель,

---

[1] Тогдашний министр внутренних дел.

Вывел ты эту цыфирь?
Если ее ты докажешь,
Дай уж нам кстати совет:
Чем расплатиться прикажешь?
Суммы такой у нас нет!
Нет ничего, кроме модных,
Но пустоватых голов,
Кроме желудков голодных
И неоплатных долгов,
Кроме усов, бакенбардов
Да «как-нибудь» да «авось»...
Шутка ли! шесть миллиардов!
Смилуйся! что-нибудь сбрось!
Друг! ты стоишь на рогоже,
Но говоришь ты с ковра...
Чем это кончится, боже!..
Грешен, не жду я добра...

Ай да свободная пресса!
Мало вам было хлопот?
Юное чадо прогресса
Рвется, брыкается, бьет,
Как забежавший из степи
Конь, незнакомый с уздой,
Или сорвавшийся с цепи
Зверь нелюдимый, лесной...

3

Мало, что в сфере публичной
Трогают всякий предмет,
Жизни касаются личной!
Просто спасения нет!
Если за добрым обедом
Выпил ты лишний бокал
И, поругавшись с соседом,
Громкое слово сказал,
Не говорю уж — подрался
(Редко друг друга мы бьем),
Хоть бы ты тут же обнялся
С этим случайным врагом, —
Завтра ж в газетах напишут!
Господи! что за скоты!

Как они знают все, слышут! . .
Что потом сделаешь ты?
Ежели скажешь: «Вы лжете!»,
Он очевидцев найдет;
Если дуэлью пугнете,
Он вас судом припугнет.
Просто — не стало свободы,
Чести нельзя защитить! . .
Эх! эти новые моды!
Впрочем, есть средство: побить.
Но ведь, пожалуй, по роже
Съездит и он между тем.
Чем это кончится, боже! . .
Чем это кончится, чем? . .

Ай да свободная пресса!
Мало вам было хлопот?
Юное чадо прогресса
Рвется, брыкается, бьет,
Как забежавший из степи
Конь, незнакомый с уздой,
Или сорвавшийся с цепи
Зверь нелюдимый, лесной. . .

4

Все пошатнулось. . . О, где ты,
Время без бурь и тревог? . .
В бога не верят газеты,
И отрицают поэты
Пользу железных дорог!
Дыбом становится волос,
Чем наводнилась печать,
Даже умеренный «Голос»
Начал не в меру кричать;
Ни одного элемента
Не пропустил, не задев,
Он положеньем Ташкента
Разволновался, как лев;
Бдит он над западным краем,
Он о России болит,
С ожесточеньем и лаем
Он обо всем говорит!

Он изнывает в тревогах,
Точно ли вышел запрет:
Чтоб на железных дорогах
Не продавали газет?
Что — на дорогах железных!
Остановить бы везде.
Меньше бы трат бесполезных!
И без того мы в нужде.
Жизнь ежедневно дороже,
Деньги трудней между тем.
Чем это кончится, боже!
Чем это кончится, чем?..

Ай да свободная пресса!
Мало вам было хлопот?
Юное чадо прогресса
Рвется, брыкается, бьет,
Как забежавший из степи
Конь, незнакомый с уздой,
Или сорвавшийся с цепи
Зверь нелюдимый, лесной...

5

Право, конец бы таковский,
И не велика печаль!
Только газеты московской
Было б, признаться, нам жаль,
Впрочем... как пристально взвесить,
Так и ее — что жалеть!
Уж начала куролесить,
Может совсем ошалеть.
Прежде лишь мелкий чиновник
Был твоей жертвой, печать,
Если ж военный полковник —
Стой! ни полслова! молчать!
Но от чиновников быстро
Дело дошло до тузов,
Даже коснулся министра
Неустрашимый Катков.
Тронуто там у него же
Много забористых тем..,

Чем это кончится, боже!
Чем это кончится, чем? ..

Ай да свободная пресса!
Мало вам было хлопот?
Юное чадо прогресса
Рвется, брыкается, бьет,
Как забежавший из степи
Конь, незнакомый с уздой,
Или сорвавшийся с цепи
Зверь нелюдимый, лесной...

VII

ОСТОРОЖНОСТЬ

1

В Ледовитом океане
Лодка утлая плывет,
Молодой, пригожей Тане
Парень песенку поет:
«Мы пришли на остров дикий,
Где ни церкви, ни попов,
Зимовать в нужде великой
Здесь привычен зверолов;
Так с тобой, моей голубкой,
Неужли нам розно спать?
Буду я песцовой шубкой,
Буду лаской согревать!»
Хорошо поет, собака,
Убедительно поет!
Но ведь это против брака, —
Не нажить бы нам хлопот?
Оправдаться есть возможность,
Да не спросят — вот беда!
Осторожность, осторожность!
Осторожность, господа! ..

2

У солидного папаши
Либералка вышла дочь
(Говорят, журналы наши
Всё читала день и ночь),

Жениху с хорошим чином
Отказала, осердясь,
И с каким-то армянином
Обвенчалась, не спросясь.
В свете это сплошь бывает,
Это тиснуть мы могли б,
Но ведь это посягает
На родительский принцип!
За подобную оплошность
Не постигла б нас беда?
Осторожность, осторожность,
Осторожность, господа!..

3

Наш помещик Пантелеев
Век играл, мотал и пил,
А крестьянин Федосеев
Век трудился и копил —
И по улицам столицы
Пантелеев ходит гол,
А дворянские землицы
Федосеев приобрел.
В свете это все бывает,
Много есть таких дворян,
Но ведь это означает
Оскорблять дворянский сан.
Тисни, тисни! есть возможность, —
А потом дрожи суда...
Осторожность, осторожность,
Осторожность, господа!

4

Что народ ни добывает,
Все не впрок ему идет:
И подрядчик нажимает,
И торгаш с него дерет.
Уж таков теперь обычай —
Стонут, воют бедняки...
Ну — а класс-то ростовщичий?
Сгубят нас ростовщики!
Я желал бы их, проклятых,
Хорошенечко пробрать,

Но ведь это на богатых,
Значит, бедных натравлять?
Ну, какая же возможность
Так рискнуть? кругом беда!
Осторожность, осторожность,
Осторожность, господа!

5

Крестный ход в селе Остожье.
Вдруг «пожар!» кричит народ.
«Не бросать же дело божье —
Кончим прежде крестный ход».
И покудова с иконой
Обходили все село,
Искрой, ветром занесенной,
И другой посад зажгло.
Погорели! В этом много
Правды горькой и простой,
Но ведь это против бога,
Против веры... ой! ой! ой!
Тут полнейшая возможность
К обвиненью без суда...
Ради бога, осторожность,
Осторожность, господа!

VIII

ПРОПАЛА КНИГА!

1

Пропала книга! Уж была
Совсем готова — вдруг пропала!
Бог с ней, когда идее зла
Она потворствовать желала!
Читать маранье праздных дур
И дураков мы недосужны.
Не нужно нам плохих брошюр,
Нам нужен хлеб, нам деньги нужны!

Но, может быть, она была
Честна... а так резка, смела?
Две, три страницы роковые...
О, если так, ее мне жаль!

И, может быть, мою печаль
Со мной разделит вся Россия!

2

Уж напечатана — и нет! ..
Не познакомимся мы с нею;
Девица в девятнадцать лет
Не замечтается над нею;
О ней не будут рассуждать
Ни дилетант, ни критик мрачный,
Студент не будет посыпать
Ее листов золой табачной.

Пропала! с ней и труд пропал,
Затрачен даром капитал,
Пропали хлопоты большие...
Мне очень жаль, мне очень жаль,
И, может быть, мою печаль
Со мной разделит вся Россия!

3

Прощай! горька судьба твоя,
Бедняжка! Как зима настанет,
За чайным столиком семья
Гурьбой читать тебя не станет.
Не занесешь ты новых дум
В глухие, темные селенья,
Где изнывает русский ум
Вдали от центров просвещенья!

О, если ты честна была,
Что за беда, что ты смела?
Так редки книги не пустые...
Мне очень жаль, мне очень жаль,
И, может быть, мою печаль
Со мной разделит вся Россия!

БАЛЕТ

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Но, каюсь, *ножка Терпсихоры*
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой...
Пушкин

Свирепеет мороз ненавистный.
Нет, на улице трудно дышать.
Муза! нынче спектакль бенефисный,
Нам в театре пора побывать.

Мы вошли среди криков и плеска.
Сядем здесь. Я боюсь первых мест,
Что за радость ослепнуть от блеска
Генеральских, сенаторских звезд.
Лучезарней румяного Феба
Эти звезды: заметно тотчас,
Что они не нахватаны с неба —
Звезды неба не ярки у нас.

Если б смелым, бестрепетным взглядом
Мы решились окинуть тот ряд,
Что зовут «бриллиантовым рядом»,
Может быть, изощренный наш взгляд
И открыл бы предмет для сатиры
(В самом солнце есть пятнышки). Но —
Немы струны карающей лиры,
Вихорь жизни порвал их давно!

Знайте, люди хорошего тона,
Что я сам обожаю балет.
«Пораженным стрелой Купидона»
Не насмешка — сердечный привет!
Понапрасну не бейте тревогу!
Не коснусь ни военных чинов,
Ни на службе крылатому богу
Севших на ноги статских тузов.
Накрахмаленный денди и щеголь
(То есть: купчик — кутила и мот)
И мышиный жеребчик (так Гоголь
Молодящихся старцев зовет),
Записной поставщик фельетонов,
Офицеры гвардейских полков
И безличная сволочь салонов —
Всех молчаньем пройти я готов!
До балета особенно страстны
Армянин, персиянин и грек,
Посмотрите, как лица их красны,
(Не в балете ли весь человек?)
Но и их я оставлю в покое,
Никого не желая сердить.
Замышляю я нечто другое —
Я загадку хочу предложить.

В маскарадной и в оперной зале,
За игрой у зеленых столов,
В клубе, в думе, в манеже, на бале,
Словом: в обществе всяких родов,
В наслажденьи, в труде и в покое,
В блудном сыне, в почтенном отце, —
Есть одно — *угадайте, какое?* —
Выраженье на русском лице? ..
Впрочем, может быть, вам недосужно.
Муза! дай — если можешь — ответ!
Спору нет: мы различны наружно,
Тот чиновник, а этот корнет,
Тот помешан на тонком приличьи,
Тот играет, тот любит поесть,
Но вглядись: при наружном различьи
В нас единство глубокое есть:
Нас безденежье всех уравняло —

И великих и малых людей —
И на каждом челе начертало
Надпись: *где бы занять поскорей?*
Что, не так ли? ..
История та же,
Та же дума на каждом лице,
Я на днях прочитал ее даже
На почтенном одном мертвеце.
Если старец игрив чрезвычайно,
Если юноша вешает нос —
Оба, верьте мне, думают тайно:
Где бы денег занять? вот вопрос!

Вот вопрос! Напряженно, тревожно
Каждый жаждет его разрешить,
Но занять, говорят, невозможно,
Невозможнее долг получить.
Говорят, никаких договоров
Должники исполнять не хотят;
Генерал-губернатор Суворов
Держит сторону их, говорят...
Осуждают юристы героя,
Но ты прав, охранитель покоя
И порядка столицы родной!
Может быть, в долговом отделенье
Насиделось бы все населенье,
Если б был губернатор другой!

Разорило чиновников чванство,
Прожилась за границею знать,
Отчего оголело дворянство, —
Неприятно и речь затевать!
На цветы, на подарки актрисам,
Правда, деньги еще достаем,
Но зато пред иным бенефисом
Рубль на рубль за неделю даем.
Как же быть? Не дешевая школа
Поощрение граций и муз...
Вянет юность обоего пола,
Терпит даже семейный союз:
Тщетно юноши рыщут по ба́лам,
Тщетно барышни рядятся в пух —

Вовсе нет стариков с капиталом,
Вовсе нет с капиталом старух!
Сокрушаются Никольс и Плинке,[1]
Без почину товар их лежит,
Сбыта нет самой модной новинке
(Догадайтесь — откройте кредит!),
Не развозят картонок нарядных
Изомбар, Андрие и Мошра,[2]
А звонят у подъездов парадных
С неоплаченным счетом с утра.
Что модистки! злосчастные прачки
Ходят месяц за каждым рублем!
Опустели рысистые скачки,
Жизни нет за зеленым столом.
Кто, бывало, дурея с азарту,
Кряду игрывал по сту ночей,
Пообедав, поставит на карту
Злополучных пятнадцать рублей
И уходит походкой печальной
В думу, в земство и даже в семью
Отводить болтовней либеральной
Удрученную душу свою.
С богом, друг мой! В любом комитете
Побеседовать можешь теперь
О кредите, о звонкой монете,
Об «итогах» дворянских потерь,
И о «брате» в нагольном тулупе,
И о том, за какие грехи
Нас журналы ругают, и в клубе
Не дают нам стерляжьей ухи!
Там докажут тебе очевидно,
Что карьера твоя решена!

Да! трудненько и даже обидно
Жить, — такие пришли времена!
Купишь что-нибудь — дерзкий приказчик
Ассигнацию щупать начнет
И потом, опустив ее в ящик,
Долгим взором тебя обведет, —

---

[1] Хозяева английского магазина.
[2] Известные модистки.

Так и треснул бы! ..
Впрочем, довольно!
Продолжать бы, конечно, я мог,
Факты есть, но касаться их больно!
И притом сохрани меня бог,
Чтоб я стих мой подделкою серий
И кредитных бумаг замарал, —
«Будто нет благородней материй?» —
Мне отечески «некто» сказал.
С этим мненьем вполне я согласен,
Мир идей и сюжетов велик:
Например, как волшебно прекрасен
Бель-этаж — настоящий цветник!
Есть в России еще миллионы,
Стоит только на ложи взглянуть,
Где уселись банкирские жены —
Сотня тысяч рублей, что ни грудь!
В жемчуге лебединые шеи,
Бриллиант по ореху в ушах!
В этих ложах мужчины — евреи,
Или греки, да немцы в крестах.
Нет купечества русского (стужа
Напугала их, что ли?). Одна
Откупщица, втянувшая мужа
В модный свет, в бель-этаже видна.
Весела ты, но в этом веселье
Можно тот же вопрос прочитать.
И на шее твоей ожерелье —
Погодила б ты им щеголять!
Пусть оно красоты идеальной,
Пусть ты в нем восхитительна, но —
Не затих еще шопот скандальный,
Будто было в закладе оно:
Говорят, чтобы в нем показаться
На каком-то парадном балу, —
Перед гнусным менялой валяться
Ты решилась на грязном полу,
И когда возвращалась ты с бала,
Ростовщик тебя встретил — и снял
Эти перлы... Не так ли достала
Ты опять их? .. Кредит твой упал.
С горя запил супруг сокрушенный,

Бог бы с ним! Расставаться тошней
С этой чопорной жизнью салонной
И с разгулом интимных ночей;
С этим золотом, бархатом, шелком,
С этим счастьем послов принимать.
Ты готова бы с бешеным волком
Покумиться, — чтоб снова блистать,
Но свершились пути провиденья,
Все погибло — и деньги, и честь!
Нисходи же ты в область забвенья,
И супругу дай дух перевесть!
Слаще пить ему водку с дворецким,
«Не белы-то снеги» распевать,
Чем возиться с посольством турецким
И в ответ ему глупо мычать...

Тешить жен — богачам не забота,
Им простительна всякая блажь.
Но прискорбно душе патриота,
Что чиновницы рвутся туда ж.
Марья Саввишна! вы бы надели
Платье проще! — Ведь как ни рядись,
Не оденетесь лучше камелий
И богаче французских актрис!
Рассчитайтесь, сударыня, с прачкой,
Да в хозяйство прикиньте хоть грош,
А то с дочерью, с мужем, с собачкой
За полтину обед не хорош!

Марья Саввишна глаз не спускала
Между тем с старика со звездой.
Вообще в бель-этаже сияло
Много дам и девиц красотой.
Очи чудные так и сверкали,
Но кому же сверкали они?
Доблесть, молодость, сила — пленяли
Сердце женское в древние дни.
Наши девы практичней, умнее,
Идеал их — телец золотой,
Воплощенный в седом иудее,
Потрясающем грязной рукой
Груды золота...

Время антракта
Наконец-то прошло как-нибудь.
(Мы зевали два первые акта,
Как бы в третьем совсем не заснуть.)
Все бинокли приходят в движенье —
Появляется кор-де-балет.
Здесь позволю себе отступленье:
Сооветственной живости нет
В том размере, которым пишу я,
Чтобы прелесть балета воспеть.
Вот куплеты: попробуй, танцуя,
Театрал, их под музыку петь!

Я был престранных правил —
Поругивал балет.
Но раз бинокль подставил
Мне генерал сосед.

Я взял его с поклоном
И с час не возвращал,
«Однако, вы — *астроном!*» —
Сказал мне генерал.

Признаться, я немножко
Смутился (о профан!)
«Нет... я... но эта ножка...
Но эти плечи... стан...» —

Шептал я генералу,
А он, смеясь, в ответ:
«*В стремленьи к идеалу*
Дурного, впрочем, нет.

Не все ж читать вам Бокля!
Не стоит этот Бокль
Хорошего бинокля...
Купите-ка бинокль!..»

Купил! — и пред балетом
Я преклонился ниц.
Готов я быть поэтом
Прелестных танцовщиц!

Как не любить балета?
Здесь мирный гражданин
Позабывает лета,
Позабывает чин.

И только ловят взоры
В услужливый лорнет,
Что́ «ножкой Терпсихоры»
Именовал поэт.

Не так следит астроном
За новою звездой,
Как мы... но для чего нам
Смеяться над собой?

В балете мы наивны,
Мы глупы в этот час:
Почти что конвульсивны
Движения у нас:

Вот выпорхнула дева,
Бинокли поднялись;
Взвилася ножка влево —
Мы влево подались;

Взвилася ножка вправо —
Мы вправо... — Берегись!
Не вывихни сустава,
Приятель... «Фора! bis!»

—

Bis!.. Но девы, подобные ветру,
Улетели гирляндой цветной!
(Возвращаемся к прежнему метру):
Пантомимною сценой большой
Утомились мы; вальс африканский
Тоже вышел топорен и вял,
Но явилась в рубахе крестьянской
Петипа — и театр застонал!
Вообще мы наклонны к искусству,
Мы его поощряем, но там,
Где есть пища народному чувству,
Торжество настоящее нам;

Неужели молчать славянину,
Неужели жалеть кулака,
Как Бернарди затянет «Лучину»,
Как пойдет Петипа трепака? ..
Нет! где дело идет о народе,
Там я первый увлечься готов.
Жаль одно: в нашей скудной природе
На венки нехватает цветов!

Всё — до ластовиц белых в рубахе —
Было верно: на шляпе цветы,
Удаль русская в каждом размахе...
Не артистка — волшебница ты!
Ничего не видали вовеки
Мы сходней: настоящий мужик!
Даже немцы, евреи и греки,
Русофильствуя, подняли крик.
Все слилось в оглушительном «браво»,
Дань народному чувству платя.
Только ты, моя муза! лукаво
Улыбаешься... Полно, дитя!
Неуместна здесь строгая дума,
Неприлична гримаса твоя...
Но молчишь ты, скучна и угрюма...
Что ж ты думаешь, муза моя?

На конек ты попала обычный —
На уме у тебя мужики,
За которых на сцене столичной
Петипа пожинает венки,
И ты думаешь: Гурия рая!
Ты мила, ты воздушно легка,
Так танцуй же ты «Деву Дуная»,
Но в покое оставь мужика!
В мерзлых лапотках, в шубе нагольной,
Весь заиндевев, сам за себя
В эту пору он пляшет довольно,
Зиму дома сидеть не любя.
Подстрекаемый лютым морозом,
Совершая дневной переход,
Пляшет он за скрипучим обозом,
Пляшет он — даже песни поет! ..

А то есть и такие обозы —
(Вот бы Роллер нам их показал!)
В январе, когда крепки морозы
И народ уже рекрутов сдал,
На Руси, на проселках пустынных
Много тянется поездов длинных. . .

Прямиком через реки, поля
Едут путники узкой тропою:
В белом саване смерти земля,
Небо хмурое, полное мглою,
От утра до вечерней поры
Все одни пред глазами картины.
Видишь, как, обнажая бугры,
Ветер снегом заносит лощины,
Видишь, как эта снежная пыль,
Непрерывной волной набегая,
Под собой погребает ковыль,
Всегубящей зиме помогая;
Видишь, как под кустом иногда
Припорхнет эта милая пташка,
Что от нас не летит никуда —
Любит скудный наш север, бедняжка!
Или, щелкая, стая дроздов
Пролетит и посядет на ели.
Слышишь дикие стоны волков
И визгливое пенье метели. . .
Снежно, холодно, мгла и туман. . .
И по этой унылой равнине
Шаг за шагом идет караван
С седоками в промерзлой овчине.

Как немые, молчат мужики,
Даже песня никем не поется,
Бабы спрятали лица в платки,
Только вздох иногда пронесется
Или крик: «Ну! чего отстаешь? —
Седоком одним меньше везешь! . .»

Но напрасно мужик огрызается.
Кляча еле идет — упирается;
Скрипом, визгом окрестность полна.

Словно до́ сердца поезд печальный
Через белый покров погребальный
Режет землю — и стонет она,
Стонет белое снежное море...
Тяжело ты — крестьянское горе!

Ой ты, кладь, незаметная кладь!
Где придется тебя выгружать?..

Как от выстрела дым расползается
На заре по росистым травам,
Это горе идет — подвигается
К тихим селам, к глухим деревням.
Вон — направо — избенки унылые,
Отделилась подвода одна,
Кто-то молвил: «Господь с вами, милые!»
И пропала в сугробах она...

Чу! клячонку хлестнул старичина...
Эх, чего ты торопишь ее?
Как-то ты, воротившись без сына,
Постучишься в окошко свое?..

В сердце самое русского края
Доставляется кладь роковая!

Где до солнца идет за порог
С топором на работу кручина,
Где на белую скатерть дорог
Поздним вечером светит лучина,
Там найдется кому эту кладь
По суровым сердцам разобрать,
Там она приютится, попрячется —
До другого набора проплачется!

* * *

Ликует враг, молчит в недоумсньи
Вчерашний друг, качая головой,
И вы, и вы отпрянули в смущеньи,
Стоявшие бессменно предо мной
Великие, страдальческие тени,

О чьей судьбе так горько я рыдал,
На чьих гробах я преклонял колени
И клятвы мести грозно повторял.
Зато кричат безличные: «Ликуем!»,
Спеша в объятья к новому рабу
И пригвождая жирным поцелуем
Несчастного к позорному столбу.

ПЕСНИ

I

У людей-то в дому — чистота, лепота,
А у нас-то в дому — теснота, духота.

У людей-то для щей — с солонинкою чан,
А у нас-то во щах — таракан, таракан!

У людей кумовья — ребятишек дарят,
А у нас кумовья наш же хлеб приедят!

У людей на уме — погуторить с кумой,
А у нас на уме — не пойти бы с сумой?

Кабы так нам зажить, чтобы свет удивить:
Чтобы деньги в мошне, чтобы рожь на гумне;

Чтоб шлея в бубенцах, расписная дуга,
Чтоб сукно на плечах, не посконь-дерюга;

Чтоб не хуже других нам почет от людей,
Поп в гостях у больших, у детей — грамотей;

Чтобы дети в дому, словно пчелы в меду,
А хозяйка в дому — как малинка в саду!

II

КАТЕРИНА

Вянет, пропадает красота моя!
От лихого мужа нет в дому житья.

Пьяный все колотит, трезвый все ворчит,
Сам, что ни попало, из дому тащит!

Не того ждала я, как я шла к венцу!
К братцу я ходила, плакалась отцу,

Плакалась соседям, плакалась родной,
Люди не жалеют — ни чужой, ни свой!

«Потерпи, родная, — старики твердят, —
Милого побои недолго болят!»

«Потерпи, сестрица! — отвечает брат, —
Милого побои недолго болят!»

«Потерпи! — соседи хором говорят, —
Милого побои недолго болят!»

Есть солдатик — Федя, дальняя родня,
Он один жалеет, любит он меня;

Подмигну я Феде, — с Федей мы вдвоем
Далеко хлебами за село уйдем.

Всю открою душу, выплачу печаль,
Все отдам я Феде — все, чего не жаль!

«Где ты пропадала?» — спросит муженек.
— Где была, там нету! так-то, мил дружок!

Посмотреть ходила, высока ли рожь! —
«Ах ты, дура баба! ты еще и врешь...»

Станет горячиться, станет попрекать...
Пусть себе бранится, мне не привыкать!

А и поколотит — невелик наклад —
Милого побои недолго болят!

III

МОЛОДЫЕ

Повенчавшись, Парасковье
Муж имущество казал:
Это стойлице коровье,
А корову бог прибрал!

Нет перинки, нет кровати,
Да теплы в избе полати,
А в клети, вместо телят,
Два котеночка пищат!

Есть и овощь в огороде —
Хрен да луковица,
Есть и медная посуда —
Крест да пуговица!

IV

СВАТ И ЖЕНИХ

(В кабаке за полуштофом)

1

Ну-тко! Марья у Зиновья,
У Никитишны Прасковья,
Степанида у Петра —
Все невесты, всем пора!
У Кондратьевны Орина, —
Что ни девка, то малина!
Думай, думай! выбирай!
По любую засылай!
Марья малость рябовата,
Да смиренна, важевата,
Марья, знаешь, мне сродни,
Будет с мужем — ни-ни-ни!
— Ай да Марья! Марья — клад!
Сватай Марью, Марью, сват!
Нам с лица не воду пить,
И с корявой можно жить,
Да чтоб мужу на порог
Не вставала поперек!
Ай да Марья! Марья — клад!
Сватай Марью, Марью, сват!

2

Ну-тко! Вера у Данилы,
Палагея у Гаврилы,
Секлетея у Фрола —
Замуж всем пришла пора!

У Никиты — Катерина,
Что ни девка, то малина!
Думай, думай — выбирай;
По любую засылай!
Марья, знаешь, щедровита,
Да работать, ух! сердита!
Марья костью широка,
Высока, статна, гладка!
    Ай да Марья! Марья — клад!
    Сватай Марью, Марью, сват!
    Нам с лица не воду пить,
    И с корявой можно жить,
    Да чтоб мясо на костях,
    Чтобы силушка в руках!
    Ай да Марья! Марья — клад!
    Сватай Марью, Марью, сват! . .

3

Ну-тко! Анна у Егора,
У Антипки Митродора,
Александра у Петра —
Все невесты, всем пора!
У Евстратья — Акулина,
Что ни девка, то малина!
Думай, думай — выбирай!
По любую засылай!
Марья, точно, щедровита,
Да хозяйка домовита:
Все примоет, приберет,
Все до нитки сбережет!
    Ай да Марья! Марья — клад!
    Сватай Марью, Марью, сват!
    Нам с лица не воду пить,
    И с корявой можно жить,
    Да чтоб по двору прошла,
    Всех бы курочек сочла!
    Ай да Марья! Марья — клад!
    Сватай Марью, Марью, сват!

(Спрашивают еще полуштоф и начинают снова).

V

ГИМН

Господь! твори добро народу!
Благослови народный труд,
Упрочь народную свободу,
Упрочь народу правый суд!

Чтобы благие начинанья
Могли свободно возрасти,
Разлей в народе жажду знанья
И к знанью укажи пути!

И от ярма порабощенья
Твоих избранников спаси,
Которым знамя просвещенья,
Господь! ты вверишь на Руси! ..

* * *

(ПОСВЯЩАЕТСЯ НЕИЗВЕСТНОМУ ДРУГУ, ПРИСЛАВШЕМУ МНЕ СТИХОТВОРЕНИЕ „НЕ МОЖЕТ БЫТЬ“)

Умру я скоро. Жалкое наследство,
О родина! оставлю я тебе.
Под гнетом роковым провел я детство
И молодость — в мучительной борьбе.
Недолгая нас буря укрепляет,
Хоть ею мы мгновенно смущены,
Но долгая — навеки поселяет
В душе привычки робкой тишины.
На мне года гнетущих впечатлений
Оставили неизгладимый след.
Как мало знал свободных вдохновений,
О родина! печальный твой поэт!
Каких преград не встретил мимоходом
С своей угрюмой музой на пути?
За каплю крови, общую с народом,
И малый труд в заслугу мне сочти!

Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука... Давно я одинок;
Вначале шел я с дружною семьею,
Но где они, друзья мои, теперь?
Одни давно расстались со мною,
Перед другими сам я запер дверь;
Те жребием постигнуты жестоким,
А те прешли уже земной предел...
За то, что я остался одиноким,
Что я ни в ком опоры не имел,
Что я, друзей теряя с каждым годом,
Встречал врагов все больше на пути —

За каплю крови, общую с народом,
Прости меня, о родина! прости!..

Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым бог тебя ведет;
Но, жизнь любя, к ее минутным благам
Прикованный привычкой и средой,
Я к цели шел колеблющимся шагом,
Я для нее не жертвовал собой,
И песнь моя бесследно пролетела
И до народа не дошла она.
Одна любовь сказаться в ней успела
К тебе, моя родная сторона!
За то, что я, черствея с каждым годом,
Ее умел в душе моей спасти,
За каплю крови, общую с народом,
Мои вины, о родина! прости!

ВЫБОР

Ночка сегодня морозная, ясная.
В горе стоит над рекой
Русская девица, девица красная,
Щупает прорубь ногой.
Тонкий ледок под ногою ломается,
Вот на него набежала вода;
Царь водяной из воды появляется,
Шепчет: «Бросайся, бросайся сюда:
Любо здесь!» Девица, зову покорная,
Вся наклонилась к нему.
«Сердце покинет кручинушка черная,
Только разок обойму,
Прянь!..» И руками к ней длинными тянется...

Синие льды затрещали кругом,
Дрогнула девица! Ждет — не оглянется —
Кто-то шагает, идет прямиком.
«Прянь! Будь царицею царства подводного!..»
Тут подошел воевода Мороз:

— Я тебя, я тебя, вора негодного!
Чуть было девку мою не унес! —
Белый старик с бородою пушистою
На воду трижды дохнул,
Прорубь подернулась корочкой льдистою,
Царь водяной подо льдом потонул.

Молвил Мороз: — Не топися, красавица!
Слез не осушишь водой,
Жадная рыба, речная пиявица,
Там твой нарушит покой;
Там защекотят тебя водяные,
Раки вопьются в высокую грудь,
Ноги опутают травы речные.
Лучше со мной эту ночку побудь!
К утру я горе твое успокою,
Сладкие грезы его усыпят,
Будешь ты так же пригожа собою,
Только красивее дам я наряд:
В белом венке голова засияет
Завтра, чуть красное солнце взойдет. —

Девица берег реки покидает,
К темному лесу идет.

Села на пень у дороги: ласкается
К ней воевода-старик.
Дрогнется, зубы колотят — зевается —
Вот и закрыла глаза... забывается...
Вдруг разбудил ее Лешего крик:

«Девонька! встань ты на резвые ноги,
Долго Морозко тебя протомит.
Спал я и слышал давно: у дороги
Кто-то зубами стучит,
Жалко мне стало. Иди-ка за мною,
Что за охота всю ноченьку ждать!
Да и умрешь — тут не будет покою:
Станут оттаивать, станут качать!
Я заведу тебя в чащу лесную,
Где никому до тебя не дойти,
Выберем, девонька, сосну любую...»
Девица с Лешим решилась итти.

Идут. Навстречу медведь попадается.
Девица вскрикнула — страх обуял.
Хохотом Лешего лес наполняется:
«Смерть не страшна, а медведь испугал!
Экой лесок, что ни дерево — чудо!
Девонька! глянь-ка, какие стволы!
Глянь на вершины — с синицу оттуда
Кажутся спящие летом орлы!
Темень тут вечная, тайна великая,
Солнце сюда не доносит лучей,
Буря взыграет — ревущая, дикая —
Лес не подумает кланяться ей!
Только вершины поропщут тревожно...
Ну, полезай! подсажу осторожно...
Люб тебе, девица, лес вековой!
С каждого дерева броситься можно
Вниз головой!»

СЦЕНЫ ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ „МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА“

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена третья

Зимняя картина. Равнина, занесенная снегом, кое-где деревья, пни, кустарник; впереди — сплошной лес. По направлению к лесу, без дороги, кто на лыжах, кто на четвереньках, кто барахтаясь по пояс в снегу, тянется вереница загонщиков, человек сто: мужики, отставные солдаты, бабы, девки, мальчики и девочки. Каждый и каждая с дубинкою; у некоторых мужиков ружья. За народом Савелий, окладчик, продавший медведя и распоряжающийся охотою. По дороге, протаптываемой народом, пробираются, часто спотыкаясь, господа охотники. Впереди князь Воехотский, старик лет 65, сановник; за ним барон фон-дер-Гребен, нечто в роде посланника, важная надменная фигура, лет 50. Он изредка переговаривается с Воехотским, но оба они более заняты трудным процессом ходьбы. За ними Миша, плотный, полнолицый господин лет 45, действительный статский советник, служит, здоров до избытка, шутник и хохотун; рядом с ним Пальцов, господин лет 50, не служил и не служит. Они горячо разговаривают.

Миша и Пальцов продолжают прежде начатый разговор.

Пальцов

...Что ты ни говори, претит душе моей
Тот круг, где мы с тобою бродим:

Двух-трех порядочных людей
На сотню франтов в нем находим.
А что такое русский франт?
Все совершенствуется в свете,
А у него единственный талант,
Единственный прогресс — в жилете.
Вино, рысак, лоретка — тут он весь
И с внутренним и с внешним миром.
Его тщеславие вращается доднесь
Между конюшней и трактиром.
Программа жалкая его —
Не делать ровно ничего,
Считая глупостью и ложью
Все, кроме светской суеты;
Гнушаться чернью, быть на «ты»
Со всею именитой молодежью;
За недостатком гордости в душе,
Являть ее в своей осанке;
Дрожать для дела на гроше
И тысячи бросать какой-нибудь цыганке;
Знать наизусть Елен и Клеопатр,
Наехавших из Франции в Россию,
Ходить в Михайловский театр
И презирать — *Александрию*.
Французским jeunes premiers в манерах подражать,
Искусно на коньках кататься,
На скачках призы получать
И каждый вечер напиваться
В трактирах и в других домах,
С отличной стороны известных,
Или в Милютиных рядах,
За лавками, в конурах тесных,
Где царствует обычай вековой
Не мыть полов, салфеток, стклянок,
Куда влекут они с собой
И чопорных, брезгливых парижанок,
Чтобы в разгаре кутежа
В угоду пристающим спьяна
Есть устрицы с железного ножа
И пить вино из грязного стакана!

В одном прогресс являет он, —
Наш милый франт, — что все мельчает,
Лет в двадцать волосы теряет.
Тщедушен, ростом умален
И слабосилием наказан.
Стаканом можно каждого споить
И каждого нетрудно удавить
На узкой ленточке, которой он повязан!

Миша

Ты метко франтов очертил.

Пальцов

Одно я только позабыл,
Коснувшись этой тли снаружи,
Что эти полумертвецы,
Развратом юности ослабленные души,
Невежды, если не глупцы, —
Со временем родному краю
Готовятся...

Миша

Я понимаю.
Но не одних же пустомель
Встречаем мы и в светском мире:
Есть люди — их понятья шире,
Доступна им живая цель.
Сбери-ка эти единицы,
Таланты, знания, умы,
С великорусской Костромы
До полурусской Ниццы,
Соедини-ка их в одно
Разумным, общерусским делом...

Пальцов

Соединить их — мудрено!
Занесся ты, в порыве смелом,
Бог весть куда, любезный друг!
Вернись-ка к фактам!

Миша

Факты трудны!
Не говорю, чтоб были скудны,

Но не припомнишь вдруг!
Я сам не слишком обольщаюсь,
Не ждал я и не жду чудес,
Но твердо за одно ручаюсь,
Что с мели сдвинул нас прогресс.
Вот, например: давно не очень
Жизнь на Руси груба была
И, как под музыку, текла
Под град ругательств и пощечин:
Тот звук, как древней драме хор,
Необходим был жизни нашей.
Ну, а теперь — гуманный спор,
Игривый спич за полной чашей!

Пальцов

Вот чудо!

Миша

Чуда, друг мой, нет,
Но все же выигрыш в итоге.
Засевши на большой дороге
С дворовой челядью, мой дед
Был, говорят, грозою краю,
А я — его любезный внук —
Я друг народа, друг наук,
Я в комитетах заседаю!

Пальцов

Ты шутишь?

Миша

Нет, я не шучу!
Я этой резкостью сравненья
Одно сказать тебе хочу:
«Держись на русской точке зренья» —
И ты утешишься, друг мой!
Не слишком длинное пространство
Нас разделяет с стариной,
Но уж теперь не то дворянство,
В литературе дух иной,
Администраторы иные. . .

Пальцов

Да! люди тонко развитые!
О них судить не нашему уму,

Довольно с нас благоговеть, гордиться.
Ты эпитафию читал ли одному?
По-моему, десяткам пригодится!
«Систему полумер приняв за идеал,
Ни прогрессист, ни консерватор,
Добро ты портил, зла не улучшал,
Но честный был администратор. . .»
В администрацию попасть большая честь
Но будь талант — пути открыты,
И надобно признаться, все в ней есть,
Есть даже, кажется, спириты!

Миша

Давно ли чуждо было нам
Все, кроме личного расчета?
Теперь к общественным делам
Явилась рьяная забота!

Пальцов
(смеется)

С тех пор, как родину прогресс
Поставил в новые условья,
О Русь! вселился новый бес
Почти во все твои сословья.
То бес «общественных забот».
Кто им не одержим? Но — чудо! —
Немного выиграл народ,
И легче нет ему покуда
Ни от чиновных мудрецов,
Ни от фанатиков народных,
Ни от начитанных глупцов,
Лакеев мыслей благородных!

Миша

Ну, зол ты стал, как погляжу!
Прослыть стараясь Вельзевулом,
Ты и себя ругнул огулом.
А я опять-таки скажу:
Часть общества по мере сил развита;
Не сплошь мы пошлости рабы:
Есть признаки осмысленного быта,
Есть элементы для борьбы.

У нас есть крепостник-плантатор,
Но есть и честный либерал;
Есть заскорузлый консерватор,
А рядом — сам ты замечал —
Великосветский радикал!

Пальцов

Двух слов без горечи не бросит,
Без грусти ни на чем не остановит глаз.
Он не идет, а, так сказать, проносит
Себя, как контрабанду, среди нас.
Шалит землевладелец крупный,
Морочит модной маской свет,
Иль точно тайной недоступной
Он полон — невелик секрет!

Миша

И то уж хорошо, что времена пришли
Брать эти — не другие роли...
Давно ли мы безгласно шли,
Куда погонят нас, давно ли?
Теперь, куда ни посмотри,
Зачатки критики, стремленье...

Пальцов

(с гневом)

Пожалуйста, не говори
Про русское общественное мненье!
Его нельзя не презирать
Сильней невежества, распутства, тунеядства;
На нем предательства печать
И непонятного злорадства!
У русского особый взгляд,
Преданьям рабства страшно верен:
Всегда побитый виноват,
А битым — счет потерян!
Как будто с умыслом силки
Мы расставляем мысли смелой:
Сперва — сторонников полки,
Восторг почти России целой,
Потом — усталость; наконец
Все настороже, все в тревоге,

И покидается боец
Почти один на полдороге...
Победа! мимо всех преград
Прошла и принялась идея:
Ура! кричим мы, не робея,
И тот, кто рад, и кто не рад.
Зато с каким зловещим тактом
Мы неудачу сторожим!
Заметив облачко над фактом,
Как стушеваться мы спешим!
Как мы вертим хвостом лукаво,
Как мы уходим величаво
В скорлупку пошлости своей!
Как негодуем, как клевещем,
Как ретроградам рукоплещем,
Как выдаем своих друзей!
Какие слышатся аккорды
В постыдной оргии тогда!
Какие выдвинутся морды
На первый план! Гроза, беда!
Облава — в полном смысле слова!..
Свалились в кучу — и готово
Холопской дури торжество,
Мычанье, хрюканье, блеянье
И жеребячье гоготанье —
А-ту его! а-ту его!..

Не так ли множество идей
Погибло несомненно важных,
Помяв порядочных людей
И выдвинув вперед продажных?
Нам все равно! Не дорожим
Мы шагом к прочному успеху.
Прогресс?.. его мы не хотим —
Нам дай новинку, дай потеху!
И вот новинке всякий рад
День, два; все полны грез и веры.
А завтра с радостью глядят,
Как «рановременные» меры
Теряют должные размеры
И с треском пятятся назад!..

Народ впереди остановился. Остановились и охотники. Савелий, объяснив что-то князю Воехотскому, причем таинственно указывал по направлению к лесу, подходит к Пальцову и Мише.

Савелий

На нумера извольте становиться.
Теперь нельзя курить
И громко говорить здесь не годится.

Миша

Что ж можно? Можно водку пить!

Хохочет и, наливая из фляжки, потчует Пальцова и пьет сам. Савелий, расставив охотников по цепи в расстоянии шагов пятидесяти друг от друга, разделяет народ на две половины: одна молча и с предосторожностями отправляется по линии круга направо, другая налево.

Сцена четвертая

Барон фон-дер-Гребен и князь Воехотский на № 5-м. Барон сидит на складном стуле; снег около него утоптан, под ногами ковер. Близ него прислонены к дереву три штуцера со взведенными курками. В нескольких шагах от него, сзади, мужик-охотник с рогатиной.

Кн. Воехотский

(подходя к барону с своего, соседнего нумера)

Теперь, барон, вы видели природу,
Вы видели народ наш?

Барон

И не мог
Не заключить, что этому народу
Пути к развитью заградил сам бог.

Кн. Воехотский

Да! да! непобедимые условья!
Но, к счастию, народ не выше их:
Невежество, бесчувственность воловья
Полезны при условиях таких.

Барон

Когда природа отвечать не может
Потребностям, которые родит
Развитие, — оно беды умножит
И только даром страсти распалит.

Кн. Воехотский

Вы угадали мысль мою: нелепо
В таких условьях просвещать народ.
На почве, где с трудом родится репа,
С развитием банан не расцветет.
Нам не указ Европа: там избыток
Во всех дарах, по милости судеб;
А здесь один суровый черный хлеб
Да из него же гибельный напиток!
И средства нет прибавить что-нибудь.
Болото, мох, песок — куда ни взглянешь!
Не проведешь сюда железный путь,
К путям железным весь народ не стянешь!
А здесь — вот, например, зимой —
Какие тут возможны улучшенья? ..
Хоть лошадям убавьте-ка мученья,
    Устройте экипаж другой!
Здесь мужику, что вышел за ворота,
Кровавый труд, кровавая борьба;
За крошку хлеба капля пота —
Вот в двух словах его судьба!
Его сама природа осудила
На грубый труд, неблагодарный бой
И от отчаянья разумно оградила
Невежества спасительной броней.
Его удел — безграмотство, беспутство,
Убожество и чувством, и умом,
Его узда — налоги, труд, рекрутство,
Его утеха — водка с дурманом!

Барон

So, so...

Сцена пятая

Пальцов и Миша

На № 1-м. К Пальцову подходит со своего нумера Миша.

Миша

Еще не скоро выйдет зверь...
Покамест приведем-ка в ясность
То время, как слова «свобода», «гласность»,
Которыми набили мы теперь

Оскому, как незрелыми плодами,
Не слышались и в шутку между нами,
Когда считался зверем либерал,
Когда слова: «общественное благо»
И произнесть нужна была отвага,
Которою никто не обладал!
Когда одни житейские условья
Сближали нас, а попросту расчет,
И лишь в одном сливались все сословья,
Что дружно налегали на народ...

Пальцов

Великий век, когда блистал
Среди безгласных поколений
Администратор-генерал
И откупщик — кабачный гений!

Миша

Ты, думаю, охоту на двуногих
Застал еще в ребячестве своем.
Слыхал ты вопли стариков убогих
И женщин, засекаемых кнутом?
Я думаю, ты был не полугода
И не забыл порядки тех времен,
Когда, в ответ стенаниям народа,
Мысль русская стонала в полутон?

Пальцов

Великий век — великих мер!
«Не рассуждать — повиноваться!»
Девиз был общий; сам Гомер
Не смел Омиром называться.

Миша

Припомни, как в то время золотое
Учили нас? Раздолье-то какое!
Сын барина, чиновника, князька
Настолько норовил образоваться,
Чтоб на чужие плечи забираться
Уметь — а там дорога широка!
Три фазиса дворянское развитье
Прекрасные являло нам тогда:
В дни юности — кутеж и стеклобитье,

Наука жизни — в зрелые года
(Которую не в школах европейских —
Мы черпали в гостиных и лакейских),
И, наконец, заветная мечта —
Почетные, доходные места. . .

Припомнил ты то время золотое,
Которого исчадье мы прямое,
Припомнил? — Ну, так полюбуйся им!

Как яблоню качает проходящий,
Весь занятый минутой настоящей,
Желанием одним руководим —
Набрать плодов и дале в путь пуститься,
Не думая, что много их свалится,
Которых он не сможет захватить,
Которые напрасно будут гнить:
Так русское общественное древо,
Кто только мог, направо и налево
Раскачивал, спеша набить карман,
Не думая о том, что будет дале. . .
Мы все тогда жирели, наживали,
Все. . . кроме, разумеется, крестьян. . .
Да в стороне стоял один, печален,
Тогдашний чистоплотный либерал;
Он рук в грязи житейской не марал,
Он для того был слишком идеален,
Но он зато не делал ничего. . .

Пальцов

О ком ты говоришь?

Миша

В литературе
Описан он достаточно: его
Прозвали «лишним». Честный по натуре,
Он был аристократ, гуляка и лентяй;
Избыточно снабженный всем житейским,
Следил он за движеньем европейским. . .

Пальцов

Да это — я!

Миша

Как хочешь понимай!
Тип был один, оттенков было много,
Судили их тогда довольно строго,
Но я недавно начал понимать,
Что мы добром должны их поминать...

Диалектик обаятельный,
Честен мыслью, сердцем чист!
Помню я твой взор мечтательный,
Либерал-идеалист!
Созерцающий, читающий,
С неотступною хандрой
По Европе разъезжающий
Здесь и там — всему чужой.
Для действительности скованный,
Верхоглядом жил ты зря,
Ты бродил разочарованный,
Красоту боготворя;
Всё с погибшими созданьями
Да с брошюрами возясь,
Наполняя ум свой знаньями,
Обходил ты жизни грязь:
Грозный деятель в теории,
Беспощадный радикал,
Ты на улице истории
С полицейским избегал;
Злых, надменных, угнетающих
Лишь презреньем ты карал,
Не спасал ты утопающих,
Но и в воду не толкал...
Ты, в котором чуть не гения
Долго видели друзья,
Рыцарь доброго стремления
И беспутного житья!
Хоть реального усилия
Ты не сделал никогда,
Чувству горького бессилия
Подчинившись навсегда, —
Всё же чту тебя и ныне я,
Я люблю припоминать

На челе твоем уныния
Беспредельного печать:
Ты стоял перед отчизною,
Честен мыслью, сердцем чист,
Воплощенной укоризною,
Либерал-идеалист!

Пальцов

Куда ж девались люди эти?

Миша

Бог весть! Я не встречаю их.
Их песня спета — что нам в них?
Герои слова, а на деле — дети!
Да! одного я встретил: глуп, речист
И стар, как возвращенный декабрист.
В них вообще теперь немного толку.
Мудрейшие достали втихомолку
Такого рода прочные места,
Где служба по возможности чиста,
И, средние оклады получая,
Не принося ни пользы, ни вреда,
Живут себе под старость припевая;
За то теперь клеймит их иногда
Предателями племя молодое;
Но я ему сказал бы: не забудь,
Кто выдержал то время роковое,
Есть от чего тому и отдохнуть.
Бог нá помочь! бросайся прямо в пламя,
И погибай...
Но, кто твое держал когда-то знамя,
Тех не пятнай!
Не предали они — они устали
Свой крест нести,
Покинул их дух Гнева и Печали
На полпути...

—

Еще добром должны мы помянуть
Тогдашнюю литературу,
У ней была задача: как-нибудь
Намеком натолкнуть на честный путь
К развитию способную натуру...,

Хорошая задача! Не забыл,
Я думаю, ты истинных светил,
Отметивших то время роковое:
Белинский жил тогда, Грановский, Гоголь жил,
Еще найдется славных двое, трое —
У них тогда училось всё живое...

Белинский был особенно любим...
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!

В те дни, как все коснело на Руси,
Дремля и раболепствуя позорно,
Твой ум кипел — и новые стези
Прокладывал, работая упорно.

Ты не гнушался никаким трудом:
«Чернорабочий я — не белоручка!» —
Говаривал ты нам — и напролом
Шел к истине, великий самоучка!

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе.
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе...

Недаром ты, мужая по часам,
На взгляд глупцов казался переменчив,
Но, пред врагом заносчив и упрям,
С друзьями был ты кроток и застенчив.

Не думал ты, что сто́ишь ты венца,
И разум твой горел не угасая,
Самим собой и жизнью до конца
Святое недовольство сохраняя —

То недовольство, при котором нет
Ни самообольщенья, ни застоя,
С которым и на склоне наших лет
Постыдно мы не убежим из строя, —

То недовольство, что душе живой
Не даст восстать противу новой силы

За то, что заслоняет нас собой
И старцам говорит: «Пора в могилы!»

—

Грановского я тоже близко знал —
Я слушал лекции его три года.
Великий ум! счастливая природа!
Но говорил он лучше, чем писал.
Оно и хорошо — писать не время было:
Почти что ничего тогда не проходило!
    Бывали случаи: весь век
    Считался умным человек,
    А в книге глупым очутился:
    Пропал и ум, и слог, и жар,
Как будто с бедным приключился
    Апоплексический удар!

Когда же в книгах будем мы блистать
Всей русской мыслью, речью, даром,
А не заиками хромыми выступать
С апоплексическим ударом?..

—

Перед рядами многих поколений
Прошел твой светлый образ; чистых впечатлений
И добрых знаний много сеял ты,
Друг Истины, Добра и Красоты!
Пытлив ты был: искусство и природа,
Наука, жизнь — ты все познать желал,
И в новом творчестве ты силы почерпал,
И в гении угасшего народа...
И всем делиться с нами ты хотел!
Не диво, что тебя мы горячо любили:
Терпимость и любовь тобой руководили.
Ты настоящее оплакивать умел
И брата узнавал в рабе иноплеменном,
От нас веками отдаленном!
Готовил родине ты честных сыновей,
Провидя луч зари за непроглядной далью.
Как ты любил ее! Как ты скорбел о ней!
Как рано умер ты, терзаемый печалью!
Когда над бедной русскою землей

Заря надежды медленно всходила,
Созрел недуг, посеянный тоской,
Которая всю жизнь тебя крушила...

Да! славной смертью, смертью роковой
Грановский умер... Кто не издевался
Над «беспредметною» тоской?
Но глупый смех к чему не придирался!
«Гражданской скорбью» наши мудрецы
Прозвали настроение такое...
Над чем смеяться вздумали, глупцы!
Опошлить чувство силятся какое!
Поверхностной иронии печать
    Мы очень часто налагаем
    На то, что должно уважать,
Зато — достойное презренья уважаем!
Нам юноша, стремящийся к добру,
Смешон восторженностью странной,
А зрелый муж, поверженный в хандру,
Смешон тоскою постоянной;
Не понимаем мы глубоких мук,
Которыми болит душа иная,
Внимая в жизни вечно-ложный звук
И в праздности невольной изнывая;
Не понимаем мы — и где же нам понять? —
Что белый свет кончается не нами,
Что можно личным горем не страдать
    И плакать честными слезами.
Что туча каждая, грозящая бедой,
Нависшая над жизнию народной,
    След оставляет роковой
    В душе живой и благородной!

—

Да! были личности! .. Не пропадет народ,
Обретший их во времена крутые!
    Мудреными путями бог ведет
    Тебя, многострадальная Россия!
Попробуй, усомнись в твоих богатырях
    Доисторического века,
Когда и в наши дни выносят на плечах
Всё поколенье два-три человека!

—

Как ты меня, однакож, взволновал!
Не шуточное вышло излиянье,
Я лучший перл со дна души достал,
Чистейшее мое воспоминанье!
Мне стало грустно... Надо попадать,
По мере сил, опять на тон шутливый...
. . . .

В лесу раздается сигнальный выстрел и вслед за тем крики, трещотки, хлопушки. Охотники поспешно расходятся на свои нумера и становятся настороже, со взведенными штуцерами...

ПЕСНЯ О ТРУДЕ
(ИЗ „МЕДВЕЖЬЕЙ ОХОТЫ")

Кто хочет сделаться глупцом,
Тому мы предлагаем:
Пускай пренебрежет трудом
И жить начнет лентяем.

Хоть Геркулесом будь рожден
И умственным атлетом,
Все ж будет слаб, как тряпка, он
И жалкий трус при этом.

Нет в жизни праздника тому,
Кто не трудится в будень.
Пока есть лишний мед в дому,
Терпим пчелами трутень;

Когда ж общественной нужды
Придет крутое время,
Лентяй, негодный никуды,
Ты всем двойное бремя.

Когда придут зараза, мор,
Ты первый кайся богу,
Запрешь ворота на запор,
Но смерть найдет дорогу!..

Кому бросаются в глаза
В труде одни мозоли,

Тот глуп, не смыслит ни аза!
Страдает праздность боле.

Когда придет упадок сил,
Хандра подступит злая —
Верь, ни единый пес не выл
Тоскливее лентяя!

Итак — о славе не мечтай,
Не будь на деньги падок,
Трудись по силам и желай,
Чтоб труд был вечно сладок,

Чтоб испустить последний вздох
Не в праздности, — в работе,
Как старый пес мой, что издох
Над гаршнепом в болоте!..

ПЕСНЯ
(ИЗ „МЕДВЕЖЬЕЙ ОХОТЫ")

Отпусти меня, родная,
Отпусти не споря!
Я не травка полевая,
Я взросла у моря.

Не рыбацкий парус малый, —
Корабли мне снятся.
Скучно! в этой жизни вялой
Дни так долго длятся.

Здесь, как в клетке, заперта я,
Сон кругом глубокий,
Отпусти меня, родная,
На простор широкий,

Где сама ты грудью белой
Волны рассекала,
Где тебя я гордой, смелой,
Счастливой видала.

Ты не с песнею победной
К берегу пристала,
Но хоть час из жизни бедной
Торжество ты знала.

Пусть и я сломлюсь от горя,
Не жалей ты дочку!
Коли вырастет у моря —
Не спастись цветочку,

Все равно! сегодня счастье,
Завтра буря грянет,
Разыграется ненастье,
Ветер с моря встанет,

В день один песку нагонит
На прибрежный цветик
И навеки похоронит!..
Отпусти, мой светик!..

ЧЕЛОВЕК СОРОКОВЫХ ГОДОВ

...Пришел я к крайнему пределу...
Я добр, я честен; я служить
Не соглашусь дурному делу,
За добрым рад не есть, не пить,
Но иногда пройти сторонкой
В вопросе грозном и живом,
Но понижать мой голос звонкий
Перед влиятельным лицом —
Увы! вошло в мою натуру!..
Не от рожденья я таков,
Но я прошел через цензуру
Незабываемых годов:
На всех, рожденных в двадцать пятом
Году и около того,
Отяготел жестокий фатум:
Не выйти нам из-под него.
Я не продам за деньги мненья,
Без крайней нужды не солгу...
Но — гибнуть жертвой убежденья
Я не могу... я не могу...

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ РУССКИМ ДЕТЯМ

I

ДЯДЮШКА ЯКОВ

Дом — не тележка у дядюшки Якова.
Господи боже! чего-то в ней нет!
Седенький сам, а лошадка каракова;
Вместе обоим сто лет.
Ездит старик, продает понемногу,
Рады ему, да и он-то того:
Выпито вечно и сыт, слава богу.
Пусто в деревне, ему ничего,
Знает, где люди: и куплю, и мену
На полосах поведет старина;
Дай ему свеклы, картофельку, хрену,
Он тебе все, что полюбится, — на! —
Бог, видно, дал ему добрую душу.
Ездит — кричит то-и-знай:

«По грушу! по грушу!
Купи, сменяй!»

«У дядюшки у Якова
Сбоина макова
Больно лакома —
На грош двá кома!
Девкам утехи —
Рожки, орехи!
Эй! малолетки!
Пряники редки,
Всякие штуки:
Окуни, щуки,
Киты, лошадки!
Посмотришь — любы,
Раскусишь — сладки,
Оближешь губы! ..»

— Стой, старина! — Старика обступили,
Парней, и девок, и детушек тьма.
Все наменяли сластей, накупили —
То-то была суета, кутерьма!

Смех на какого-то Кузю печального:
Держит коня перед носом сусального;
Конь загляденье, и лаком кусок...
Где тебе вытерпеть? Ешь, паренек!
Жалко девочку сиротку Феклушу:
Все-то жуют, а ты слюнки глотай...

«По грушу! по грушу!
Купи, сменяй!»

«У дядюшки у Якова
Про баб товару всякого.
Ситцу хорошего —
Нарядно, дешево!
Эй! молодицы!
Красны девицы,
Тетушки, сестры!
Платочки пестры,
Булавки востры,
Иглы неломки,
Шнурки, тесемки!
Духи, помада,
Все — чего надо!..»

Зубы у девок, у баб разгорелись.
Лен и полотна, и пряжу несут.
«Стойте! не вдруг! белены вы объелись?
Тише! поспеете!..» Так вот и рвут!
Зорок торгаш, а то просто беда бы!
Затормошили старинушку бабы,
Клянчат, ласкаются, только держись:
«Цвет ты наш маков,
Дядюшка Яков,
Не дорожись!»
— Меньше нельзя, разрази мою душу!
Хочешь бери, а не хочешь — прощай!

«По грушу! по грушу!
Купи, сменяй!»

«У дядюшки у Якова
Хватит про всякого.
Новы коврижки —
Гляди-ко: книжки!

Мальчик-сударик,
Купи букварик!
Отцы почтенны!
Книжки неценны;
По гривне штука —
Деткам наука!
Для ребятишек
Тимошек, Гришек,
Гаврюшек, Ванек...
Букварь не пряник,
А почитай-ка,
Язык прикусишь...
Букварь не сайка,
А как раскусишь,
Слаще ореха!
Пяток — полтина.
Глянь — и картина!
Ей-ей утеха!
Умен с ним будешь,
Денег добудешь...
По буквари!
По буквари!
Хватай — бери!
Читай — смотри!»

И букварей-таки много купили —
«Будет вам пряников; нате-ка вам!»
Пряники, правда, послаще бы были,
Да рассудилось уж так старикам:
Книжки с картинками, писаны четко —
То-то дойти бы, что писано тут!
Молча крепилась Феклуша-сиротка,
Глядя, как пряники дети жуют,
А как увидела в книжках картинки,
Так на глаза навернулись слезинки.
Сжалился, дал ей букварь старина:
«Коли бедна ты, так будь ты умна!»

Экий старик! видно добрую душу!
Будь же ты счастлив! Торгуй, наживай!

«По грушу! по грушу!
Купи, сменяй!»

II
ПЧЕЛЫ

На-тко медку! с караваем покушай.
Притчу про пчелок послушай!
Нынче не в меру вода разлилась,
Думали, просто идет наводнение,
Только и сухо, что наше селение
По огороды, где ульи у нас.
Пчелка осталась, водой окруженная,
Видит и лес, и луга вдалеке,
Ну — и летит, — ничего — налегке,
А как назад полетит нагруженная,
Сил нехватает у милой. — Беда!
Пчелами вся запестрела вода,
Тонут работницы, тонут сердечные!
Горю помочь мы не чаяли, грешные,
Не догадаться самим бы вовек!
Да нанесло человека хорошего,
Под благовещенье помнишь прохожего?
Он надоумил, Христов человек!

Слушай, сынок, как мы пчелок избавили:
Я при прохожем тужил-тосковал;
«Вы бы им до суши вехи поставили», —
        Это он слово сказал!
Веришь: чуть первую веху зеленую
На воду вывезли, стали втыкать,
Поняли пчелки сноровку мудреную:
Так и валят и валят отдыхать!
Как богомолки у церкви на лавочке,
Сели — сидят. —

                    На бугре-то ни травочки,
Ну, а в лесу и в полях благодать:
Пчелкам не страшно туда залетать,
Всё от единого слова хорошего!
Кушай на здравие, будем с медком,
Благослови бог прохожего!
Кончил мужик, осенился крестом;
Мед с караваем парнишка докушал,

Тятину притчу тем часом прослушал
И за прохожего низкий поклон
Господу богу отвесил и он.

III
ГЕНЕРАЛ ТОПТЫГИН

Дело под вечер, зимой,
И морозец знатный.
По дороге столбовой
Едет парень молодой,
Ямщичок обратный;
Не спешит, трусит слегка;
Лошади не слабы,
Да дорога не гладка —
Рытвины, ухабы.
Нагоняет ямщичок
Вожака с медведем.
«Посади нас, паренек,
Веселей доедем!»
— Что ты? с мишкой? — «Ничего!
Он у нас смиренный,
Лишний шкалик за него
Поднесу, почтенный!»
— Ну, садитесь! — Посадил
Бородач медведя,
Сел и сам — и потрусил
Полегоньку Федя...
Видит Трифон кабачок,
Приглашает Федю.
«Подожди ты нас часок!» —
Говорит медведю.
И пошли. Медведь смирен,
Видно, стар годами,
Только лапу лижет он
Да звенит цепями...

Час проходит: нет ребят,
То-то выпьют лихо!
Но привычные стоят
Лошаденки тихо.
Свечерело. Дрожь в конях,
Стужа злее на ночь;

Заворочался в санях
Михайло Иваныч,
Кони дернули; стряслась
Тут беда большая —
Рявкнул мишка! — понеслась
Тройка, как шальная!

Колокольчик услыхал,
Выбежал Федюха,
Да напрасно — не догнал!
Экая поруха!

Быстро, бешено неслась
Тройка — и не диво:
На ухабе всякий раз
Зверь рычал ретиво;
Только стон кругом стоял:
«Очищай дорогу!
Сам Топтыгин генерал
Едет на берлогу!»
Вздрогнет встречный мужичок,
Жутко станет бабе,
Как мохнатый седочок
Рявкнет на ухабе.
А коням подавно страх —
Не передохнули!
Верст пятнадцать во весь мах
Бедные отдули!

Прямо к станции летит
Тройка удалая.
Проезжающий сидит,
Головой мотая;
Ладит вывернуть кольцо.
Вот и стала тройка;
Сам смотритель на крыльцо
Выбегает бойко.
Видит, ноги в сапогах
И медвежья шуба,
Не заметил впопыхах,
Что с железом губа,
Не подумал: где ямщик

От коней гуляет?
Видит — барин-материк,
«Генерал», — смекает.
Поспешил фуражку снять:
«Здравия желаю!
Что угодно приказать,
Водки или чаю? . .»
Хочет барину помочь
Юркий старичишка;
Тут во всю медвежью мочь
Заревел наш мишка!
И смотритель отскочил:
«Господи помилуй!
Сорок лет я прослужил
Верой, правдой, силой;
Много видел на тракту
Генералов строгих,
Нет ребра, зубов во рту
Нехватает многих,
А такого не видал,
Господи Исусе!
Небывалый генерал,
Видно, в новом вкусе! . .»

Прибежали ямщики,
Подивились тоже;
Видят — дело не с руки,
Что-то тут негоже!
Собрался честной народ,
Все село в тревоге:
«Генерал в санях ревет,
Как медведь в берлоге!»
Трус бежит, а кто смелей,
Те, потехе ради,
Жмутся около саней;
А смотритель сзади.
Струсил, издали кричит:
«В избу не хотите ль?»
Мишка вновь как зарычит...
Убежал смотритель!
Оробел и убежал
И со всею свитой...

Два часа в санях лежал
Генерал сердитый.
Прибежали той порой
Ямщик и вожатый;
Вразумил народ честной
Трифон бородатый
И Топтыгина прогнал
Из саней дубиной...
А смотритель обругал
Ямщика скотиной...

СУД

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ

I

«Однажды, зимним вечером,
Я перепуган был звонком,
Внезапным, властным... Вот опять!
Зачем и кто — как угадать?
Как сладить с бедной головой,
Когда врывается толпой
В нее тревожных мыслей рой?

Вечерний звон! вечерний звон!
Как много дум наводит он! [1]

За много лет всю жизнь мою
Припомнил я в единый миг,
Припомнил каждую статью
И содержанье двух-трех книг,
Мной сочиненных. Вспоминал
Я также то, где я бывал,
О чем и с кем вступал я в спор;
А звон неумолим и скор
Меж тем на миг не умолкал,
Пока я брюки надевал...

О невидимая рука!
Не обрывай же мне звонка!
Тотчас я силы соберу,
Зажгу свечу — и отопру.

[1] Козлов.

Гляжу — чуть теплится камин.
Невинный «Модный Магазин»
(Издательницы Софьи Мей)
И письма — память лучших дней —
Жены теперешней моей,
Когда наивна и мила
Она невестою была,
И начатой недавно труд,
И мемуары — весом с пуд —
И приглашенья двух вельмож,
В дома которых был я вхож,
До прейскуранта крымских вин —
Всё быстро бросил я в камин!
И если б истребленья дух
Насытить время я имел,
Камин бы долго не потух.
Но колокольчик мой звенел,
Что миг — настойчивей и злей.
Пылай, камин! Гори скорей,
Записок толстая тетрадь!
Пора мне гостя принимать...

Ну, догорела! Выхожу
В гостиную — и нахожу
Жену... О верная жена!
Ни слез, ни жалоб, лишь бледна.
Блажен, кому дана судьбой
Жена с геройскою душой,
Но тот блаженней, у кого
Нет близких ровно никого...
«Не бойся ничего! поверь,
Все пустяки!» — шепчу жене,
Но голос изменяет мне.
Иду — и отворяю дверь...
Одно из славных русских лиц[1]
Со взором кротким без границ,
Полуопущенным к земле,
С печатью тайны на челе.[2]

---

[1] Лермонтов.
[2] Веневитинов.

Тогда предстал передо мной
Администратор молодой.
Не только этот грустный взор,
Формально все — до звука шпор
Так деликатно было в нем,
Что с этим тактом и умом
Он даже больше был бы мил,
Когда бы меньше был уныл.
Кивнув угрюмо головой,
Я указал ему на стул.
Не сел он; стоя предо мной,
Он лист бумаги развернул
И подал мне. Я прочитал
И ожил — духом просиял!

Вечерний звон! вечерний звон!
Как много дум наводит он!
Порой таких ужасных дум,
Что и действительность сама
Не помрачает так ума,
Напротив, возвращает ум!

«Судить назначено меня
При публике, при свете дня!» —
Я крикнул весело жене:
«Прочти, мой друг! Поди ко мне!»
Жена поспешно подошла
И извещение прочла:
«Понеже в вашей книге есть
Такие дерзкие места,
Что оскорбилась чья-то честь
И помрачилась красота,
То вас за дерзость этих мест
Начальство отдало под суд,
А книгу взяло под арест».
И дальше чин и подпись тут.
Я сущность передал — но слог...
Я слога передать не мог!
Когда б я слог такой имел,
Когда б владел таким пером,
Я не дрожал бы, не бледнел
Перед нечаянным звонком...

Заметив радость, а не злость
В лице моем, почтенный гость
Любезно на меня взглянул.
Вновь указав ему на стул,
Я папиросу предложил,
Он сел и скромно закурил.
Тогда беседа началась
О том, как многое у нас
Несовершенно; как далек
Тот вожделенный идеал,
Какого всякий бы желал
Родному краю: нет дорог,
В торговле плутни и застой,
С финансами хоть волком вой,
Мужик не чувствует добра,
Et caetera, et caetera...
Уж час в беседе пролетел,
А не коснулись между тем
Мы очень многих важных тем,
Но тут огарок догорел
Дымясь, — и вдруг расстались мы
Среди зловония и тьмы.

II

Ну, суд так суд! В судебный зал
Сберется грозный трибунал,
Придут враги, придут друзья,
Предстану — обвиненный — я,
И этот труд, горячий труд
Анатомировать начнут!

Когда я отроком блуждал
По тихим волжским берегам,
«Суд в Подземельи» я читал,
Жуковского поэму, — там,
Что стих, то ужас: темный свод,
Грозя обрушиться, гнетет;
Визжа, заржавленная дверь
Поет: «Не вырвешься теперь!»
И ряд угрюмых клобуков
При бледном свете ночников,

Кивая, вторит ей в ответ:
«Преступнику спасенья нет!»
Потом, я помню, целый год
Во сне я видел этот свод,
Монахов, стражей, палачей:
И живо так в душе моей
То впечатленье детских дней,
Что я и в зрелые года
Боюсь подземного суда.
Вот почему я ликовал,
Когда известье прочитал,
Что гласно буду я судим,
Хоть утверждают: гласность — дым.
Оно, конечно: гласный суд —
Все ж суд. Притом же, говорят,
Там тоже спуску не дают:
Посмотрим, в чем я виноват.
(Сажусь читать, надев халат.)

Каких задач, каких трудов
Для человеческих голов
Враждебный рок не задавал?
Но — литератор прежних дней!
Ты никогда своих статей
С подобным чувством не читал,
Как я в ту роковую ночь.
Скажу вам прямо — скрытность прочь —
Я с точки зрения судьи
Всю ночь читал мои статьи.
И нечто странное со мной
Происходило... Боже мой!
То, оправданья подобрав,
Я говорил себе: я прав!
То сам себя воображал
Таким злодеем, что дрожал
И в зеркало гляделся я...
Занятье скверное, друзья!

Примите добрый мой совет,
Писатели грядущих лет!
Когда постигнет вас беда,
Да будет чужд ваш бедный ум

Судебно-полицейских дум —
Оставьте дело до суда!
Нет пользы голову трудить
Над тем, что будут говорить
Те, коих дело обвинять,
Как наше — книги сочинять.
А если нервы не уснут
На милом слове: гласный суд,
Подлей побольше рому в чай
И безмятежно засыпай!..

III

Заснул и я, но тяжек сон
Того, кто горем удручен.
Во сне я видел, что герой
Моей поэмы роковой
С полуобритой головой,
В одежде арестантских рот
Вдоль по Владимирке идет.
А дева, далеко отстав,
По плечам кудри разметав,
Бежит за милым, на бегу
Ныряя по груди в снегу,
Бежит и плачет, и поет...

Дитя фантазии моей,
Не плачь! До снеговых степей,
Я знаю, дело не дойдет.
В твоей судьбе средины нет:
Или увидишь божий свет,
Или — преступной признана —
С позором будешь сожжена!
Итак, молись, моя краса,
Чтобы по милости твоей
Не стали наши небеса
Еще туманней и темней!

Потом другой я видел сон,
И был безмерно горек он:
Вхожу я в суд — и на скамьях
Друзей, родных встречает взор,
Но не участье в их чертах —

Негодованье и укор!
Они мне взглядом говорят:
«С тобой мы незнакомы, брат!»
— Что с вами, милые мои? —
Тогда невольно я спросил;
Но только я заговорил,
Толпа покинула скамьи,
И вдруг остался я один,
Как голый пень среди долин.[1]
Тогда, отчаяньем объят,
Я разревелся пред судом
И повинился даже в том,
В чем вовсе не был виноват!..
Проснувшись, долго помышлял
Я о моем жестоком сне,
Мужаться слово я давал,
Но страшно становилось мне:
Ну, как и точно разревусь,
От убеждений отрекусь?
Почем я знаю: хватит сил
Или не хватит — устоять?
И начал я припоминать,
Как развивался я, как жил.
Родился я в большом дому,
Напоминающем тюрьму,
В котором грозный властелин
Свободно действовал один,
Держа под страхом всю семью
И челядь жалкую свою;
Рассказы няни о чертях
Вносили в душу тот же страх;
Потом я в корпус поступил
И там под тем же страхом жил.
Случайно начал я писать,
Тут некий образ посещать
Меня в часы работы стал:
С пером, со склянкою чернил
Он над душой моей стоял,
Воображенье леденил,
У мысли крылья обрывал.

---

[1] Лермонтов.

Но не довольно был он строг
И я терпел еще за то,
Что он подчас мой труд берег
Или вычеркивал не то.
И так писал я двадцать лет,
И вышел я — такой поэт,
Каким я выйти мог... Да, да!
Грозит последняя беда...
Пошли вам бог побольше сил!
Меня же так он сотворил,
Что мимо будки городской
Иду с стесненною душой,
И, право, я не поручусь,
Что пред судом не разревусь...

IV

Не так счастливец молодой
Идет в таинственный покой,
Где, нетерпения полна,
Младая ждет его жена,
С каким я трепетом вступал
В тот роковой, священный зал,
Где жизнь и смерть, и честь людей
В распоряжении судей.
Герой — а я теперь герой —
Быть должен весь перед тобой,
О публика! во всей красе...
Итак, любуйся: я плешив,
Я бледен, нервен, я чуть жив,
И таковы почти мы все.
Но ты не думай, что тебя
Хочу разжалобить: любя
Свой труд — я вовсе не ропщу,
Я сожалений не ищу;
«Коварный рок», «жестокий рок»
Не больше был ко мне жесток,
Как и к любому бедняку.
То правда: рос я не в шелку,
Под бурей долго я стоял,
Меня тиранила нужда,
Гнела любовь, гнела вражда;

Мне граф Орлов мораль читал
И цензор слог мой исправлял,
Но не от этих общих бед
Я слаб и хрупок, как скелет.
Ты знаешь, я — «любимец муз»,
А невозможно рассказать,
Во что обходится союз
С иною музой; благодать
Тому, чья муза не бойка:
Горит он редко и слегка.
Но горе, ежели она
Славолюбива и страстна.
С железной грудью надо быть,
Чтоб этим ласкам отвечать,
Объятья эти выносить,
Кипеть, гореть — и погасать,
И вновь гореть — и снова стыть.
Довольно! разве досказать,
Удобный случай благо есть,
Что я, когда начну писать —
Перестаю и спать и есть...

Не то, чтоб ощутил я страх,
Когда уселись на местах
И судьи, и народ честной,
Интересующийся мной,
И приготовился читать
Тот, чье призванье — обвинять;
Но живо вспомнил я тогда
Счастливой юности года,
Когда придешь, бывало, в класс
И знаешь: сечь начнут сейчас!

Толпа затихла, начался
Доклад — и длился два часа...

Я в деле собственном моем,
Конечно, не судья; но в том,
Что обвинитель мой читал,
Своей статьи я не узнал.
Так пахарь был бы удивлен,
Когда бы рожь посеял он,

А уродилось бы зерно —
Ни рожь, ни греча, ни пшено, —
Ячмень колючий — и притом
Наполовину с дурманом!
О прокурор! ты не статью,
Ты душу вывернул мою!
Слагая образы мои,
Я только голосу любви
И строгой истины внимал,
А ты так ясно доказал,
Что я законы нарушал!

Но где ж не грозен прокурор? ..
Смягченный властию судей,
Не так был грозен приговор:
Без поэтических затей,
Не на утесе вековом,
Где море пенится кругом
И бьется жадною волной
О стены башни крепостной, —
На гауптвахте городской,
Под вечным смрадом тютюна,
Я месяц высидел сполна...
Там было сыро: по углам
Белела плесень; по стенам
Клопы гуляли; в щели рам
Дул ветер, порошил снежок.
Сиди-посиживай, дружок!
Я спать здоров, но сон был плох
По милости проклятых блох.
Другая, горшая беда:
В мой скромный угол иногда
Являлся гость: дебош ночной
Свершив, гвардейский офицер,
Любезный, статный, молодой
И либеральный выше мер,
День-два беседовал со мной.
Уйдет один, другой придет
И те же басенки плетет...

Блоха — бессонница — тютюн —
Усатый офицер-болтун —

Тютюн — бессонница — блоха, —
Все это мелочь, чепуха!
Но веришь ли, читатель мой!
Так иногда с блохами бой
Был тошен, смрадом тютюна
Так жизнь была отравлена,
Так больно клоп меня кусал
И так жестоко донимал
Что день, то новый либерал,
Что я закаялся писать...
Бог весть, увидимся ль опять!

ЭПИЛОГ

Зимой поэт молчал упорно,
Зимой писать охоты нет,
Но вот дохнула благотворно
Весна — не выдержал поэт!
Вновь пишет он, призванью верен.
Пиши, но будь благонамерен!
И не рискуй опять попасть
На гауптвахту или в часть!

ЭЙ, ИВАН!

ТИП НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

Вот он весь, как намалеван,
    Верный твой Иван:
Неумыт, угрюм, оплеван;
    Вечно полупьян;
На желудке мало пищи,
    Чуть живой на взгляд,
Не прикрыты, голенищи
    Рыжие торчат;
Вечно теплая шапчонка
    Вся в пуху на нем,
Туго стянут сюртучонко
    Узким ремешком;
Из кармана кончик трубки
    Виден да кисет.
Разве новенькие зубки
    Выйдут — старых нет...

Род его тысячелетний
   Не имел угла —
На запятках и в передней
   Жизнь веками шла.
Ремесла Иван не знает,
   Делай, что дают:
Шьет, кует, варит, строгает,
   Не потрафил — бьют!
«Заживет!» Грубит, ворует,
   Божится и врет,
И за рюмочку целует
   Ручку у господ.
Выпить может сто стаканов —
   Только подноси...
Мало ли таких Иванов
   На святой Руси?..

«Эй, Иван! иди-ка стряпать!
   Эй, Иван! чеши собак!»
Удалось Ивану сцапать
   Где-то четвертак,
Поминай теперь как звали!
   Шапку набекрень
И пропал! Напрасно ждали
   Ваньку целый день:
Гитарист и соблазнитель
   Деревенских дур
(Он же тайный похититель
   Индюков и кур),
У корчемника Игнатки
   Приютился плут,
Две пригожие солдатки
   Так к нему и льнут.
«Эй вы, павы, павы, павы!
   Шевелись живей!»
В Ваньке пляшут все суставы
   С ног и до ушей,
Пляшут ноздри, пляшет в ухе
   Белая серьга.
Ванька весел, Ванька в духе —
   Жизнь недорога!

Утром с барином расправа:
    «Где ты пропадал?»
— Я... нигде-с... ей-богу... право...
    У ворот стоял! —
«Весь-то день? ..» Ответы грубы,
    Ложь глупа, нагла;
Были зубы — били в зубы,
    Нет — трещит скула.
— Виноват! — порядком струся,
    Говорит Иван.
«Жарь к обеду с кашей гуся,
    Щи вари, болван!»
Ванька снова лямку тянет,
    А потом опять
Что-нибудь у дворни стянет...
    «Неужли плошать?
Коли плохо положили,
    Стало, не запрет!»
Господа давно решили,
    Что души в нем нет.
Неизвестно — есть ли, нет ли,
    Но с ним случай был:
Чуть живого сняли с петли,
    Перед тем грустил.
Господам конфузно было:
    — Что с тобой, Иван? —
«Так, под сердце подступило»,
    И глядят: не пьян!
Говорит: «Вы потеряли
    Верного слугу,
Все равно — помру с печали,
    Жить я не могу!
А всего бы лучше с глотки
    Петли не снимать...»
Сам помещик выслал водки
    Скуку разогнать.
Пил детина ерофеич,
    Плакал да кричал:
«Хоть бы раз Иван Мосеич
    Кто меня назвал! ..»

Как мертвецки накатили,
    В город тем же днем:
«Лишь бы лоб ему забрили —
    Вешайся потом!»

Понадеялись на дружбу,
    Да не та пора:
Сдать беззубого на службу
    Не пришлось. «Ура!»
Ванька снова водворился
    У своих господ
И совсем от рук отбился,
    Без просыпу пьет.
Хоть бы в каторгу урода —
    Лишь бы с рук долой!
К счастью, тут пришла свобода:
    «С богом, милый мой!»

И, затерянный в народе,
    Вдруг исчез Иван...
Как живешь ты на свободе?
    Где ты? .. Эй, Иван!

С РАБОТЫ

— Здравствуй, хозяюшка! Здравствуйте, детки!
    Выпить бы. Эки стоят холода! —
«Ин ты забыл, что намедни последки
    Выпил с десятником?»

— Ну, не беда!
И без вина отогреюсь я, грешный,
    Ты обряди-ка савраску, жена;
Поголодал он весною, сердечный,
    Как подобрались сена́.

Эк я умаялся! .. Что, обрядила?
    Дай-ка горяченьких щец. —
«Печи я нынче, родной, не топила,
    Не было, знаешь, дровец!»

— Ну, и без щей поснедаю я, грешный.
    Ты овсеца бы савраске дала, —

В лето один он управил, сердечный,
    Пашни четыре тягла.

Трудно и нынче нам с бревнами было,
    Портится путь... Ин и хлебушка нет?.. —
«Вышел, родной... У соседей просила,
    Завтра сулили чем свет!»

— Ну, и без хлеба улягусь я, грешный.
    Кинь под савраску соломки, жена!
В зиму-то вывез он, вывез, сердечный,
    Триста четыре бревна...

* * *

Зачем меня на части рвете,
Клеймите именем раба?
Я от костей твоих и плоти,
Остервенелая толпа!
Где логика? Отцы — злодеи,
Низкопоклонники, лакеи,
А в детях видя подлецов,
И негодуют, и дивятся,
Как будто от таких отцов
Герои где-нибудь родятся?
Блажен, кто в юности слепой
Погорячится и с размаху
Положит голову на плаху...
Но кто, пощáженный судьбой,
Узнает жизнь, тому дороги
И к честной смерти не найти.
Стоять он будет на пути
В недоумении, тревоге
И думать: глупо умирать,
Чтоб им яснее доказать,
Что прочен только путь неправый;
Глупей трагедией кровавой
Без всякой пользы тешить их!
Когда являлся сумасшедший,
Навстречу смерти гордо шедший,
Что было в помыслах твоих,
О родина! одну идею

Твоя вмещала голова:
«Посмотрим, как он сломит шею!»
Но жизнь не так же дешева!

Не оправданий я ищу,
Я только суд твой отвергаю.
Я жить в позоре не хочу,
Но умереть за что — не знаю.

ЕЩЕ ТРОЙКА

(РОМАНС)

1

Ямщик лихой, лихая тройка
И колокольчик под дугой,
И дождь, и грязь, но кони бойко
Телегу мчат. В телеге той
Сидит с осанкою победной
Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный
Лет в девятнадцать господин.
Все кони взмылены с натуги,
Весь ад осенней русской вьюги
Навстречу; не видать небес,
Нигде жилья не попадает.
Все лес кругом, угрюмый лес...
Куда же тройка поспешает?
Куда Макар телят гоняет.

2

Какое ты свершил деянье,
Кто ты, преступник молодой?
Быть может, ты имел свиданье
В глухую ночь с чужой женой?
Но подстерег супруг ревнивый
И длань занес — и оскорбил.
И ты, безумец горделивый,
Его на месте положил?
Ответа нет. Бушует вьюга.
Завидев кабачок, как друга,
Жандарм командует: стоять!

Девятый шкалик выпивает...
Чу! тройка тронулась опять!
Гремит, звенит — и улетает
Куда Макар телят гоняет.

3

Иль погубил тебя презренный,
Но соблазнительный металл?
Дитя корысти современной,
Добра чужого ты взалкал,
И в доме, издавна знакомом,
Когда все погрузились в сон,
Ты совершил грабеж со взломом
И пойман был и уличен?
Ответа нет. Бушует вьюга.
Обняв преступника, как друга,
Жандарм напившийся храпит;
Ямщик то свищет, то зевает,
Поет... А тройка все гремит,
Гремит, звенит — и улетает
Куда Макар телят гоняет.

4

Иль, может быть, ночным артистом
Ты не был, друг? и просто мы
Теперь столкнулись с нигилистом,
Сим кровожадным чадом тьмы?
Какое ж адское коварство
Ты помышлял осуществить?
Разрушить думал государство,
Или инспектора побить?
Ответа нет. Бушует вьюга.
Вся тройка в сторону с испуга
Шарахнулась. Озлясь, кнутом
Ямщик по всем по трем стегает;
Телега скрылась за холмом,
Мелькнула вновь — и улетает
Куда Макар телят гоняет!..

МАТЬ

Она была исполнена печали,
И между тем, как шумны и резвы
Три отрока вокруг нее играли,
Ее уста задумчиво шептали:
«Несчастные! зачем родились вы?
Пойдете вы дорогою прямою,
И вам судьбы своей не избежать!»
Не омрачай веселья их тоскою,
Не плачь над ними, мученица-мать:
Но говори им с молодости ранней:
Есть времена, есть целые века,
В которые нет ничего желанней,
Прекраснее — тернового венка. . .

* * *

Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым!

Беспощадная пошлость ни тени
Положить не успела на нем,
Становись перед ним на колени,
Украшай его кудри венком!
Перед ним преклониться не стыдно,
Вспомни, сколькие пали в борьбе,
Сколько раз уже было тебе
За великое имя обидно!
А теперь его слава прочна:
Под холодною крышкою гроба

На нее не наложат пятна
Ни ошибка, ни сила, ни злоба...

Не хочу я сказать, что твой брат
Не был гордою волей богат,
Но, ты знаешь, кто ближнего любит
Больше собственной славы своей,
Тот и славу сознательно губит,
Если жертва спасает людей.
Но у жизни есть мрачные силы —
У кого не слабели шаги
Перед дверью тюрьмы и могилы?
Долговечность и слава — враги.

Русский гений издавна венчает
Тех, которые мало живут,
О которых народ замечает:
«У счастливого недруги мрут,
У несчастного друг умирает...»

* * *

Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!

Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!..

ДОМА — ЛУЧШЕ!

В Европе удобно, но родины ласки
Ни с чем несравнимы. Вернувшись домой,
В телегу спешу пересесть из коляски
И марш на охоту! Денек недурной,

Под солнцем осенним родная картина
Отвыкшему глазу нова...

О матушка Русь! ты приветствуешь сына
Так нежно, что кругом идет голова!

Твои мужики на меня выгоняли
Зверей из лесов целый день,
А ночью возвратный мой путь освещали
Пожары твоих деревень.

* * *

Наконец не горит уже лес,
Снег прикрыл почернелые пенья,
Но помещик душой не воскрес,
Потеряв половину именья.

Приуныл и мужик. — Чем я буду топить? —
Говорит он, лицо свое хмуря.
«Ты не будешь топить — будешь пить», —
Завывает в ответ ему буря...

ПРИМЕЧАНИЯ

В состав настоящего издания входят все стихотворения Некрасова, включенные им самим в основной корпус последнего прижизненного издания 1873—1874 гг. К ним присоединены те стихи, которые поэт не имел возможности включить в указанное издание по условиям царской цензуры.

В отдел приложений включены избранные юмористические произведения Некрасова, а также те из его стихотворений (найденных среди его черновиков), которые по своему содержанию наиболее характерны для его творчества.

Все тексты сверены с первоисточниками; приняты во внимание поправки и конъектуры последнего издания: «Полное собрание сочинений и писем Н. А. Некрасова». Томы 1, 2, 3. М., Гослитиздат, 1948—1949.

В комментарий включены новые материалы, ряд примечаний заново переработан.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БдЧ — «Библиотека для Чтения».
ИЛИ — Институт литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.
ЛБ — Государственная Библиотека СССР имени В. И. Ленина.
ЛГУ — Ленинградский Государственный Университет.
ЛН — «Литературное наследство», № 49—50, М., 1946.
ЛН2 — То же, № 51—52, М., 1949. (Печатается.)
ЛН3 — То же, № 53—54. М., 1949. (Печатается.)
Некрасов ПД — «Некрасов по неизданным материалам Пушкинского Дома», Пг., 1922.
ОЗ — «Отечественные Записки».
ПА — «Первое апреля». СПб., 1846.
ПБ — Государственная Публичная Библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ПЗ — «Полярная Звезда».
ПП — «Последние Песни». СПб., 1877.
ПСб — «Петербургский сборник», СПб., 1846.
РС — «Русская Старина».
С — «Современник».
Собр. соч. т. V — Собрание сочинений Н. А. Некрасова. Том V. Письма. М.-Л., 1930.

Солд. — Тетрадь стихотворений Некрасова, посланная К. Т. Солдатенкову в 1855 г. (хранится в ЛБ).

Ст. — Стих, стихи.

Стих 1856 — Н. А. Некрасов. Стихотворения. М., 1856.

Стих 1861 — То же. Изд. 2. СПб., 1861.

Стих 1863 — То же. Изд. 3., СПб., 1863.

Стих 1864 — То же. Ч. 1 и 2. Изд. 4. Ч. 3. Изд. 1. СПб., 1864.

Стих 1868 — 1869 — То же. Ч. 1 и 2. Изд. 5. Ч. 3. Изд. 2. Ч. 4. Изд. 1. СПб., 1868—1869.

Стих 1873 — 1874 — То же. Ч. 1 и 2. Изд. 6. Ч. 3. Изд. 4. Ч. 4 и 5. Изд. 2. Ч. 6. Изд. 1. СПб., 1873—1874.

Стих 1879 — То же. Посмертное издание. Т. I—IV. СПб., 1879.

Стих Л 1859 — То же. Лейпциг, 1859.

Стих Б 1862 — То же. Берлин, 1862.

ЦГЛА — Центральный Государственный Литературный Архив.

1845

Современная ода. Печатается по Стих 1873, ч. 1, стр. 11—12. Впервые — ОЗ 1845, № 4, стр. 327.

Герой «Современной оды», строящий свое благополучие на угнетении крестьян, умильно отзывается о них:

Братья нам по Христу мужички!

В этом восклицании сказалась характернейшая черта той эпохи: именно такими слащавыми, лицемерными фразами прикрывалось тогда крепостничество. Лицемерие проникало во все области государственной жизни. Поэтому Некрасов в своих ранних сатирах так часто обличал лицемеров. Один из первых в этом ряду — герой «Современной оды» (см. также «Нравственный человек», «Колыбельная песня», «Чиновник», «Секрет» и т. д.).

Когда эта ода появилась в печати, Некрасов не был литературным новичком: уже семь лет он печатался в разных журналах и сборниках. Но подлинным началом своей литературной работы он считал «Современную оду»: в собрание своих стихотворений (1856 и 1861) он не ввел ни одной строки, написанной раньше нее.

В дороге. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 7—9. Впервые — ПСб., стр. 505—507.

Когда Некрасов прочитал это стихотворение В. Г. Белинскому, великий критик обнял его и сказал «чуть не со слезами в глазах: «Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?» (Иван Панаев, Литературные воспоминания, Л., 1928, стр. 404).

В своем отзыве о стихах, помещенных в некрасовском «Петербургском сборнике», В. Г. Белинский писал: «Самые интересные из них принадлежат перу издателя сборника, г. Некрасова. Они проникнуты мыслью; это — не стишки к деве и луне; в них много умного, дельного и современного. Вот лучшее из них, «В дороге»... (В. Г. Белинский. «От. Зап.», 1846, № 3, стр. 24).

Герцен тоже дал высокую оценку этому первому антикрепостническому стихотворению Некрасова. Впоследствии поэт вспоминал: «Герцен был первый после Белинского, приветствовавший доб-

рым словом мои стихи (я его записочку ко мне, по выходе «Петербургского сборника», до сей поры берегу)». (Собр. соч., т. V, стр. 299).

«Записочка» эта до нас не дошла, но можно не сомневаться, что она была вызвана именно стихотворением «В дороге», так как 19 февраля 1846 г. Белинский писал Герцену: «Ты прав, что пьеса Некрасова «В дороге» превосходна» (В. Г. Белинский. Письма, т. III. СПб., 1914, стр. 101). Либеральная критика пыталась опорочить это стихотворение указанием на то, что в нем будто бы недостаточно верно передана крестьянская речь. С. С. Дудышкин процитировал ряд строк, в которых видел «неудачную подделку под народный стих» («Отечественные Записки», 1861, № 12, стр. 12). Возражая ему, Аполлон Григорьев писал: «Не подделка под народную речь, а речь человека из народа в нем <в этом стихотворении> послышалась... Из стихотворения ясно было, что его писал человек с народным сердцем, человек закала Кольцова, что он не сочиняет ни речи, ни сочувствий» («Время», 1862, № 7, стр. 16).

Варган — орга́н (фисгармония). *И с запашки ссадил на оброк.* — Крепостные крестьяне, которых помещики отпускали на заработки, считались переведенными «с запашки на оброк», так как должны были ежегодно выплачивать своим господам определенную сумму денег.

Пьяница. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 13—14. Впервые — ПСб, стр. 508—509.

«Отрадно видеть, что находит». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 15—16. Впервые — ПСб, стр. 509—510.

Цензура вычеркнула строчку о важном чиновнике:

Ты — лоб, как говорится, медный.

Некрасов, печатая ее в «Петербургском сборнике», придал ей противоположный (и тем самым иронический) характер:

Ты, тонкий плут и лоб не медный.

«Когда из мрака заблужденья». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 21—22; ст. 15—16 даны в последней авторской редакции по Стих 1879. Впервые — ОЗ 1846, № 4, стр. 403—404.

Одно из первых по времени произведений русской поэзии, где так называемая падшая женщина встречает сочувствие, как жертва тяжелых социальных условий.

Н. Г. Чернышевский писал Некрасову 5 ноября 1856 г. по поводу этого стихотворения и двух-трех других: «они буквально заставляют меня рыдать» (Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. II. М., 1928, стр. 340).

Н. А. Добролюбов в 1857 г. под несомненным влиянием этого стихотворения писал, обращаясь к «падшей»:

. Любви таинственною силой
Ты освятилась и спаслась.
И не забуду я мгновенья,

Как ты, прокляв свой прежний путь,
Полна и веры и смущенья,
Рыдая пала мне на грудь.

(См. стихотворение «Не диво доброе влеченье» в полном собрании сочинений Н. А. Добролюбова, т. VI. М., 1939, стр. 249, и статью Б. Бухштаба «Добролюбов-поэт», там же, стр. XIV.)

«Пускай мечтатели осмеяны давно». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 57. Впервые — С 1851, № 1, стр. 140.

Колыбельная песня. Печатается по Стих 1873, ч. III, стр. 210—212. Впервые — ПСб, стр. 510—511.

Эта песня, направленная против крупных чиновников, вызвала негодование реакционной печати.

«Вот что современная мать поет сыну у его колыбели!» — возмущался правый славянофил С. П. Шевырев и, процитировав эту пародию (наряду с другими произведениями, входившими в состав некрасовского «Петербургского сборника»), восклицал: «Что я? что со мною! где я был? что читал? где это сочиняют? В Пекине, на островах Сандвичевых?» («Москвитянин», 1846, № 2, стр. 185).

Высшие круги бюрократии, задетые этой сатирой, поспешили принять репрессивные меры и против цензора, пропустившего «Колыбельную песню», и против ее автора. 13 февраля 1846 г. шеф жандармов граф А. Ф. Орлов писал о «Колыбельной песне» министру народного просвещения графу С. С. Уварову: «Сочинения подобного рода по предосудительному своему содержанию не должны бы одобряться к печатанию...» Уваров велел объявить цензору выговор (РС, 1903, № 5, стр. 382).

В том же году Некрасова призвал к себе управляющий Третьим отделением Л. В. Дубельт и «много кричал, как он смел нападать на чиновников и дворян» (А. И. Шуберт. Моя жизнь. Л., 1928, стр. 86).

Именно с этого времени за Некрасовым утвердилась в правительственных кругах репутация неблагонамеренного, «опасного» автора, и всякий раз, когда в 40-х и 50-х годах его политические враги стремились нанести ему новый удар, они напоминали властям его «Колыбельную песню». Так, через два года после ее появления, едва только в России началось так называемое «мрачное семилетие» (в связи с революционным восстанием во Франции), Фаддей Булгарин представил в Третье отделение донос, где между прочим писал, имея в виду «Колыбельную песню» и «В дороге» Некрасова: «Некрасов самый отчаянный коммунист: стоит прочесть стихи его и прозу в С.-Петербургском Альманахе, чтоб удостовериться в этом. Он страшно вопиет в пользу революции» (П. Щ<еголев>. Эпизод из жизни В. Г. Белинского. — «Былое», 1906, № 10, стр. 283).

В том же году реакционный публицист М. П. Погодин снова напомнил в своем журнале «Колыбельную песню», как высшее проявление цинизма, и выступил против Некрасова с заведомо фальшивой цитатой:

«Читатели помнят, — писал он, — «Колыбельную песнь» г-на Некрасова, в коей мать <?> поет сыну:

Спи, подлец <!>, покуда честный...»

(«Москвитянин», 1848, № 12, стр. 185).

У Некрасова нет строки, приводимой в заметке Погодина. Замечательно, что ту же фальшивую цитату использовал и Фаддей Булгарин, написавший 26 декабря 1848 г. петербургскому цензору А. Л. Крылову:

«Даже Некрасов — великий муж у вас, и вы пропустили ему в СПБ Альманахе «Колыбельную песню», которую мать якобы поет при колыбели младенца:

Спи, подлец <!>, покуда честный и проч.

Не нарушение ли это всех священных чувств <!>, не насмешка ли над природою <!> и человечеством?» («Голос Минувшего», 1913, № 4, стр. 225). Через три года, в 1851 году, представители реакционного лагеря снова использовали «Колыбельную песню» для нового доноса на Некрасова: в резко полемической статье, направленной главным образом против некрасовского «Современника», тот же «Москвитянин» перепечатал «Колыбельную песню», в анонимной статье <Бориса Алмазова> «Стихотворения Эраста Благонравова» («Москвитянин», 1851, № 19—20, стр. 276—277). Это снова вызвало цензурную бурю. Тотчас же после появления статьи министр народного просвещения писал в московскую цензуру: «В №№ 19 и 20 «Москвитянина» перепечатано из изданного в 1846 году г. Некрасовым «С.-Петербургского сборника» стихотворение под заглавием «Колыбельная песнь (Подражание Лермонтову)». Стихотворение это, по предосудительности своего содержания, обратило тогда же на себя внимание правительства и вследствие того сделан был, за пропуск оного в «Сборнике», строгий выговор. Хотя о сем обстоятельстве и не было сообщено Московскому цензурному комитету, но не менее того <sic!> цензор Ржевский не мог не заметить крайней неприличности содержания и выражений упомянутого стихотворения, и потому, при нынешних еще более строгих требованиях, цензор никак не должен был допустить оного к печати» (Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. П., 1897, т. XI, стр. 389). На цензора было наложено взыскание.

Вследствие цензурного запрета «Колыбельная песня» не могла появиться ни во втором, ни в третьем, ни в четвертом издании «Стихотворений» Некрасова.

В 1864 г. дело о «Колыбельной песне» дошло до цензурного комитета. Комитет запретил ее, так как в ней заключается «едкая ирония на судьбу чиновников: гнуть спину, ползти ужом до хорошего местечка, красть, потом купить дом и сделаться русским дворянином» («Книга и революция», 1921, № 2(14), стр. 45).

Лишь в 1869 г. «Колыбельная песня» могла снова появиться в печати.

«Я за то глубоко презираю себя». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 49—50. Впервые — Стих 1856, стр. 162.

Тема этого стихотворения — глубокий разлад между словом и делом, который был типичной особенностью дворянской интеллигенции сороковых годов. Здесь впервые намечена характеристика так называемых «лишних людей», к изображению которых поэт не раз обращался впоследствии (см. стихотворения «Саша», «Медвежья охота», «Самодовольных болтунов» и т. д.).

При жизни Некрасова это стихотворение во всех изданиях называлось «Из Ларры».[1] Перед смертью поэт, по свидетельству С. И. Пономарева, написал на полях своей книги: «Неправда. Приписано Ларре по странности содержания. Искреннее. Написано во время гощения у Г<ерцена>...» (Стих 1879, т. IV, стр. XXI).

1846

Огородник. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 17—20. Впервые — ОЗ 1846, № 4, стр. 401—402.

Долго держалось мнение, будто в основе «Огородника» лежит известная народная песня о Ваньке-ключнике (П. Н. Сакулин. Некрасов, М., 1922, стр. 35). Против этого мнения высказался фольклорист Н. Андреев, отметивший, что к сюжету «Огородника» гораздо ближе песня о холопе и барской дочери, приводимая в «Великорусских народных песнях» А. И. Соболевского в нескольких вариантах (т. I, СПб., 1895, №№ 49—59). «Впрочем, — говорит Н. Андреев, — в стилистическом отношении в «Огороднике» можно отметить вообще тягу к некоторым приемам фольклорного творчества, но не близость к одной какой-нибудь песне (Н. Андреев. Фольклор в поэзии Некрасова. Перепеч. в сборнике А. Еголина, «Некрасов в русской критике». М.-Л., 1944, стр. 159). Во всяком случае в традиционный фольклорный сюжет Некрасов внес новое содержание: о классовой розни крепостных и дворян, делающей всякое их сближение невозможным.

Эта мысль казалась опасной даже накануне «освобождения» крестьян; из шести членов главного управления цензуры, рассматривавших книгу Некрасова в 1859 г., четверо высказались за исключение из нее «Огородника». По мнению цензора Тройницкого, здесь, как и в некоторых других стихотворениях Некрасова, «изображается в слишком мрачных красках быт русского народа вообще, особенно в отношениях крестьян к помещикам». Цензор Митусов причислил «Огородника» к тем стихотворениям Некрасова, которые «по демократическому направлению, посевающему вражду между государственными сословиями, ...подлежат непременному исключению...» (В. Евгеньев-Максимов. Некрасов как человек, журналист и поэт. М.-Л., 1928, стр. 232—234).

Тройка. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 26—28. Впервые — С 1847, № 1, стр. 91—92.

Заключающийся в этом стихотворении протест против бесправного положения русской крестьянки был высоко оценен в кругу Белинского — Герцена. Едва только «Тройка» появилась в печати, Н. П. Огарев написал Т. Н. Грановскому: «Тройка» Некрасова — чудесная вещь. Я ее читал раз десять» (Н. П. Огарев. «Письма к Т. Н. Грановскому, А. И. Герцену и М. Ф. Корш». — «Звенья»,

---

[1] Мариано Хосе де Ларра (1809—1837) — знаменитый испанский сатирик.

т. I. М-Л., 1933, стр. 116). В романе Чернышевского «Что делать?» это стихотворение поет Вера Павловна.

Родина. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 35—38. Впервые — в IV разделе Стих 1856, стр. 169—171.

«Стихотворение «Родина» привело Белинского в совершенный восторг, — вспоминал И. И. Панаев. — Он выучил его наизусть и послал его в Москву к своим приятелям... В эту эпоху он был увлечен Некрасовым и только и говорил об нем... А каков Некрасов-то! Ведь он начинает обнаруживать глубокий поэтический талант. Сколько скорби и желчи в его стихе!» (И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 404).

Это подтверждается свидетельством самого Некрасова. В одном из фрагментов своей автобиографии поэт сообщает, что великому критику понравились в этих стихах «задатки отрицания», т. е. социального протеста. По словам Некрасова, в такой же восторг от этого стихотворения пришел и И. С. Тургенев. «Я много читал <писал?> стихов, но так написать не могу, — сказал Тургенев. — Мне нравятся и мысли и стих» («Автобиография Некрасова». Публикация В. Евгеньева-Максимова и С. Рейсера. — ЛН, стр. 164).

Перед дождем. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 53. Впервые — ПА, стр. 18.

В закрытой таратайке со спущенным верхом жандармы перевозили в то время арестованных политических «преступников».

«В неведомой глуши, в деревне полудикой». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 51—52. Впервые — С 1851, № 11, стр. 87—88.

В этом фельетоне Новый Поэт <И. И. Панаев> рассказывал, что однажды, когда он читал Пушкина, к нему вошел небритый господин в поношенном сюртуке: «Лицо вошедшего дышало... умом... избытком доброты и печали... Посетитель мой был поэт, и поэт (я говорю не шутя) замечательный».

Сравнивая одно стихотворение Каролины Павловой со стихотворением небритого гостя <Некрасова> «Родился в губернии...», Новый Поэт восклицал:

— Я, право, не отдам одной строчки из стихотворения моего небритого гостя, — стихотворения, так близкого житейской прозы, за все эти высокопарные строфы, парящие под облака и лопающиеся там подобно ракетам! Вот еще стихотворение того же поэта... Оно носит самое пошлое название, так истасканное нашими поэтами:

К ней

В суровой бедности невежественно дикой
Я рос средь буйных дикарей... и т. д.

В издании 1856 г. стихотворение имело подзаголовок «Из Ларры». Подготовляя незадолго до смерти собрание своих стихотворений, Некрасов зачеркнул заглавие «Из Ларры» и написал на полях: «Подражание Лермонтову. Сравни: Арбенин (в драме «Маскарад»). Не желаю, чтобы эту подделку ранних лет считали как черту моей личности. Был влюблен и козырнул. NB Отнести в приложения».

Псовая охота. Печатается по Стих 1873, ч. II, стр. 7—20. Впервые — С 1847, № 2, стр. 157—166.

Псовая охота была любимой забавой богатых помещиков. Ради нее они держали обширную псарню и целые отряды псарей. Именно поэтому она, по свидетельству сестры Некрасова, никогда не привлекала поэта, предпочитавшего ей простую ружейную охоту, не связанную с принуждением крестьян участвовать в барской забаве (ЛН, стр. 176).

В 1846 году в Петербурге появились два специальных трактата, посвященных восхвалению псовой охоты. Первый — «О псовой охоте», написанный «стремянным государевым» А. М. Венцеславским, — печатался в трех книжках «Журнала коннозаводства и охоты». Второй — «Псовая охота», написанный Н. Реуттом, — вышел в январе отдельной книгой (больше четырехсот страниц).

Некрасов использовал оба трактата, чтобы при помощи пародии на их выспренний стиль возможно рельефнее выразить суровую правду о крепостническом рабстве, лежащем в основе прославляемых ими увеселений.

И книга, и статья были написаны в восторженном стиле. О собачьем лае, например, говорилось: «Чудные голоса костромских собак»..., «бесподобные голоса... восхищают сердце охотника своей гармонической, громкой и стройной музыкой» («Журнал коннозаводства и охоты», 1846, № 1, стр. 77, 78). О крике собачников: «Музыкальное порсканье доезжачих»..., «восхитительное ату его!» (там же, стр 80; № 3, стр. 289).

О псовой охоте: «Псовую охоту можно назвать поэзией»..., «псовая охота может привести к восторженности в высшей степени»... (Там же, стр. 73).

Все эти места пародирует в своей сатире Некрасов, равно как и те страницы «Псовой охоты» Реутта, где автор восхищается необозримыми пространствами России, словно созданными для псовой охоты (ср. Реутт, стр. 3, 24, 25 — с заключительной главой «Псовой охоты» Некрасова).

Эпиграф, приводимый Некрасовым, находится на 26 стр. первого тома Реутта.

С. И. Пономарев, обратив внимание на ст. 85 и 99, выпадающие из схемы четырехстопного дактиля, которым написана вся сатира:

Здесь он не струсит, здесь не уступит...
Много травили, много скакали, —

счел необходимым ввести в основной текст Стих 1879 следующую конъектуру:

Здесь он не струсит, он здесь не уступит...

и

Много травили и много скакали...

(ср. Стих 1879, т. I, стр. 28 и т. IV, стр. XIV).

Н. Г. Чернышевский, в своих заметках по поводу издания Стих 1879, возражал против редакторского произвола С. И. Пономарева: «Напрасно он испортил текст своими поправками. — Обыкновенный повод к поправкам подает ему «неправильность размера»; а на самом

деле, размер стиха, поправляемого им, правилен. Дело в том, что Некрасов иногда вставляет двусложную стопу в стих пьесы, писанной трехсложными стопами; когда это делается так, как делает Некрасов, то не составляет неправильности.

Приведу один пример. В «Песне странника» (в «Коробейниках») Некрасов написал:

Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь?

В «Посмертном издании» стих поправлен:

...Что ты бабу-то бьешь?

Некрасов не по недосмотру, а преднамеренно сделал последнюю стопу стиха двусложною; это дает особенную силу выражению. — Поправка портит стих.

Так и в других случаях» (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. I. М., 1939, стр. 751).

Примечания к «Псовой охоте», печатаемые в тексте, принадлежат Некрасову.

1847

«Еду ли ночью по улице темной». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 54—56. Впервые — С 1847, № 9, стр. 153—154.

По поводу этого стихотворения Тургенев писал Белинскому 26(14) ноября 1847 г.: «Скажите от меня Некрасову, что его стихотворение в 9-ой книжке <«Современника»> меня совершенно с ума свело; денно и нощно твержу я это удивительное произведение — и уже наизусть выучил» (В. Г. Белинский. Письма, т. III. СПб., 1914, стр. 385).

Кружок Белинского был вообще от этого стихотворения в восторге: «Кавелин рассказывал, что когда Некрасов в первый раз прочитал в их кружке только что написанное им «Еду ли ночью», то все так были потрясены, что со слезами на глазах кинулись обнимать поэта» (Л. Ф. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого. М.-Л., 1934, стр. 155).

Цензура сочла это стихотворение безнравственным и подрывающим основы религии. Цензор Е. Волков, чиновник особых поручений при министре народного просвещения, доносил министру А. С. Норову в рапорте от 14 ноября 1856 г.:

«Нельзя без содрогания и отвращения читать этой ужасной повести! В ней так много безнравственного, так много ужасающей нищеты!.. И нет ни одной отрадной мысли!.. нет и тени того упования на благость провидения, которое всегда, постоянно подкрепляет злополучного нищего и удерживает его от преступления. Неужели, по мнению г. Некрасова, человечество упало уже так низко, что может решиться на один из тех поступков, который описан им в помянутом стихотворении? Не может быть этого! Жаль, что муза г. Некрасова одна из самых мрачных и что он видит все в черном цвете... Как будто уже нет более светлой стороны?» (В. Евгеньев-Максимов. Некрасов как человек, журналист и поэт. М.-Л., 1928, стр. 224—225).

Н. Г. Чернышевский в письме к жене из Вилюйска от 15 марта 1878 г. говорил про это стихотворение, что оно — первое из тех, «которые останутся долго прекраснейшими из русских лирических пьес». По словам Н. Г. Чернышевского, «оно первое показало: Россия приобретает великого поэта» (Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, Т. II. М., 1928, стр. 509).

Сюжет этого стихотворения был воспроизведен М. Е. Салтыковым-Щедриным в повести «Запутанное дело» (Н. Щедрин (М. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. I. М., 1941, стр. 240—241).

Александр Дюма, посетив Россию и познакомившись с Некрасовым, описал в одной из корреспонденций свою встречу с поэтом и перевел на французский язык несколько его стихотворений, в том числе и «Еду ли ночью». В «Современнике» (1859, № 5, стр. 154) этот перевод был перепечатан в статье «Нового Поэта».

«Если, мучимый страстью мятежной». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 41—45. Впервые — С 1847, № 7, стр. 193.

«Ты всегда хороша несравненно». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 34. Впервые — С 1850, № 9, стр. 44.

Нравственный человек. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 23—25. Впервые — С 1847, № 3, стр. 239—240.

В письме к Тургеневу от 19 февраля 1847 г. Белинский сообщал по поводу этих стихов: «Некрасов написал недавно страшно-хорошее стихотворение. Если не попадет в печать (а оно назначается в 3 №), то пришлю к вам в рукописи. Что за талант у этого человека! И что за топор его талант!» (В. Г. Белинский. Письма, т. III. СПб., 1914, стр. 181).

1848

Вино. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 60—63. Впервые — Стих 1856, стр. 28—30.

То место, где говорится, что крестьянин наточил на старосту нож, было «смягчено» таким образом:

Не из камня душа! Как шальной,
Я на улицу скок из окна:
«Погоди! разочтусь я с тобой»
И для смелости выпил вина.

Другое место, где упоминается нож, было переделано Некрасовым так:

Я остался полштофа распить.
А за первым другой чередом
Подоспел, от души отлегло,
Задремал я, обнявшись с Петром...

Вместо стиха:

Наточивши широкий топор

Некрасову пришлось написать:

Я на буйные умыслы скор.

Третья строфа является очень близким переложением одного отрывка из романа Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». Там в шестой главе во вставной новелле «История ежовой головы» некий житель петербургских углов рассказывает такую историю своего разорения:

«Набрал артель человек в шестьдесят; каждому задатку дал по сту и больше рублей. Снял работу — казармы поставить. Поставили — все как следует; только бы кончить да деньги получить; прихожу к полковнику — деньги прошу. — «Нет, братец, денег; не вышли еще». — Жду месяц, другой... Рабочие подали жалобу; платиться нечем, посадили меня в тюрьму...» (Н. А. Некрасов. Жизнь и похождения Тихона Тростникова. М.-Л., 1931, стр. 120).

«Вчерашний день, в часу шестом». Печатается по книге «Album de m-me Olga Kozlov». М., 1883, стр. 171, где опубликовано впервые.

Стихи были записаны Некрасовым в альбом О. Козловой со следующим пояснением: «Не имея ничего нового, я долго рылся в моих старых бумагах и нашел там исписанный карандашом лоскуток. Я ничего не разобрал (лоскуток, сколько помню, относился к 1848 году), кроме следующих осьми стихов:

Вчерашний день, часу в шестом <и т. д>

Извините, если эти стихи не совсем идут к вашему изящному альбому. Ничего другого я не нашел и не придумал. 9 ноября 1873 г. С.П.Б. Ник. Некрасов».

1849

«Я посетил твое кладбище». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 144—145. Впервые — С 1856, № 9, стр. 87.

Было принято думать, что в этих стихах отразился подлинный эпизод из биографии поэта. Но найденный И. Н. Розановым первоначальный вариант этих стихов («Среди моих трудов досадных») свидетельствует, что не смерть возлюбленной изобразил в этом стихотворении Некрасов, а лишь разлуку с нею, и что подлинное кладбище (вместо метафорического) появилось впоследствии уже в процессе разработки этой темы.

1850

«Я не люблю иронии твоей». Печатается по Стих 1783, ч. I, стр. 66. Впервые — С 1855, № 11, стр. 80.

«Да, наша жизнь текла мятежно». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 85—87. Цензурный пропуск ст. 41—49, во всех изданиях замененных строками точек, восстановлен в Стих 1934,

ч. 1, стр. 46—47, по тетради Л. Н. Модзалевского (ИЛИ), списку А. Я. Панаевой (ИЛИ), по экземплярам Стих 1856 в ИЛИ и В. М. Лазаревского (Киев. Библиотека Академии наук УССР). Впервые — Стих 1856, стр. 172—174.

Послание обращено к А. Я. Панаевой, находившейся в то время за границей.

В первоначальном беловом автографе первые строки написаны шестистопным ямбом:

Да, наша жизнь текла так горько и мятежно,
Так мало в ней встречали мы отрад (Солд.)

«Так это шутка? Милая моя». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 58—59. Впервые — С 1854, № 1, стр. 135—136.

Стихотворение также обращено к А. Я. Панаевой.

На улице. (1. Вор, 2. Проводы, 3. Гробок, 4. Ванька). Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 46—48. Впервые «Вор», «Проводы» и «Ванька» — Стих 1856, стр. 25—27; «Гробок» — Стих 1863, стр. 40—41.

Последняя строка стихотворения «Ванька»:

Мерещится мне всюду драма

воспроизводит строку из «Капризов и раздумий» А. И. Герцена: «За каждой стеной мне мерещится драма» (А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. IV, Пг., 1915, стр. 402). «Капризы и раздумья» появились впервые в «Петербургском сборнике» Некрасова (1846) (см. заметку И. Ямпольского «Некрасов и Герцен», «Научный бюллетень Ленинградского университета», № 16—17, Л., 1947, стр. 48—50).

1851

«Мы с тобой бестолковые люди». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 73. Впервые — С 1855, № 11, стр. 90.

Муза. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 67—69. Впервые — С 1854, № 1, стр. 75—76.

Та строфа «Музы», где говорится о свирели, построена на контрасте с пушкинским обращением к Музе:

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный стих напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.

Это стихотворение Пушкина, «Наперсница волшебной старины», появилось в печати уже после напечатания некрасовской «Музы» — в 1855 г. Очевидно, Некрасов знал текст подготовлявшегося к печати пушкинского стихотворения.

23 ноября 1852 г. Тургенев писал Некрасову по поводу «Музы»: «Скажу тебе, Некрасов, что твои стихи хороши, хотя не встречается в них того энергического и горького взрыва, которого невольно от тебя ожидаешь, — притом конец кажется как бы пришитым... Но первые 12 стихов отличны и напоминают пушкинскую фактуру» («Тургенев и круг «Современника». М.-Л., 1930, стр. 21).

25 мая 1856 г. Тургенев сообщал Некрасову: «В Москве твои все последние стихи (особенно «Муза») — произвели глубокое впечатление. — Даже Хомяков признал тебя поэтом. — Какого тебе еще лаврового венка?» (В. Е. Евгеньев-Максимов. Н. А. Некрасов и люди 40-х годов. — «Голос минувшего», 1916, № 5—6, стр. 36).

По прочтении «Музы» реакционно настроенный поэт А. Н. Майков обратился к Некрасову со стихотворным посланием, в котором увещевал Некрасова отказаться <!> от обличительных и гневных стихов.

Майков призывал Некрасова встать на путь полного примирения с действительностью и утверждал, что лишь после этого ему якобы явится истинная <!> муза, не знающая ни проклятий, ни стонов.

В то время борьба приверженцев «чистого искусства» с «гражданской поэзией» Некрасова была еще в самом начале, и стихотворение Майкова явилось одним из первых ее проявлений («Два стихотворения Ап. Майкова о Некрасове». Публикация С. Рейсера. — ЛН, стр. 614—617).

Новый год. Печатается по Стих 1873, ч. III, стр. 207—209. Впервые — С 1852, № 1, стр. 172—173.

Цензура в «Современнике» не разрешила стихов:

Не пощадил он никого,
И не дал людям ничего.

Возможно, что она видела в этих стихах косвенное порицание властей.

Через десять лет после напечатания этого стихотворения его цитировал Н. Г. Чернышевский в романе «Что делать?», придав ему характер пророчества о будущем социалистическом строе:

«Да разлетится горе в прах!

И разлетится.

И в обновленные сердца
Да снидет радость без конца!

Так и будет — это видно».

В. М. Латкин свидетельствовал, что для его друга В. М. Гаршина «Новый год» был одним из любимейших стихотворений Некрасова, наравне с «Сашей» и «Еду ли ночью по улице темной». «Всеволод Михайлович знал его наизусть и часто с увлечением декламировал» («Стихотворение Гаршина на смерть Некрасова». Сообщение Е. Базилевской. — ЛН, стр. 637). Это свидетельство вносит поправку в утверждение Г. В. Плеханова о том, что Гаршин будто бы относился к поэзии Некрасова крайне отрицательно.

«Блажен незлобивый поэт». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 92—94. Впервые — С 1862, № 3, стр. 147—148.

В 1917 г. В. И. Ленин использовал это стихотворение Некрасова в борьбе с буржуазной печатью, клеветавшей на большевистскую партию.

«Большевик вообще, — писал Ленин, — мог бы применить к себе известное изречение поэта:

Он слышит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

(В. И. Ленин. „Политический шантаж".
Соч. Изд. 3-е, т. XXI, стр. 93)

Стихотворение написано на смерть Гоголя. (Гоголь умер 21 февраля 1852 года.)

Некрасов высоко ценил творчество Гоголя — «честного сына своей земли», который «писал не то, что было легче для его таланта, а добивался писать то, что считал полезнейшим для своего отечества... Это благородная и в русском мире самая гуманная личность, — восклицал он в письме к Тургеневу. — Надо желать, чтобы по стопам его шли молодые писатели в России... (Собр. соч., т. V, стр. 212).

Творчество Гоголя-сатирика было знаменем новой реалистической литературы. Писателями реакционного лагеря в противовес «гоголевскому направлению» была выдвинута в пятидесятых годах теория «искусства для искусства». Против этой реакционной теории и направлено стихотворение Некрасова. Некрасов трактует Гоголя как поэта-обличителя, который «любил — ненавидя». Эта формула определяла собою «гоголевское направление» в литературе пятидесятых годов.

При печатании стихотворения в журнале цензура не разрешила указать, что оно относится к Гоголю (В. Е. Евгеньев-Максимов. Некрасов и Петербург. 1947, стр. 87). Но в 1855 г. Н. Г. Чернышевский обошел этот цензурный запрет и использовал стихи Некрасова для горячей апологии автора «Мертвых душ». «Никогда, — писал Чернышевский, — «незлобивый поэт» не может иметь таких страстных почитателей, как тот, кто подобно Гоголю, «питая грудь ненавистью» ко всему низкому, пошлому и пагубному, «враждебным словом отрицанья» против всего гнусного, «проповедует любовь» к добру и правде» (Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода. Полное собрание сочинений, т. III, М., 1947, стр. 21—22).

В скрытой полемике против Н. Г. Чернышевского приверженец «чистого искусства» А. В. Дружинин не раз пытался оспаривать главную мысль этого стихотворения Некрасова, но все возражения сводились у него к обывательщине: «При всем нашем добросовестном старании, — писал он, — мы с вами никогда не попробовали любить ненавидя или ненавидеть любя». («Повести и рассказы И. Тургенева». Собрание сочинений А. В. Дружинина. СПб., 1865, т. VII, стр. 293,

294, а также «Заметки и увеселительные очерки Петербургского туриста», Там же, СПб., 1867, т. VIII, стр. 468).

Стихотворение Некрасова произвело большое впечатление на Тургенева. В письме к Е. М. Феоктистову от 26 февраля 1852 года Тургенев писал: «Я послал Боткину стихи, внушенные Некрасову вестью о смерти Гоголя; под впечатлением их нашел я несколько слов для «Петербургских Ведомостей» («Тургенев и круг «Современника». М.-Л., 1930, стр. 152—153. Статья Тургенева была помещена в «Московских Ведомостях» 13 марта 1852 г.).

Эти-то «несколько слов», написанные под впечатлением некрасовского стихотворения, и вызвали арест и ссылку Тургенева (Н. В. Дризен. Арест и ссылка И. С. Тургенева. — «Исторический вестник», 1907, № 2, стр. 562).

Застенчивость. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 130—132. Впервые — в С 1855, № 1, стр. 7—8.

По свидетельству Ипполита Панаева, в стихотворении «Застенчивость» Некрасов изобразил себя: «Смолоду он был чрезвычайно застенчив в обществе... С годами таковая застенчивость стала выражаться (говоря его же словами) «маской наружного холода» (Ип. Панаев о Некрасове. — ЛН, стр. 537—538).

«О письма женщины, нам милой!» Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 133—134. Впервые — Стих 1856, стр. 193—194.

«Ах, были счастливые годы!» Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 90—91. Впервые — С 1853, № 1, стр. 156.

Перевод стихотворения Гейне «Госпожа Забота» («Frau Sorge») из книги «Романцеро» (1851). Перевод довольно близкий к подлиннику, за исключением строфы, где старуха Забота крестит зевающий рот. У Гейне этого образа не было, не было его вначале и в некрасовском тексте; очевидно, цензура запретила такое «кощунство». В «Современнике» стихотворение кончалось так:

Протяжно зевает старуха,
Прикрывши ладонью уста.

Лишь в части тиража «Современника» последние строки напечатаны так:

Сморкается громко старуха,
Зевает и... уста.

Прекрасная партия. Печатается по Стих 1873, ч. II, стр. 21—35; ст. 128 восстановлен по первопечатному журнальному тексту. Впервые — БдЧ, 1856, № 10, стр. 199—205.

Ст. 173—180, относящиеся к актрисе В. Н. Асенковой, связывают это стихотворение со стихотворением «Памяти <Асенков>ой». Связь этих замыслов подтверждается также и примечанием Некрасова на экземпляре Стих 1873, сделанным к стихотворению «Памяти <Асенков>ой»: «Это собственно эпизод из пьесы «Прекрасная партия», которую писал наскоро для Дружинина, не успел отделать,

и она долго валялась» (С. И. Пономарев в Стих 1879, ч. IV, стр. XXXIV).

Читал Фудраса и Дюма — Маркиз де Фудрас (вернее Фудра, 1810—1872) — французский писатель, автор многочисленных романов из великосветской жизни. *Был от Рубини без ума* — Джованни Баттиста Рубини (1795—1854) — знаменитый итальянский тенор, певший два сезона в Петербурге. *И Кукольник и Кони...* — Н. В. Кукольник (1809—1868) — автор напыщенных трагедий. Ф. А. Кони (1803—1879) — водевилист. *Широкоплечий трагик* — трагический актер В. А. Каратыгин (1802—1858). *Кто по часам не поджидал зеленую карету* — Воспитанницы театрального училища приезжали на спектакль в каретах темнозеленого цвета. *Но ты, к кому души моей летят воспоминанья* — В. Н. Асенкова. *Взяв образец в Ловласе* — Ловлас — тип соблазнителя женщин в старинном романе английского писателя Ричардсона «Кларисса, или история юной леди» (1748). *У Кессених в танцклассе* — Содержательница танцкласса Луиза Кессених была одной из петербургских знаменитостей: в молодости она служила в прусском уланском полку, участвовала во многих сражениях и, дослужившись до чина вахмистра, открыла в Петербурге танцкласс.

За городом. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 88—89. Впервые — Стих 1856, стр. 155—156.

Библейское выражение «сильные и сытые земли» (в предпоследнем стихе), возможно, заимствовано Некрасовым из знаменитого письма Белинского к Гоголю, где говорилось о пророках, «обличавших беззакония сильных земли».

1853

Памяти Асенковой. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 74—79. Впервые — С 1855, № 9, стр. 31—33.

Варвара Николаевна Асенкова, талантливая водевильная артистка, умерла от скоротечной чахотки двадцати трех лет от роду в 1841 г. Ее ранняя смерть произвела большое впечатление на тогдашнее петербургское общество. Юноша Некрасов, вращавшийся в театральных кругах, был лично знаком с нею.

В стихотворении Некрасова говорится, что отвергнутые Асенковой «старые богачи» и «молодые нахалы» решились отомстить ей клеветой. Среди этих отвергнутых называли также и Николая I. По словам артистки А. И. Шуберт, в распространении клеветы принимали близкое участие сослуживцы Асенковой, сестры Самойловы, которые старались выставить ее как особу легкого поведения (А. И. Шуберт. Моя жизнь. Л., 1928, стр. 70).

Клевета тяжело отразилась на слабом здоровье Асенковой, и, когда Асенкова умерла, стали говорить, будто виновник ее смерти — Николай. Ее похороны были своего рода демонстрацией протеста (сообщено поч. академиком А. Ф. Кони).

На полях этого стихотворения, вошедшего в издание 1873 г., Некрасов написал карандашом: «Актрисе Асенковой, блиставшей тогда. Бывал у нее, помню похороны, — похожи, говорили тогда, на

похороны Пушкина; теперь таких вообще не бывает». Ср. А. Брянский. В. Н. Асенкова. Л., 1947, стр. 37.

Последние элегии. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 125—128. Первая элегия впервые — С 1853, № 3, стр. 120 (без заглавия и подписи); полностью три элегии — Стих 1856, стр. 186—189.

«Элегии» написаны под влиянием тяжелой болезни, которой поэт захворал весною 1853 г. (см. Н. А. Белоголовый. Воспоминания. М., 1897, стр. 438—439).

Некоторые строки «Последних элегий» впоследствии отразились в шуточном стихотворении Добролюбова «Исполнясь мужества и помолившись богу» (см. статью Б. Я. Бухштаба. Добролюбов-пародист. — «Известия отделения общественных наук Академии наук СССР», 1936, № 1—2).

В деревне. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 80—84. Впервые — С 1854, № 11, стр. 5—7.

Хотя стихотворение «В деревне» было напечатано за несколько месяцев до смерти Николая I (1855), но, когда оно появилось в первом издании книги Некрасова (1856), память о смерти царя была еще так свежа, что у читателей сложилось убеждение, будто стихи Некрасова являются откликом на эту смерть.

Строки, говорившие о причине его гибели:

Сорок медведей поддел на рогатину —
На сорок первом сплошал —

были восприняты как намек на позорный крах, вызванный Крымской войной и вскрывшей бессилие самодержавного строя.

Такие образы, как «расшатанная избенка» и «развалившийся овин», были в глазах читателей аллегорическим изображением тогдашней потрясенной России.

Об этом истолковании стихотворения «В деревне» можно заключить из одного места в официальной записке Некрасова, поданной им министру внутренних дел А. В. Головнину в 1862 г. Хлопоча в этой записке о новом издании своих стихотворений, Некрасов, между прочим, говорит:

«...Приверженцы крепостного права выставили книгу Некрасова возмутительной ... истолковав, как намек на одну высокую личность, другое стихотворение («В деревне»), бывшее простым рассказом из сельского быта...»

Записка приведена у М. Лемке («Очерки по истории русской цензуры», П., 1904, стр. 314), который, однако, не обратил внимания на подчеркнутые слова. О стихотворении «В деревне» критик Аполлон Григорьев писал, что оно «имеет претензию на большую ядовитость», из чего явствует, что и Григорьев воспринимал это стихотворение как политический памфлет.

В письме к Тургеневу от 11 января 1857 г. Герцен писал, что оно — «прелесть» (А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. 8, П. 1917, стр. 390).

Тургенев оценил это стихотворение еще раньше. В письме к Ив. Аксакову от 1854 г. он говорил, что Некрасов «написал несколько хороших стихотворений, особенно одно — плач старушки крестьянки об умершем сыне» («Современник», 1915, № 3, 113).

Первоначально стихотворение Некрасова было посвящено С.С.Д. — по всей вероятности, Степану Семеновичу Дудышкину (1820—1866), бывшему в то время фактическим редактором «Отечественных Записок».

Памяти приятеля. Печатается по Стих 1873, ч. II, стр. 37—46. Впервые — С 1856, № 2, стр. 237—242.

Стихотворение написано к пятилетию со дня смерти Белинского и напечатано при первом же облегчении цензурного гнета, вскоре после смерти Николая I.

Под именем приятеля Некрасов изображает В. Г. Белинского, имевшего огромное влияние на его литературную судьбу.

«Некрасов узнал Белинского в пору его полной зрелости, — говорит А. Еголин. — В эти годы в сознании великого критика складывалась та система идей, которая им была выражена в знаменитом письме к Гоголю. «Письмо к Гоголю» и явилось той программой, по которой учился Некрасов у Белинского» (А. Еголин. Н. А. Некрасов. М., 1941, стр. 40).

Великий критик горячо переживал в это время идеи социализма. «Я теперь в новой крайности, — писал он одному из друзей, — это *идея социализма*, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса. Она для меня поглотила и историю, и религию, и философию. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всех, с кем встречался я на пути к жизни. ...Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой ... Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди... И это сделается через *социальность*. И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастию. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов» (В. Г. Белинский. Письма, т. II, СПб., 1914, стр. 262—269).

Таковы были те идеи, которые Белинский, «упорствуя, волнуясь и спеша», внушал молодому Некрасову, уже достаточно подготовленному к их восприятию собственным жизненным опытом. Из всех писателей, составлявших ближайшее окружение Белинского, Некрасов на всю жизнь остался самым верным его учеником и последователем. Никто из друзей Белинского не сделал так много для увековечения памяти великого критика, сколько сделал Некрасов своими стихами и прозой.

По поводу затерянной могилы Белинского в некрасовском «Современнике» в «Заметках Нового Поэта» было напечатано следующее:

«После возвращения с похорон Белинского, все мы, друзья его, единодушно решили непременно поставить памятник на его могиле, но решение это так и осталось. Мы и след потеряли к этой дорогой для нас могиле. И какие-то совсем посторонние люди, никогда не ви-

давшие в глаза покойного, — отыскали ее недавно» («Современник», 1860, № 1, стр. 375). Как потом оказалось, отыскал эту могилу библиограф П. А. Ефремов («Русское библиологическое общество». Доклады и отчеты, т. I, П., 1908, стр. 1—2).

Тотчас же после появления этих стихов друг Белинского Василий Боткин писал Тургеневу 12 марта 1855 г.: «Стихи Некрасова... во всех отношениях превосходны» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. М.-Л., 1930, стр. 51).

Тургенев гораздо позднее, уже во время разлада с Некрасовым, процитировал из этого стихотворения знаменитую строчку, характеризующую В. Г. Белинского: «Говорил он с особенными ударениями и придыханиями, «упорствуя, волнуясь и спеша» (И. С. Тургенев. Воспоминания о Белинском. Полное собрание сочинений, т. XI, М.-Л., 1934, стр. 399).

Филантроп. Печатается по Стих 1873, ч. II, стр. 37—46. Впервые — С 1856, № 2, стр. 237—242.

В 1846 г. в великосветских кругах Петербурга возникло благотворительное «Общество посещения бедных». Попечителем общества был герцог Лейхтенбергский (с 1853 г. вел. князь Константин Николаевич), председателем — князь В. Ф. Одоевский. В числе членов были: наследник престола, будущий Александр II, граф Д. Н. Шереметев, граф И. И. Воронцов-Дашков, князь М. Ю. Вьельгорский и др. В обывательской журналистике того времени было принято восхвалять это общество в таком гиперболическом тоне: «Всюду является оно, чтобы поднять на ноги упавшего, отереть слезы плачущего и утешить страждущего» («Заметки петербургского жителя». «Библиотека для Чтения», 1855, № 4, стр. 110—127). Но хотя в составе этого общества были богатейшие люди страны, в апреле 1855 года оно было упразднено *за отсутствием средств!* (Н. В. Путята. Воспоминания об Обществе посещения бедных просителей. — «Русский Архив», 1874, № 2, стр. 263—276).

«Филантроп» — явная насмешка и над этим обществом и отчасти над его председателем.

В одном из беловых автографов «Филантропа» есть следующая надпись Некрасова:

«Члену Общества Посещения Бедных, Его В<ысокоро>дию Мих<аил>у Ник<олаевичу> Лонгинову отставного Коллежского Секретаря Пучина всенижайшее донесение о причинах, доведших означенного Пучина до крайней степени нищеты, бродяжничества и пьянства».

Барская благотворительность только способствует бедности — такова мораль некрасовской сатиры. В лице «филантропа» поэт отдельными чертами изобразил князя Одоевского; тот тоже был «сиятельным лицом», тоже писал «для мужиков» популярные брошюры по физике и тоже пользовался репутацией «ангельски незлобивой души».

Через год после появления «Филантропа» в печати, в январе 1857 г., некоторые строки этой поэмы Некрасова цитировал Н. А. Добролюбов в своем ироническом конспекте лекций по истории русской словесности, составленном им во время его пребывания в Главном Педагогическом институте, причем направленность этих

строк против Одоевского здесь признавалась фактом, не вызывающим ни малейших сомнений.

«В последнее время, — писал Добролюбов, — Одоевский написал ряд рассказов для простонародия! Он издавал «Сельское чтение» и *в русском духе молодецкая как по маслу речь текла* в этих рассказах, в которых *он старался мужика вразумить об электричестве*» (Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. V. М., 1941, стр. 504).

В 1860 г. В. Ф. Одоевский, узнав о том, что на вечере в пользу Литературного фонда Некрасов собирается прочитать «Филантропа», обратился к поэту с просьбой не читать этих стихов перед публикой, дабы не давать повода для пересудов и сплетен. Некрасов согласился прочитать другие стихи (Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки. 1934, стр. 247). В своем дневнике В. Ф. Одоевский отметил 10 января 1860 г.: «Чтение в Пассаже в пользу литераторов. — Публика требовала «Филантропа», Некрасов сказал, что слабость груди препятствует ему читать более» («Литературное наследство», М., 1935, № 22—24, стр. 103).

По словам Некрасова, он для своего «Филантропа» использовал также некоторые черты известного писателя В. И. Даля, который однажды, за десять лет до того, когда Некрасов пришел к нему по делу, принял усталого поэта за пьяного. «Но, по-моему, я и Даля тоже в нем не изображал, а вывел черту современного общества, — и совесть моя была и остается спокойна» (см. письмо Некрасова к Одоевскому от 10 января 1860 г. Собр. соч., т. V, стр. 347).

В «Современнике» и в первом издании был куплет, несомненно изображающий Даля:

В русском духе молодецкая
Как по маслу речь текла,
Хоть фамилия немецкая
У особы той была.

Однако в автографе (1853) этого куплета нет. Зато есть другой, ближе подходящий к Одоевскому:

Славен не короной графскою,
Не приездом ко двору,
Не звездою станиславскою,
А любовию к добру.

Хотя впоследствии Некрасов и отступил от портретности, но во всех дальнейших изданиях сохранял куплет о «станиславской звезде». В первом издании этот куплет исключен под давлением цензуры, но в изданиях 1864 и 1873 гг. он был снова восстановлен поэтом.

17 ноября 1853 г. Некрасов писал Тургеневу:

«Посылаю тебе «Филантропа»... Этой вещи я не почитаю хорошею, но дельною...» (Собр. соч., т. V, стр. 184).

Отрывки из путевых записок графа Гаранского. Печатается по Стих 1873, ч. III, стр. 201—206. Цензурный пропуск ст. 58—67 восстановлен по копии Л. Н. Модзалевского (ИЛИ).

Окончательный текст ст. 42 дан по копии М. Л. Михайлова, принадлежавшей Н. Ф. Анненскому. Впервые — Стих 1856, стр. 93—96.

В письме к А. Н. Пыпину Н. Г. Чернышевский сообщал: «...перевод заглавия книги Гаранского на французский язык Некрасов поручил сделать мне; у него оно было написано по-русски; я сделал... Тургенев поправил» (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. I, М., 1939, стр. 750).

Статский советник Е. Волков в отчете о книжке стихотворений Некрасова, вышедшей в 1856 г., дал министру народного просвещения А. С. Норову следующий неодобрительный отзыв о «Записках графа Гаранского»: «Нет сомнения, что автор имел благую цель при сочинении этих отрывков; но едва ли она будет достигнута!.. Надо спросить у крестьян, что скажут они, если кто-нибудь из них прочтет эти отрывки. Наверное можно предположить, что тот не засмеется!. а скажет вместе с автором: «Жаль, дремлет русский ум», — и предлагаемую автором «сатиру» примет, пожалуй, за другое слово» (В. Евгеньев-Максимов. Некрасов как человек, журналист и поэт. М.-Л., 1928, стр. 224).

Полностью эта сатира стала известна читателям только в советское время. Во всех изданиях до 1927 г. после строк:

А то и хуже есть. Вот памятное место:
Тут славно мужички расправились с одним... —
«А что?»

следовали точки, отмечавшие цензурный пропуск — девять строк — о расправе разгневанных крестьян с угнетателем-помещиком.

Буря. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 78—79. Впервые в этой редакции — Стих 1856, стр. 184—185.

Первоначальный вариант этого стихотворения Некрасов переработал в 1853 г.: придал ему другой размер (трехстопный анапест заменил шестистопным хореем) и сократил его почти втрое. Недавно найдена беловая рукопись этого второго варианта. (Солд.)

Шубка — сарафан.

1854

Несжатая полоса. Печатается по Стих 1856, стр. 137—138. Впервые — С 1855, № 1, стр. 27—28.

Стихотворение написано под влиянием тяжелой болезни, которой Некрасов заболел весною 1853 г. Тот же образ сеятеля он применил к себе в стихотворении «Сон», написанном им за месяц до смерти (1877):

И музе возвращу я голос,
И вновь блаженные часы
Ты обретешь, сбирая колос
С своей несжатой полосы.

Слово станица в девятой строке вызвало недоумение одного педагога, который обратился к поэту с письмом, прося разъяснить это

слово. Некрасов ответил, что «с детства слышал его в народе, между прочим, в этом смысле: птицы летают *станицами;* воробьев *станичка* перелетела и т. п. ... Слова: группа, партия, даже стая, которыми можно было бы заменить его в «Несжатой полосе», кроме своей прозаичности, были бы менее точны, лишив выражение того оттенка, который характеризует птицу перелетную (о которой идет речь в стихотворении), располагающуюся время от времени станом на удобных местах для отдыха и корма» (Стих 1879, ч. IV, стр. XXXVII).

«Я сегодня так грустно настроен». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 124. Впервые — С 1855, № 5, стр. 136.

Вызвано той же болезнью Некрасова, которая отразилась в стихотворениях «Последние элегии», «Несжатая полоса», «Тяжелый год, сломил меня недуг», «Саша» и др.

Влас. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 115—119; два четверостишия, во всех прижизненных изданиях следовавшие после ст. 52 и 76, но отсутствующие в посмертном издании Стих 1879, исключены. Впервые — С 1855, № 6, стр. 329—331.

По словам А. Я. Панаевой, прототипом «Власа» послужил Некрасову один из бывших крепостных его отца. Этот человек был сдан в солдаты, вернулся на родину после многолетнего пребывания на службе и, не найдя в живых никого из своей семьи, «посвятил остаток жизни на собирание пожертвований...» (А. Я. Панаева. Воспоминания. М.-Л., 1948, стр. 408).

14 июня 1854 года. Печатается по Стих 1856, стр. 147. Впервые — С 1854, № 7, стр. 5.

В этом патриотическом отклике на один из ранних эпизодов Крымской войны Некрасов называет нашими «исконными кровавыми врагами» турок, англичан и французов, которые незадолго до этого (в марте 1854 г.) объединились для совместного вторжения в Россию.

Эпизод, вызвавший стихотворение Некрасова, предшествовал неудачной попытке английского флота высадить десант. По поводу этого эпизода в полуофициальной газете была напечатана такая заметка:

«14 июня красногорский телеграф показал, что неприятельский флот идет к Кронштадту в числе тридцати одного судна... В девять часов утра увидели огромное дымное облако, — это был Непир со своими сподвижниками, идущий покорить Кронштадт. В исходе десятого часа неприятель стал на якорь между Толбухиным маяком и Красной горкой... 20 июня в девять часов Англо-французский флот снялся с якоря и под парусами и парами пошел в море; в двенадцатом часу он скрылся из виду...» («Северная Пчела», 1854, № 155, стр. 726).

В день появления неприятельской эскадры у Кронштадта Некрасов находился на даче между Ораниенбаумом и Петергофом, видел боевые суда и слышал канонаду.

«Праздник жизни — молодости годы». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 102—103. Впервые — С 1856, № 8, стр. 206.

Вскоре после появления этих стихов в печати Н. Г. Чернышевский в письме к Некрасову оспаривал ту невысокую оценку, которую давал своей поэзии Некрасов:

«Вы говорите:

Нет в тебе *поэзии свободной,*
Мой *тяжелый, неуклюжий стих* —

Вам известно, что я с этим не согласен. Свобода поэзии... в том, чтобы не стеснять своего дарования произвольными претензиями и писать о том, к чему лежит душа... Теперь: тяжелый и неуклюжий стих. Тяжестью часто кажется энергия, поэтому говорят, что стих Лермонтова тяжелее стиха Пушкина... В чем состоит неуклюжесть Вашего стиха, я решительно не понимаю. У Пушкина есть много стихов негладких — что ж из того следует? Ровно ничего (Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. II, М.-Л., 1928, стр. 336).

Извозчик. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 29—30. Впервые — С 1855, № 5, стр. 132—135.

Упомянув в своем литературном фельетоне некрасовское стихотворение «Извозчик», О. И. Сенковский (Барон Брамбеус) мимоходом заметил, что тема этого стихотворения напоминает ему «прозаический рассказ г. Погодина, помещенный в одном из альманахов двадцатых годов» («Библиотека для Чтения», 1855, № 7, отдел «Журналистика», стр. 11).

Критик, несомненно, имел в виду рассказ М. П. Погодина «Психологическое явление», напечатанный в альманахе «Денница» (1830). Но, при внешнем сходстве обоих сюжетов, по существу они очень различны: у Погодина извозчик повесился из-за того, что не присвоил чужого добра, у Некрасова причина самоубийства — крепостная неволя.

В начале шестидесятых годов некоторые представители цензурного ведомства предлагали исключить стихотворение «Извозчик» из сборника некрасовских стихов (В. Евгеньев-Максимов. Некрасов как человек, журналист, поэт. М.-Л., 1928, стр. 233).

Грязнáя, где стоял Ванька, — улица в Петербурге, впоследствии Николаевская, ныне улица Марата.

Саша. Печатается по Стих 1873, ч. II, стр. 47—77. Восстановление цензурного пропуска ст. 443—446 и 453—455 сделано по тексту корректур (ИЛИ), ст. 456 — по тексту копии Л. Н. Модзалевского (ИЛИ). Впервые — С 1856, № 1, стр. 123—140.

Первое упоминание о поэме находится в письме Некрасова к Тургеневу от 30 июня 1855 г.: «Помнишь, на охоте как прошептал я тебе начало рассказа в стихах — оно тебе понравилось; весною нынче в Ярославле я этот рассказ написал, и так как это сделано

единственно по твоему желанию, то и посвятить его желаю тебе, с условием: вышли мне о нем свое искреннее мнение; на днях ты его получишь. Я уже начал переписывать его» (Собр. соч., т. V, стр. 205).

Образ героя «Саши» отчасти сходен с тургеневским Рудиным; критика неоднократно утверждала, будто Некрасов в данном случае находился под влиянием Тургенева. Либеральный критик С. Дудышкин в «Отечественных Записках» писал: «Мы помним появление поэмы «Саша» вслед за «Рудиным» и наше приятное изумление, когда мы в этой поэме нашли того же Рудина, только переложенного на стихи... Сходство между ним и Агариным до того сильно, что даже выразилось не только в общих чертах, но и в мелочах» (О. З., 1861, № 12, стр. 87).

Тургенев и сам утверждал, будто «Саша» есть переложение «Рудина» (См. И. С. Тургенев. Сочинения, т. XII, 1933, стр. 296).

Эти утверждения опровергаются фактами: Некрасов начал свою поэму еще в 1852 г., за четыре года до появления «Рудина», и кончил ее 1 мая 1855 г.

И «Рудин» и «Саша» появились в печати одновременно в первой книжке «Современника» за 1856 г. В «Современнике» и в первом издании «Стихотворений Некрасова» «Саша» была посвящена И...у Т...ву, т. е. Ивану Тургеневу. Вначале цензура не разрешила этой поэмы, и Некрасову пришлось просить своего приятеля Е. П. Ковалевского, чтобы тот добился у министра народного просвещения А. С. Норова позволения напечатать ее («Книга и революция», 1921, № 2(14), стр. 38).

У царской цензуры были, конечно, все основания считать эту поэму «неблагонамеренной». Под прикрытием идиллической «усадебной» фабулы Некрасов обличал тех либеральных дворян, которые, щеголяя демократическими и даже революционными фразами, уклонялись от активной борьбы с произволом. Из-за цензурных стеснений призыв к этой борьбе прозвучал в поэме еле слышно, но те, к кому он обращался, услыхали его. Вера Фигнер, например, вспоминала впоследствии: «Поэма «Саша» произвела на меня величайшее впечатление строгим осуждением слова, не переходящего в дело» (Вера Фигнер. Студенческие годы. Полное собрание сочинений, т. V, М., 1932, стр. 91).

Этой поэмой Некрасов начал ту беспощадную борьбу с либералами, которую он вел на протяжении всей своей деятельности. Его соратник по этой борьбе Н. А. Добролюбов в своей знаменитой статье «Что такое обломовщина» причислил героя «Саши» к разряду так называемых «лишних людей», на которых обломовщина наложила «неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужности на свете». Характеризуя Обломова, Н. А. Добролюбов цитировал некрасовские стихи об Агарине (Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. II, М.-Л., 1935, стр. 24).

Приравнивая Агарина к герою тургеневской «Аси» и к Бельтову из повести Герцена «Кто виноват?», Н. Г. Чернышевский писал о нем: «Натолковал он Саше, что, говорит, не следует слабеть душою, потому что «солнышко правды взойдет над землею» и что

надобно действовать для осуществления своих стремлений, а потом, когда Саша принялась за дело, он говорит, что это напрасно и ни к чему не приведет, что он болтал пустое» («Русский человек на rendez-vous»).

Политическая тенденция поэмы Некрасова ускользнула от читателей правого лагеря, и они увидели в «Саше» — полный отказ (!) поэта от так называемой «гражданской поэзии» и переход на позиции «чистого искусства».

Отражая мнение этих кругов, В. П. Боткин писал Некрасову 3 февраля 1856 г. из Москвы: «Саша твоя — здесь всем очень понравилась, даже больше чем понравилась: об ней отзываются с восторгом» («Голос Минувшего», 1913, № 1, стр. 182).

Среди москвичей, увидевших в «Саше» отречение Некрасова от обличительной и «желчной» поэзии, были и С. Т. и К. С. Аксаковы. С. Т. Аксаков 7 февраля 1856 г. писал Тургеневу о Некрасове: «В последних стихах его [т. е. в «Саше»] так много истины и поэзии, глубокого чувства и простоты, что я поражен ими, ибо прежде не замечал ничего подобного в его стихах» (Н. П. Барсуков. Жизнь и труды Погодина, кн. XIV, П., 1900, стр. 353).

Молодой Лев Толстой тоже увидел в «Саше» отказ Некрасова от прежнего обличительного направления и горячо приветствовал его за то «примирение с действительностью», которое почудилось ему в начальных строках поэмы: «Злобою сердце питаться устало...» и т. д. («Современник», 1913, № 1, стр. 240).

Все эти отзывы были основаны на ошибочном истолковании «Саши». Напечатанные через несколько месяцев такие стихотворения Некрасова, как «Поэт и гражданин», «Отрывки из записок графа Гаранского», «Забытая деревня» и др., с величайшей наглядностью обнаружили, что надежды на поправение Некрасова не имели никаких оснований.

«Давно — отвергнутый тобою». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 129. Впервые — С 1856, № 9, стр. 89.

В письме от 30—31 июня 1855 г. Некрасов спрашивал Тургенева: «Скажи — понравятся ли тебе эти стихи: <следует текст стихотворения>. Это тоже Ярославское произведение» (Собр. соч., т. V, стр. 208).

Тургенев отвечал: «Стихи твои «К*» просто Пушкински хороши — я их тотчас на память выучил» («Голос Минувшего», 1916, № 5—6, стр. 32—33). Кроме того, Тургенев собственноручно переписал их в ряду других стихотворений, которые он наиболее высоко ценил (И. С. Тургенев. Сборник Госуд. библиотеки им. В. И. Ленина, М., 1940, стр. 219).

По словам Н. Г. Чернышевского, стихотворение посвящено А. Я. Панаевой. Последние строки Чернышевский толкует так: брат Некрасова <Федор Алексеевич>, «человек грубых нравов», поссорился с братом Авдотьи Яковлевны из-за денег. Во время ссоры брат Некрасова так оскорбил Авдотью Яковлевну, что она решила разойтись с Некрасовым.

«Итак, — говорит Чернышевский, — «отвергнутый тобою» — это она не решалась бросить мужа. — А «забыт тобою» — она сказала

«Разойдемся. Уезжай» («Чернышевский в Сибири». Т. III, П., 1913, стр. 60).

В романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» «новые люди» поют это стихотворение наряду с «Песней Еремушке».

Письма. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 96. Впервые — Стих 1856, стр. 146.

Стихотворение отражает в себе тот недолгий разрыв, который произошел у поэта с А. Я. Панаевой в феврале 1855 г. Оно тесно связано со стихотворениями, посвященными ей в ту же пору: «Прощанье» и «Прости» и др.

«Тяжелый год — сломил меня недуг». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 143. Впервые — в Стих 1861, стр. 172—173.

Написано во время разрыва с А. Я. Панаевой (в феврале 1855 г.). Тематически связано со стихотворениями «Прости, не помни дней паденья», «Прощанье», «Тяжелый крест достался ей на долю», «Письма» и другими, относящимися к тому же периоду. Как тяжело переживал Некрасов эту размолвку, видно из писем В. П. Боткина, который в то время жил на даче с Некрасовым. «Она хорошо сделала, что приехала к нему, — писал Боткин Тургеневу 14 июня 1855 года. — Разрыв ускорил бы смерть Некрасова» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. М.-Л., 1930, стр. 53).

«Безвестен я. Я вами не стяжал». Печатается по Стих 1869, ч. I, стр. 136. Цензурный пропуск ст. 10 восстановлен по беловой рукописи Солд., где эта строка вписана рукой Некрасова. Впервые — Стих 1856, стр. 157.

В 1855 г., когда писались эти строки, Некрасов все еще считал себя «безвестным». Только через год, когда вышла первая книжка его стихов, он имел возможность убедиться, что он самый популярный из русских поэтов.

В конце стихотворения после слова «И» во всех досоветских изданиях следовал ряд точек: цензура не допускала строки о кнуте.

Маша. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 70—72. Впервые — С 1855, № 3, стр. 87—88.

14 февраля 1855 г. цензор В. Н. Бекетов писал Некрасову: «Стихи ваши, любезнейший Николай Алексеевич, «Маша» — я передавал на просмотр г. председателя цензурного Комитета, и вот результат:

1. Следует изменить слово Казенный.

2. Заменить другим чем мысли:

Но испорчен он был с малолетства
Изученьем новейших наук.

3. Заменить слово Либерал другим.

А затем остальное как есть («Архив села Карабихи», М., 1916, стр. 78).

Некрасов был вынужден подчиниться этому цензурному требованию. Но уже в издании стихов 1856 года он напечатал «Машу» в первоначальной редакции.

Н. Г. Чернышевский использовал стихотворение «Маша» для пропаганды своих экономических взглядов (С 1859, № 2, стр. 323).

Представителям правого крыла «Современника» это стихотворение показалось формально слабым: «Маша» — мысль хороша, — да не вытанцовалась — и вообще пьеса вышла как-то угловата», — писал В. П. Боткин И. С. Тургеневу 12 марта 1855 г. (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. М.-Л., 1930, стр. 51). В этом отрицательном отзыве один из первых признаков идейного расхождения правого крыла «Современника» с Некрасовым.

По поводу «Маши» С. Н. Терпигорев вспоминал, что в шестидесятых годах было распространено мнение, будто «Маша» — это Ольга Сократовна Чернышевская («Исторический Вестник», 1896, № 3, стр. 703). Мнение это не подкрепляется фактами.

Указанная поэтом дата написания «Маши» — 1851 г. (см. Стих 1879, ч. I, стр. 7 и ч. IV, стр. XXIX) — неверна, так как черновой автограф этого стихотворения находится среди рукописей Некрасова 1855 г.

В больнице. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 105—110. Впервые — С 1855, № 10, стр. 157—160.

Судя по черновикам, стихотворение «В больнице» было первоначально задумано как вступление в поэму «Белинский». Согласно этому раннему замыслу, умирающий в подвале «бедный и честный писатель» обращался перед смертью к молодым литераторам с горячим призывом отдать все силы на служение народному благу.

Эту предсмертную честную речь
В форме, быть может, нестройной
Нынче хочу от забвенья сберечь.
Вот что сказал нам покойный.

Дальше следовало поэтическое изложение заветов великого критика. Впоследствии эти строфы были перенесены Некрасовым (в сильно переработанном виде) в поэму «Белинский», откуда частично перешли в стихотворение «Русскому писателю» и окончательно стабилизировались в диалоге «Поэт и гражданин». А стихотворение «В больнице» приобрело новый сюжет. Вскоре после его появления в «Современнике» Некрасов прислал отпечатанный текст Солдатенкову с двумя новыми вставками, приписав внизу карандашом: «Прибавленные строфы пришли мне в голову после того, как уже стихотворение было набрано». (Солд.)

«Поражена потерей невозвратной». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 146. Впервые — С 1856, № 5, стр. 64.

На экземпляре своих стихов, изданных в 1873 г., поэт сделал карандашом примечание по поводу «невозвратной потери»: «Умер первый мой сын младенцем — в 1848 году» (Стих, 1879, ч. IV, стр. XXIII).

И все же мы относим это стихотворение к более поздней дате, так как его черновик находится в тетради 1855 г. Именно в этом

году и умер младенцем сын Некрасова. «Бедный мальчик умер, — писал 19 апреля 1855 г. Некрасов Тургеневу. — Должно быть, от болезни, что ли, на меня это подействовало, как я не ожидал» (Собр. соч., т. V, стр. 203). Матерью этого мальчика была А. Я. Панаева. В мемуарной литературе нет никаких сведений о том, что в 1848 г. у Панаевой и Некрасова был сын, скончавшийся в младенческом возрасте. Судя по «Воспоминаниям» Авдотьи Панаевой, в 1848 г. в ее жизни не было больших потрясений. Между тем смерть ее сына, происшедшая в 1855 г., отразилась во многих ее письмах (см., например, ее письма к Ипполиту Панаеву (ЛН 3).

В. Г. Белинский. Печатается по ПЗ на 1859 г., кн. V, стр. 48—52, где было напечатано впервые.

Во время предсмертной болезни в 1876 г. Некрасов записал в дневнике: «*23 августа.* Сегодня ночью вспомнил, что у меня есть поэма «В. Г. Белинский». Написана в 1854 или 5 году — нецензурная была тогда и попала по милости одного приятеля в какое-то герценовское заграничное издание: «Колокол», «Голоса из России», или подобный сборник. Теперь из нее многое могло бы пройти в России, в новом издании моих сочинений. Она характерна и нравилась очень, особенно, помню, Грановскому. Вспомнил из нее несколько стихов, по которым ее можно будет отыскать:

В то время пусто и мертво
В литературе нашей было»

(«Автобиографии Некрасова», публикация В. Евгеньева-Максимова и С. Рейсера. — ЛН, стр. 170).

После смерти Некрасова сестра поэта показала эту поэму Салтыкову и Елисееву, но они нашли ее неудобной для печати и привели в своем журнале лишь небольшой отрывок из нее в статье А. М. Скабичевского, посвященной Некрасову (1878, № 5, стр. 107).

Именно об этой поэме Некрасов писал Тургеневу 17 сентября 1855 г. «Посылаю тебе мои стихи — хотя они и набраны, но вряд ли будут напечатаны. Как-то вспомнил старину — просидел всю ночь и страшно потом жалел, — здоровья-то больше ухлопал, чем толку вышло. Тут есть дурные стихи — когда-нибудь поправлю их, а мне все-таки любопытно знать твое мнение об этой вещи. Прочитав, перешли лоскуток братьям Карповым» (Собр. соч., т. V, стр. 227).

Братья Карповы — деревенские соседи Тургенева («Тургенев и круг «Современника». М.-Л., 1930, стр. 349).

Биография Белинского в общем изображена в поэме верно. Сам Белинский вспоминал: «Отец меня терпеть не мог, ругал, унижал, придирался, бил нещадно и площадно — вечная ему память» (В. Г. Белинский. Письма, т. II. П., 1914, стр. 112).

Но есть у Некрасова и отступления от исторической правды. Со смертью лекаря Белинский не «остался мал»: ему было 25 лет, когда умер его отец. Точно так же неверно, будто Белинский был выгнан из университета.

... не доказав
Каких-то о рожденьи прав.

Белинский был изгнан за неблагонамеренность, проявленную им в его трагедии «Дмитрий Калинин». Доказывать права о рождении Белинскому пришлось гораздо позже — в 1843 и 1844 гг. (В. Г. Белинский. Письма, т. II, стр. 25, 53, 81).

И оставался целый век недоучившимся студентом. Один ученый человек колол его неоднократно таким прозванием печатно... — Реакционный историк М. П. Погодин писал в «Москвитянине», что Белинский не имеет никакого образования, что это «гений-самоучка, которые у нас растут как грибы, ежегодно между студентами, не окончившими курса» и проч. (Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. VIII, П., 1894, стр. 495).

Прожектёр — А. А. Краевский, издатель журнала «Отечественные Записки», в которых Белинский принимал ближайшее участие с 1839 по 1847 гг. *Два вздорных поляка* — Ф. В. Булгарин, редактор «Северной Пчелы», и О. И. Сенковский (Барон Брамбеус), редактор «Библиотеки для Чтения». *Уж новый гений* — Гоголь. *Но поднялась тогда тревога в Париже буйном* — Февральская революция 1848 г. и провозглашение республики. *Палач науки, Бутурлин* — Д. П. Бутурлин состоял председателем секретного комитета, учрежденного Николаем I в 1848 г. для высшего надзора за деятельностью цензуры. Пользуясь диктаторской властью, Бутурлин жестоко душил русскую печать и, главным образом, «Современник» Некрасова. *Закройте университеты!* — После февральской революции в Париже Николай I принял крутые меры, чтобы революционные идеи не проникли из Европы в Россию. В числе этих мер намечалось закрытие университетов. Поэтому всякая статья, восхвалявшая университеты, воспринималась Бутурлиным как неповиновение властям. В «Современнике» 1849 г. (№ 3) появилась именно такая статья (И. И. Давыдова), и, когда Бутурлин донес о ней Николаю, она вызвала гнев царя (Мих. Лемке. Очерки по истории русской цензуры. П., 1904, стр. 225). *Том истории твоей* — «Военная история походов России в XVIII столетии сочинена Д. Бутурлиным, флигель-адъютантом е<го> и<мператорского> в<еличества>, а с французского переведена квартирмейстерской части генерал-майором А. Хатовым. В Санктпетербурге, 1819—1820».

Изучение черновых рукописей этой поэмы показывает на связь ее замысла со стихотворением «В больнице». Несколько стихов (из текста ЛБ) перешли впоследствии в поэму «Несчастные» («Пусть речь его была сурова» и т. д.). Речь Белинского о призвании русского писателя («Напрасно быть толпе угодней») была напечатана Некрасовым в виде отдельного стихотворения «Русскому писателю» («Современник», 1855, № 6) и в переработанном виде вошла в текст «Поэта и гражданина» (см. примечание к стих. «В больнице», стр. 443).

Свадьба. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 122—123. Впервые — С 1855, № 11, стр. 51—52.

В литературе неоднократно указывалось, что сюжеты стихотворений «Свадьба» и «Забытая деревня» заимствованы Некрасовым у английского поэта Джорджа Крабба (1754—1832) (см. примечание к стихотворению «Забытая деревня», стр. 447).

Но по глубокой эмоциональности, по богатству красок, по силе и свободе интонаций оба стихотворения Некрасова настолько выше монотонного и тягучего повествования Крабба, что называть их заимствованиями никак невозможно.

Член совета главного управления по делам печати Ф. Ф. Веселаго находил «в стихотворении «Свадьба» как бы упрек установленному церковью брачному союзу» («А. И. Лебедев — иллюстратор Некрасова». Сообщение С. А Макашина. — ЛН, стр. 651).

Еще до знакомства с соответствующим стихотворением Крабба Некрасов написал стихотворение «Встреча», которое явилось первоначальным вариантом «Свадьбы».

«Внимая ужасам войны». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 136. Впервые — С 1856, № 2, стр. 223.

Стихотворение написано под впечатлением Крымской войны. Эта война отразилась в нескольких стихотворениях Некрасова: «Четырнадцатое июня», «Тишина», «Коробейники», «Пир на весь мир». Кроме того, в «Современнике» была напечатана рецензия Некрасова на книжку Ив. Ваненко «Осада Севастополя, или таковы русские», где он сравнивал осаду Севастополя с осадою Трои — «в смысле героизма, которым запечатлены деяния защитников Севастополя, в смысле громадности борьбы и великих, неожиданных случайностей и катастроф, наконец, в смысле того глубокого и страстного интереса, с которым приковано к этой борьбе внимание целого света. . .» В другом месте своей рецензии Некрасов писал: «Ни один из существующих ныне талантов не в одной России, но и во всей Европе не в состоянии произвесть что либо равняющееся величию совершающихся перед нами событий».

Некрасов и сам одно время стремился на боевые позиции: «Хочется ехать в Севастополь. Ты над этим не смейся. Это желание во мне сильно и серьезно. . .» — писал он Тургеневу 30 июня 1855 года (Собр. соч., т. V, стр. 204).

На родине. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 104. Впервые — Стих 1856, стр. 183.

Относительно этого стихотворения Некрасов в своих автобиографических заметках писал: «Судьбе угодно было, чтобы я пользовался крепостным хлебом только до 16 лет, далее я не только никогда не владел крепостными, но, будучи наследником своих отцов, имевших родовые поместья, не был ни одного дня даже владельцем клочка родовой земли... Я когда-то написал:

> ...хлеб полей, возделанных рабами,
> Нейдет мне впрок.

Написан этот стих еще почти в детстве, может быть, я желал оправдать его на деле» («Автобиографии Некрасова» — ЛН, стр. 143).

Гадающей невесте. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 113—114. Впервые — Стих 1856, стр. 50—51.

Демону. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 120—121. Впервые — газета «Московский Вестник», 1860, № 7 (7 февраля), стр. 108.

Смысл этого стихотворения неясен. Некрасов сам сознавал это и на своем экземпляре стихов написал незадолго перед смертью: «Нужно примечание», но не успел его сделать (Стих 1879, ч. IV, стр. LVI).

Секрет (Опыт современной баллады). Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 39—43. Впервые полностью — С 1856, № 8, стр. 203—205.

В 40—60-х гг. превращение России в государство буржуазного типа происходило довольно быстрыми темпами. Этот процесс первоначального накопления богатств выдвинул множество хищников, подобных герою «Секрета». Обличая их в ряде сатир («Современная ода», «Нравственный человек» и др.), Некрасов неизменно отмечал присущее им лицемерие, а также тот почет, которым они пользовались в высших кругах тогдашнего общества. Тот же процесс получил яркое отражение и в ряде произведений Салтыкова-Щедрина.

Забытая деревня. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 141—142. Впервые — Стих 1856, стр. 34—36.

В «Современнике» 1855—1856 гг. А. В. Дружинин поместил ряд статей, посвященных английскому поэту Джорджу Краббу.

Обширные статьи Дружинина состояли наполовину из подстрочных переводов Краббовых поэм. Особенно подробно изложил он поэму «The Village Register» («Приходские списки», 1807). В третьей части этой поэмы изображается погребение богатой помещицы, которая жила вдали от своей усадьбы и никогда не вникала в нужды «своих земледельцев». Между этим эпизодом и «Забытой деревней» есть некоторое сюжетное сходство, но в стихотворении Крабба тема разработана рационалистически, схематично и сухо и не может итти ни в какое сравнение с «Забытой деревней» Некрасова.

«Забытая деревня» при первом появлении в печати вызвала негодование властей. Цензор Бекетов, пропустивший «Забытую деревню», подвергся суровой каре. Так как стихотворение появилось тотчас же после Крымской войны и смерти Николая I, оно воспринималось читателями как аллегорическое изображение тогдашней России.

Чиновник особых поручений Волков так и доносил министру народного просвещения Норову (14 ноября 1856 г.):

«Видимая цель этого стихотворения — показать публике, что помещики наши не вникают вовсе в нужды крестьян своих, даже не знают оных, и вообще не пекутся о благосостоянии крестьян. Некоторые же из читателей под словами «забытая деревня» понимают совсем другое... Они видят здесь то, чего вовсе, кажется, нет, какой-то тайный намек на Россию...» («Книга и революция», 1921, № 2(14), стр. 39).

«Забытая деревня» была высоко оценена Герценом (А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. VIII, Пг., 1917, стр. 390). Тургенев собственноручно переписал ее вместе с другими

стихами, которые казались ему наиболее ценными (И. С. Тургенев. Сборник Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, М., 1940, стр 218).

Н. Н. Златовратский в своих воспоминаниях рассказывает, что в пятидесятых годах у Н. А. Добролюбова (когда он был студентом) сделали обыск, ища у него запрещенных стихов, — какими, например, считались тогда «Забытая деревня» Некрасова («Юбилейный сборник Литературного фонда 1859—1909». СПб., стр. 471).

«Где твое личико смуглое». Печатается по Стих 1873, ч. III, стр. 111. Впервые — С 1861, № 1, стр. 240.

«Замолкни, Муза мести и печали». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 151—152. Впервые— С 1857, № 3, стр. 83.

В Стих 1856 стихотворение было напечатано в самом конце книги на последней странице. Это не было типографской случайностью. Некрасов смотрел на эти стихи как на завершение первого этапа своего творчества. Впоследствии он написал карандашом на полях: «Уехал за границу в 1856 г., дальнейшее <писано> по возвращении» (Стих 1879, ч. IV, стр. XLIII), то есть сам указал, что эти стихи есть рубеж между двумя периодами его поэтической деятельности.

Стихотворение понравилось молодому Льву Толстому, который увидел в нем отречение от поэзии гражданского гнева (см. примечание к «Саше»). Любовь к этому стихотворению осталась у Толстого на всю жизнь. «Я помню, — говорил он незадолго до смерти, — я раз зашел к нему (к Некрасову) вечером, — он всегда был какой-то умирающий, все кашлял, — и он тогда написал стихотворение «Замолкни, муза мести и печали», и я сразу запомнил его наизусть». Когда Толстому прочитали «Рыцаря на час», он сказал, что «Замолкни, муза» лучше, и произнес начальную строфу на память через пятьдесят два года после первого прочтения!» (Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1928, стр. 75).

Посылая эти стихи П. В. Анненкову, И. С. Тургенев писал 9 декабря 1855 г.: «Некрасов уже более трех месяцев не выходит — он слаб и хандрит по временам, — но ему лучше — а как он весь просветлел и умягчился под влиянием болезни, что из него вышло — какой прелестный, оригинальный у него ум выработался — это надобно видеть, описать этого нельзя. — Прилагаю вам стихотворение, — написанное им вчера, — и еще далеко необделанное. — Посмотрите-ка!.. Последние восемь строк поразительны» («Неизданная переписка И. С. Тургенева с П. В. Анненковым», публикация Н. Л. Бродского. — «Литературная газета», 9 марта, 1931).

Это письмо является еще одним и, кажется, самым сильным опровержением позднейших заявлений Тургенева, будто некрасовская поэзия была всегда ненавистна ему.

Тургенев ошибался, полагая, что стихи написаны восьмого числа, так как уже седьмого В. П. Боткин имел возможность прочитать их в Москве и тогда же написал поэту: «Стихи твои крепко огорчили меня— а какие прекрасные стихи! Из лучших твоих стихов. Только ты клевещешь на себя, говоря:

> То сердце не научится любить,
> Которое устало ненавидеть.

Не знаю я, насколько ты можешь ненавидеть, — но насколько ты можешь любить, — я это чувствую. Я не знаю другого сердца, которое так же умеет любить, как твое, — только ты любишь без фраз и так называемых «излияний». Пусть не всякий это видит — то и бог с ними, кто не умеет видеть это» («Голос Минувшего», 1916, № 9, стр. 177).

По поводу концовки стихотворения «Замолкни, муза мести и печали» (начиная со стихов «Волшебный луч любви и возрожденья») Н. Г. Чернышевский писал Некрасову в письме от 5 ноября 1856 г.:

«Лично мне эти стихи очень симпатичны — я знаю, что необходимы в жизни минуты уныния — но не все имеют основание оставаться в унынии — или в отчаянии, если хотите более громкого слова — как в законном расположении их духа. И вы не имеете этого права — с чего Вы взяли, что имеете право унывать и отчаиваться?» (Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. II. М., 1928, стр. 341—342).

1856

Влюбленному. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 135. Впервые — Стих 1856, стр. 158.

Княгиня. Печатается по Стих 1873, ч. II, стр. 79—84. Впервые — С 1856, № 4, стр. 259—260.

Стихотворение изображает известную великосветскую красавицу, графиню А. К. Воронцову-Дашкову (1818—1856). Говоря в конце стихотворения о «небрежных строфах русского поэта», Некрасов разумеет стихотворение Лермонтова «К портрету А. К. Воронцовой-Дашковой»:

Как мальчик кудрявый резва,
Нарядна, как бабочка летом.

Судьба этой женщины сложилась несчастливо; изображенное в поэме Некрасова близко к действительности.

Александр Дюма в книге о России вступился за честь француза, изображенного в этих стихах: «Г-жа Воронцова-д'Ашкова <sic!>, — писал Александр Дюма, — вышла во Франции замуж за господина, который по своему общественному положению стоял нисколько не ниже ее и обладал состоянием, превышавшим ее состояние» («Impressions de voyage en Russie» Paris, 1859, pp. 150—153). В той же книге Дюма перевел «Княгиню» Некрасова на французский язык; муж Воронцовой-Дашковой, прочтя перевод, почувствовал себя оскорбленным и, по рассказу Панаевой, вызвал Некрасова на дуэль, которая не состоялась лишь благодаря своевременному вмешательству друзей (А. Я. Панаева. Воспоминания. М.-Л., 1948, стр. 253—259).

«Чуть-чуть не говоря: «ты — сущая ничтожность!» Печатается по Стих 1869, ч. I, стр. 80. Впервые — Стих 1856, стр. 154.

«Как ты кротка, как ты послушна!» Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 101. Впервые — С 1856, № 8, стр. 298.

«Тяжелый крест достался ей на долю». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 99—100. Впервые — Стих 1856, стр. 131—132.

Литературный секретарь Н. Г. Чернышевского М. П. Краснов сообщает, что незадолго перед смертью Чернышевский в разговоре с ним назвал это стихотворение «лучшим лирическим произведением на русском языке» («Записи двух бесед с Н. Г. Чернышевским о Некрасове». — ЛН, стр. 602).

Редактор посмертного издания «Стихотворений» Некрасова С. Пономарев высказал предположение, что здесь изображается мать поэта. Чернышевский в своих «Заметках о Некрасове» опроверг этот домысел: «Дело идет о совершенно иной женщине, о той, любовь к которой была темой стольких лирических пьес Некрасова», т. е. об А. Я. Панаевой (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. I. М., 1939, стр. 750).

Школьник. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 147—149. Впервые — БдЧ, 1856, № 10, стр. 205—206.

«Архангельским мужиком» Некрасов называет Ломоносова, вышедшего из крестьян Архангельской губернии.

Еще в ранней молодости поэт посвятил Ломоносову пьесу в стихах «Юность Ломоносова». В этой пьесе Ломоносов говорил:

Трудов немало перенес я,
Нередко даже голодал,
С людьми боролся и с судьбою,
Дороги сам себе искал (и т. д.)

Чиновник особых поручений при министерстве народного просвещения Е. Волков «долгом поставил обратить внимание его высокопревосходительства» на стихотворение «Школьник», так как «здесь автор хочет доказать, что великие и гениальные люди преимущественно могут выходить только из простого народа» («Книга и революция», 1921, № 2(14), стр. 39).

Начиная с 1864 г. «Школьник» стал включаться в учебные хрестоматии.

<Тургене>ву. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 139—140. Впервые — С 1856, № 10, стр. 281.

Тургенев за свою статью, посвященную памяти Гоголя (1852), находился полтора года в ссылке — в имении Спасское, под надзором полиции, после чего власти долго не разрешали ему выехать за границу (до 1856 г.).

Очевидно, к тому времени и относится стихотворное послание Некрасова, так как здесь говорится о поездке Тургенева:

Прощай! завидую тебе —
Твоей поездке...

Женская любящая душа — французская певица Полина Виардо-Гарсиа, к которой Тургенев собирался уехать.

Прости. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 150. Впервые — БдЧ, 1856, № 10, стр. 206.

Перед отъездом за границу Некрасов жил на даче в Ораниенбауме. 30 июля 1856 г. он написал Тургеневу:

«Погода скверная. Сижу один на даче и даже не выхожу из комнаты, трусость напала, как бы не расхвораться. Вчера сложил стихи, которые по краткости прилагаю <следует текст стихотворения>. Что это — изрядно или плохо? По совести, не умею определить...» (Собр. соч., т. V, стр. 253—254).

Стихи обращены к Авдотье Яковлевне Панаевой, с которой поэт намеревался встретиться за границей после недолгой размолвки.

«Самодовольных болтунов». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 111—112. Впервые — С 1856, № 9, стр. 88.

В этом стихотворении Некрасовым намечена одна из разновидностей «лишних людей» — «богатых словом, делом бедных» (Ср. «Сашу», «Рыцаря на час», «Медвежью охоту» и пр.). Характерно, что он дал своему герою фамилию Решетилов — ту самую, которой наименован Тургенев в неоконченной повести поэта «Каменное сердце».

Поэт и гражданин. Печатается по Стих 1873, ч. II, стр. 85—101. Впервые — Стих 1856, стр. V—XVI.

14 мая 1856 г. цензор В. Н. Бекетов, по распоряжению председателя петербургского цензурного комитета гр. М. Н. Мусина-Пушкина, разрешил первое издание «Стихотворений» Н. А. Некрасова. В самом начале книги было помещено стихотворение «Поэт и гражданин», до той поры не бывшее в печати. Некрасов, очевидно, придавал этому стихотворению большое значение, так как напечатал его с особой пагинацией, в виде предисловия к книге, более крупным шрифтом, чем все остальные стихи. Это объясняется тем, что «Поэт и гражданин» явился, в сущности, литературным манифестом и программой молодой революционной демократии, от лица которой здесь впервые было заявлено требование подчинить поэзию революционной борьбе. Это стихотворение наносило могучий удар принципам так называемого «чистого искусства». Речи некрасовского Гражданина вполне совпадали с той проповедью Н. Г. Чернышевского о служении искусства трудовому народу, которая в то время раздавалась на страницах «Современника».

Некоторые строки в речах Гражданина первоначально были вложены Некрасовым в уста В. Г. Белинского (см. примечание к поэме «Белинский») и лишь потом перенесены в диалог «Поэт и гражданин». Нельзя не согласиться с современным исследователем, который пишет по этому поводу: «В критике встречаются иногда указания, что некоторые из суждений Гражданина заставляют вспоминать о Белинском. Возможно, что и так. Но ведь Чернышевский во многих отношениях являлся подлинным преемником Белинского и на многие вопросы литературы и жизни они смотрели одними и теми же глазами... Образ Гражданина в стихотворении мог сливать черты и Чернышевского и Белинского» (В. Е. Евгеньев-Максимов. Некрасов и Петербург. Л., 1947, стр. 90).

Когда книга Некрасова появилась в печати, Н. Г. Чернышевский был единоличным редактором журнала «Современник», так как боль-

ной поэт незадолго до того уехал лечиться в Италию (официально передав ведение журнала Чернышевскому). Считая невозможным печатать в журнале Некрасова хвалебную статью о его же стихах, Н. Г. Чернышевский поместил в «Современнике» небольшую заметку, извещавшую о выходе книги, и при этом целиком перепечатал стихотворение «Поэт и гражданин» (вместе с «Забытой деревней» и «Отрывками из путевых записок гр. Гаранского»).

Из-за этой перепечатки на стихи Некрасова было обращено внимание высших бюрократических и придворных кругов. Судя по некоторым тогдашним свидетельствам, они вызвали негодование Александра II. Наиболее «возмутительным» и «дерзким» показалось стихотворение «Поэт и гражданин».

Начались репрессии и против журнала, и против книги «Стихотворений Н. Некрасова». «Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор» или «Мертвые души» имели такой успех, как Ваша книга», — писал поэту Н. Г. Чернышевский 5 ноября 1856 г. (Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. II. М., 1928, стр. 339). Через много лет Н. Г. Чернышевский писал из Сибири:

«Беда, которую я навлек на «Современник» этою перепечаткою, была очень тяжела и продолжительна. Цензура очень долго оставалась в необходимости давить «Современник» — года три, это наименьшее... О том, какой вред нанес я этим безрассудством лично Некрасову, нечего и толковать: известно, что целые четыре года цензура оставалась лишена возможности дозволить второе издание его «Стихотворений» (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. I. М., 1939, стр. 753).

В связи с этими цензурными репрессиями возникли слухи о том, что Некрасов был вызван в цензурный комитет и ему было сделано строгое внушение.

В «Русской Старине» сообщалось, будто министр народного просвещения А. С. Норов вызвал Некрасова к себе, накричал на него и т. д. (М. М. Попов. Мелкие рассказы. — PC, 1896, № 3, стр. 558). В действительности этого не было, так как Некрасов находился тогда за границей.

Дело происходило иначе. А. С. Норов раньше всего поручил своему чиновнику особых поручений Е. Волкову представить ему рапорт «О напечатанной в Москве, с дозволения цензора С.-Петербургского цензурного комитета Бекетова, книге, под заглавием «Стихотворения Некрасова». Волков по поводу «Поэта и гражданина» высказал в своем рапорте следующее:

«В стихотворении этом говорится о долге гражданина и, между прочим, о том, что у нас нет ни одного истинного гражданина, — такого, который любил бы искренне и горячо свое отечество! Некоторые высказанные при этом мысли, а также и некоторые выражения показались мне как будто несогласными с нашими началами и видами правительства» (В. Евгеньев-Максимов. Некрасов как человек, журналист и поэт. М.-Л., 1928, стр. 222—223).

Гораздо резче высказался об этом стихотворении Некрасова (а также и обо многих других) товарищ министра кн. П. А. Вяземский. Получив отзыв П. А. Вяземского и рапорт Е. Волкова, А. С. Норов тотчас же сделал выговор М. Н. Мусину-Пушкину, председателю петербургского цензурного комитета, за допущение к печати книги

Некрасова. «В стихотворении «Поэт и гражданин», — писал А. С. Норов, — конечно, не явно и не буквально, выражены мнения и сочувствия неблагонамеренные. По всему ходу стихотворения и по некоторым отдельным выражениям нельзя не признать, что можно придать этому стихотворению смысл и значение, самые презратные. Так:

В ночи, которую теперь
Мир доживает боязливо,
Когда свободно рыскал зверь,
А человек бродил пугливо,
Ты твердо светоч свой держал,
Но небу было неугодно,
Чтоб он под бурей запылал,
Путь освещая всенародно.

И далее:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь недаром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

(Мих. Лемке. «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия». СПб., 1904, стр. 312—314).

Несколько позже министр обратился к тому же М. Н. Мусину-Пушкину с обширным посланием, где столь же резко высказывался о стихотворении «Поэт и гражданин»: «Тут идет речь не о нравственной борьбе, а о политической, — писал министр, — здесь говорится не о тех жертвах, которые каждый гражданин обязан принести отечеству, а говорится о тех жертвах и опасностях, которые угрожают гражданину, когда он восстает против существующего порядка и готов пролить кровь свою в междуусобной борьбе или под карою закона» (Н. Ф. Бельчиков. Некрасов и цензура. — «Красный архив», 1922, № 1, стр. 356).

Товарищем Н. А. Некрасова по редактированию «Современника» официально считался И. И. Панаев. «За неуместное и неприличное перепечатание стихотворений г. Некрасова в «Современнике» ему был сделан министром «строжайший выговор», «с объявлением, что издаваемый им журнал при первом подобном случае будет прекращен» (там же, стр. 357).

О цензоре В. Н. Бекетове министр писал М. Н. Мусину-Пушкину: «Цензор, статский советник Бекетов, сделавший такое важное упущение при одобрении к печати сей книги и к тому еще выписок из нее в «Современнике», как будто на образец, оказывается цензором неблагонадежным и подлежал бы увольнению от сей должности» (В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. Л., 1936, стр. 105). Но так как В. Н. Бекетов был близким родственником М. Н. Мусина-Пушкина, намечавшаяся кара была смягчена: ему был объявлен выговор, и он был отстранен от дальнейшего цензурования «Современника» («Тургенев и круг «Современника». М.-Л., 1930, стр. 58).

«Весь этот скандал, — писал А. Ф. Писемский своему другу Б. Н. Алмазову 24 ноября 1856 г., — чрезвычайно неприятен всем

нам, остальным литераторам, тем, что цензура опять выпустит свои когти» (А. Ф. Писемский. Письма. М.-Л., 1936, стр. 103).

Правая группа сотрудников «Современника» — А. В. Дружинин, В. П. Боткин и П. В. Анненков — была весьма недовольна перепечаткой «Поэта и гражданина» в журнале («Тургенев и круг «Современника». М.-Л., 1930, стр. 197 и 299).

19 декабря 1856 г. министр внутренних дел С. С. Ланской разослал всем губернаторам секретный циркуляр «О неперепечатывании стихотворений Н. Некрасова»: «Секретно. Циркулярно. Департамент полиции исполнительной. Господину начальнику губернии. Министр народного просвещения уведомил меня, что им сделано по цензуре распоряжение, чтобы отпечатанная недавно в Москве книга под заглавием: «Стихотворения Н. Некрасова» не была дозволяема к новому изданию и чтобы не разрешались к печати ни статьи, касающиеся книги, ни в особенности выписки из оной» (Н. Ф. Бельчиков. Цит. статья, стр. 358).

Вследствие этого в 1857 г. о книге Некрасова не появилось ни одной критической статьи. Да и в 1856 г. успели проскользнуть сквозь цензурные рогатки только две рецензии (см. ЛН 3, сообщение А. Аникиной «Неизвестные отзывы о Некрасове в печати 40-х и 50-х годов»). Это вынужденное безмолвие критики длилось около пяти лет, изредка прерываясь статейками в детском журнале («Журнал для детей», изд. М. Чистякова, 1858, № 3 и № 43; 1859, № 46).

Впоследствии главное управление цензуры разъяснило, что ругать Некрасова в печати можно, но всякие похвалы возбраняются, причем критиков и рецензентов обязывали не цитировать таких стихотворений, как «Поэт и гражданин», «Забытая деревня» и друг. («Книга и революция», 1921, № 2(14), стр. 40).

Выше было сказано, что благодаря перепечатке в «Современнике» стихотворение «Поэт и гражданин» дошло до придворных кругов; там оно было принято как призыв к революции. Это, между прочим, подтверждается петербургской корреспонденцией в «Колоколе» Герцена:

«Воры и укрыватели воров большой руки подняли крик, начали жаловаться государю... на книжку стихотворений, где ничего нет, кроме участия к бедности и ненависти к притеснениям. Аристократическая сволочь нашла в книжке какие-то революционные возгласы, чуть не призыв к оружию. Русское правительство, изволите видеть, боится стихов:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденья, за любовь,
Иди и гибни безупречно —
Умрешь недаром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

Это сочли чуть не адской машиной и снова дали волю цензурной орде с ее баскаками. Какое жалкое ребячество!» («Колокол», 1857, № 2, «Из Петербурга»).

Нет сомнения, что в данном случае «Колокол» исключительно ради полемических целей отрицал революционное значение приводимого выше отрывка. В том же году А. И. Герцен писал о Некрасове: «Это поэт очень замечательный — своею демократическою и

социалистическою ненавистью» (письмо к М. Мейзенбуг от 9 июня 1857 г. — Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцена, т. VIII. Пг., 1917, стр. 517).

Так как во время этой цензурной бури Некрасов был за границей, все события представлялись ему в более грозном виде, чем они происходили в действительности. Был слух, что правительство намеревается заключить его в Петропавловскую крепость, едва только он вернется в Россию, и проч. (Е. Колбасин. Тени старого «Современника». — «Современник», 1911, № 8, стр. 234). И все же он писал своим друзьям: «Но хоть бы эти размеры <грозящего наказания> и точно были велики, я не ребенок, я знал, что делал»... «Мы видывали цензурные бури и пострашней — при... <Николае I> да пережили» (см. его письмо к П. В. Анненкову и И. С. Тургеневу от 18 декабря (н. с.) 1856 г. — Собр. соч., т. V, стр. 271—274; «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб., 1885, стр. 45).

Гимназическое начальство строго следило за тем, чтобы эти стихи не читались учащимися. С. Н. Терпигорев в своих «Воспоминаниях» рассказывает: директор, делая у нас по ящикам осмотр или обыск, нашел однажды у меня тоненькую книжку его <Некрасова> стихотворений (первое издание), где были и запрещенные тогда стихи «Поэт и гражданин». Это было преступление, и заходила даже речь об исключении меня, но потом как-то замяли это дело...» («Историч. Вестник», 1896, № 3, стр. 800).

Цензура долго не разрешала второго издания. А когда, после пятилетней волокиты, книга наконец была разрешена, то сильнее всех других пострадало стихотворение «Поэт и гражданин». То, что было беспрепятственно пропущено в 1856 г., оказалось нецензурным в 1861 г.

Характерно, что за несколько месяцев до появления «Поэта и гражданина» в печати Некрасов в анонимных «Заметках о журналах за февраль 1856 года» цитировал тот самый отрывок из этого стихотворения, который впоследствии вызвал такое негодование цензуры, — и отрывок прошел незамеченным! «Между нами нет гениев, — писал Некрасов в этих «Заметках». — Ко всем ныне действующим писателям вообще и к каждому порознь можно применить следующие стихи:

. . . . . .заметен ты,
Но так без солнца звезды видны.
В ночи, которую теперь
Мир доживает боязливо,
Когда свободно рыскал зверь,
А человек бродил пугливо,
Ты твердо светоч свой держал,
Но небу было неугодно и т. д.

(„Современник", 1856, № 3, стр. 79)

Н. А. Добролюбов видел в этом стихотворении призыв к самоотверженному революционному подвигу. В письме к своему другу М. И. Шемановскому (от 6 августа 1859 г.) великий критик писал: «С потерей внешней возможности для такой <т. е. для революционной> деятельности, мы умрем, но умрем все-таки недаром.

Вспомни:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной и т. д.

Прочти стихов десять, в конце их ты увидишь яснее, что я хочу сказать» (Н. Г. Чернышевский. Материалы для биографии Н. А. Добролюбова. СПб., 1890, стр. 525).

Недавно стало известно, что И. С. Тургенев (уже после того, как он столько раз выступал против поэзии Некрасова) сочувственно процитировал строки из некрасовского «Поэта и гражданина» (в письме 1879 г.):

«Мы живем в довольно трудную пору, — писал Тургенев. — Но впереди уже светает и — говоря словами Некрасова:

Молю, чтоб солнца ты дождался
И потонул в его лучах!

(И. С. Тургенев. Сборник Гос. библиотеки СССР им. Ленина. М., 1940, стр. 98).

«Несчастные». Печатается по Стих 1873, ч. II, стр. 103—145. Впервые полностью — С 1858, № 2, стр. 241—266.

26 августа 1856 года правительство Александра II было вынуждено дать амнистию политическим ссыльным. Русские литераторы впервые получили некоторую, весьма ограниченную, возможность писать о сибирской каторге. Некрасов один из первых воспользовался этой возможностью.

Зимой 1856 г., поселившись в Риме, он с увлечением принялся за работу над созданием поэмы «Несчастные».

7 декабря (н. с.) он сообщал И. С. Тургеневу из Рима: «24 дни ни о чем не думал я, кроме того, что писал. Это случилось в первый раз в моей жизни — обыкновенно мне не приходилось и 24 часов остановиться на одной мысли. Что вышло, — не знаю — мучительно желал бы показать тебе... Скажи мне, пожалуйста, правду. Это для меня важно. Хочу знать, надо ли и стоит ли продолжать? — потому что впереди еще очень много труда — было бы из чего убиваться, говоря словами Фета. Он мою вещь очень хвалит...» (Собр. соч., т. V, стр. 265).

Из письма видно, что Некрасов начал работать над «Несчастными» приблизительно 10—12 ноября (н. с.) 1856 г.

Кое-какие заготовки для этой поэмы были созданы им значительно раньше. Так, еще в 1855 г. он написал стихотворение «Петербургское утро», которое и вошло в поэму в качестве одной из частей (перед тем оно появилось отдельно в майской книжке «Современника» за 1856 г.). В автографе, который лет 12 назад был обнаружен у Л. А. Лихачева (Москва), этому стихотворению дано заглавие «Совет (подражание Пушкину)». Некрасов ввел это стихотворение в поэму в значительно переработанном виде.

Кроме того, в мартовской книге «Современника» (1857) появился еще один «Отрывок из поэмы», посвященный описанию захолустного города:

. . . . .Невольно
Припомнишь бедный городок...

Очевидно, поэма была задумана очень большая. Эпизод о Кроте составлял, по словам Некрасова, только шестую долю всей поэмы. Но около 15 декабря до Некрасова дошли из Петербурга тревожные вести: его стихи вызвали негодование высших властей. Разнесся слух, что правительство хочет закрыть «Современник», а его самого заключить в Петропавловскую крепость (см. выше примечание к стих. «Поэт и гражданин»). Эти сведения так взволновали поэта, что он «скомкал» поэму и «не сделал половины того, что думал». В таком «скомканном» виде поэма Некрасова была напечатана в февральской книжке «Современника» за 1858 г. под заглавием «Эпилог ненаписанной поэмы», куда вошли в переработанном виде оба ранее напечатанных отрывка. В конце поэмы в тексте «Современника» было несколько «благонамеренных» строк. Эти строки вставлены поэтом впоследствии, чтобы задобрить цензуру. Некрасов так и писал Тургеневу:

«Кончивши, начну ее <поэму> портить; может, и пройдет, если вставить несколько верноподданнических стихов».

«Верноподданнические стихи» были введены в самый конец: после слов «Прощенья благовест достиг» в «Современнике» были напечатаны три строки, которые, по утверждению поэта, искажали поэму:

Взрыдав душою умиленной,
Мы пали ниц, благодаря
Нас не забывшего царя.

Но уже в издании 1861 года Некрасов вычеркнул эти строки, вписанные им против воли. Из этого издания были устранены точно так же некоторые мелкие цензурные искажения.

Но и в урезанном виде поэма не могла не вызвать неудовольствия власти; чиновник особых поручений по цензурно-литературным делам гр. Комаровский сообщил в особом рапорте министру народного просвещения (от 26 февраля 1858 г.), что героем поэмы является «идеализированный колодник, повидимому сосланный за политическое преступление», и что этот «панегирик безымянному колоднику» имеет своей целью «общественный протест». Предсмертное видение Крота гр. Комаровский называл «пророчески двусмысленным», то есть вполне правильно усматривал здесь изображение будущей революции:

Кричал он радостно «Вперед!»
И горд, и ясен, и доволен и т. д.

На основании этого рапорта главное управление по делам печати предложило председателю петербургского цензурного комитета гр. Мусину-Пушкину сделать выговор цензору, пропустившему эти стихи (В. Евгеньев-Максимов. Некрасов как человек, журналист и поэт. М.-Л., 1928, стр. 228).

О прототипе главного героя поэмы существуют противоречивые мнения. После смерти Некрасова Достоевский сообщил в «Дневнике писателя»:

«Однажды, в шестьдесят третьем, кажется, году, отдавая мне томик своих стихов, он <Некрасов> указал мне на одно стихотворение «Несчастные» и внушительно сказал: «Я тут об вас думал,

когда писал это» (т. е. об моей жизни в Сибири), «это об вас написано...» («Дневник писателя», декабрь 1877 г.).

С тех пор установилось убеждение, что Крот, изображенный в «Несчастных», есть как бы портрет Достоевского. Но это едва ли верно. Недавно (в 1946 г.) нам удалось установить, что повесть Некрасова «Каменное сердце», в которой Достоевский изображен в резко отрицательных чертах, писалась не в шестидесятых годах, как полагали прежде, а в 1855 году, то есть за несколько месяцев до того, как была задумана поэма «Несчастные». Так что, сочиняя эту поэму, Некрасов мог думать о ссыльном авторе «Бедных людей», но едва ли он стал бы изображать его в роли учителя, бойца и героя.

В 1907 году П. Ф. Якубович высказал мнение, что в образе Крота Некрасов вывел не Достоевского, а Белинского, перед которым преклонялся всю жизнь («Н. А. Некрасов, его жизнь и литературная деятельность». Критико-биографический очерк Л. Мельшина (П. Ф. Якубовича), 1907, стр. 39—43). Эта догадка Якубовича в настоящее время частично подтвердилась. В черновых вариантах некрасовской поэмы «Белинский» обнаружены такие стихи о Белинском, которые впоследствии вошли в «Несчастных» и изображают «Крота» (см. в настоящем томе примечание к стихотворению «Белинский», а также статью К. Чуковского «Белинский в поэме «Несчастные». — «Литературная газета» № 47, от 23 ноября 1946 г.). Конечно, нельзя связывать образ Крота с одним определенным лицом. Это — обобщенный образ политического изгнанника, каким он рисовался широким кругам тогдашней интеллигенции, еще не успевшей на опыте близко познакомиться с ним. В этот образ необходимо должны были войти и черты декабриста, и черты петрашевца, но, все же, основное в этом образе — личность Белинского.

По поводу тех восторженных мнений о «великом Петре», которые высказывает в этой поэме Крот, Н. Г. Чернышевский писал из Сибири: «Некрасов сохранил о Петре то мнение, какое воспринял в кругу Белинского и Герцена» (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание соч., т. I. М., 1939, стр. 747).

1857

«В столицах шум, гремят витии». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 207. Впервые — в Стих 1861, ч. I, стр. 248.

В 1857 году либеральная интеллигенция обеих столиц шумно ликовала по поводу предстоящих «великих» реформ, заявляя свою ненависть к старым порядкам. В столичных журналах стали печататься такие статьи, которые после недавних строгостей николаевской цензуры казались отчаянно смелыми. А в остальной России все было попрежнему. Лев Толстой, вернувшись в то время из-за границы, писал (18 августа 1857 г.): «В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши то же происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие» (Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. СПб., 1911, стр. 80).

Именно этой теме и посвящено стихотворение Некрасова.

В октябре 1858 г. Некрасов хотел напечатать стихотворение в «Современнике». Но цензуре оно показалось опасным. Цензор Д. И. Мацкевич писал в своем рапорте: «Стихи эти содержат в себе

двойной смысл, который цензурный комитет не может себе вполне объяснить. Посему и надобно представить это стихотворение на рассмотрение главного управления цензуры».

На основании этого рапорта председатель цензурного комитета Делянов писал в главное управление цензуры:

«Так как это стихотворение, выражая в первых двух стихах слишком звучными <!> словами деятельность наших столиц, совершенно противоположную какому-то безотрадному положению остальной части России, представленному в последующих очерках стихотворения, может подавать, по мнению Комитета, повод к различным неблаговидным толкам, то С.-Петербургский цензурный комитет считает необходимым представить это стихотворение при сем на благоусмотрение Главного управления цензуры (С. А. Рейсер. Заметки о Некрасове. — «Звенья», т. V, М.-Л., 1935, стр. 534—538).

Главное управление запретило эти стихи, и они появились лишь в 1861 г.

Тишина. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 153—161. Стихи 147—152 и 173 — по Стих 1879, т. I, стр. 246—248. Впервые — С 1857, № 9, стр. 115—122.

В поэме сказалась радость, которую поэт испытал при возвращении из Рима на родину в июне 1857 г.

Вынужденный лечиться от тяжкой болезни, он пробыл за границей десять месяцев, и в том умилении, с которым он, после долгой разлуки, приветствовал родные поля и леса, выразилось с особой наглядностью его горячее патриотическое чувство.

Между тем именно в недостатке патриотизма лицемерно обвиняли в ту пору Некрасова его враги из реакционного лагеря. На эту-то «укоризну» врагов он ответил в своей «Тишине»:

. . . .Пусть ропот укоризны
За мною по пятам бежал,
Не небесам чужой отчизны —
Я песни родине слагал!

Последние две строки означают, что он писал за границей поэму «Несчастные», где прославил в лице Крота величие русского духа, изобразил русскую деревню, Петербург и Сибирь.

Третья глава «Тишины» тоже написана им за границей — в Риме в декабре 1856 г. — как отдельное стихотворение, посвященное недавно закончившейся Крымской войне. Но так как своим патриотическим пафосом оно вполне гармонировало с содержанием поэмы, Некрасов ввел его в текст «Тишины».

Строки:

Народ-герой! в борьбе суровой
Ты не шатнулся до конца и т. д.

относятся к защитникам Севастополя.

В строке, начинающейся словами Молчит и *он*, слово *он* означает Севастополь.

С благоговением восклицает Некрасов об этом героическом городе:

Твердыня, избранная славой. . .

Четвертая глава «Тишины» в первоначальном тексте читалась иначе. Она была гораздо длиннее и включала в себе несколько строк, выражавших сочувствие реформам Александра II.

Благодаря этой четвертой главе поэма «Тишина» была ошибочно воспринята многими как раскаяние Некрасова, как его отказ от «мести и печали». «Тишина» Некрасова подняла бурю. «Его упрекают в отступничестве», — сообщала М. Ф. Штакеншнейдер своему другу поэту Я. П. Полонскому (ИЛИ).

Конечно, ни о каком отступничестве здесь не могло быть и речи, но некоторые черты либерального отношения к реформам Александра II все же сказывались в первопечатной редакции:

В права вступает просвещенье.
Уходит мрак... кругом светлей...

И быстро царство молодое
Шагает по пути добра...

Однако необходимо отметить, что уже через несколько месяцев после появления «Тишины» в «Современнике» Некрасов решительно отказался от того временного примирения с действительностью, которое выразилось в этих стихах. Окончательно разочаровавшись в «реформах» Александра II, он не только вычеркнул хвалебные строки, посвященные этим реформам, но в том же году написал пародию на них:

Всевышней волею Зевеса и т. д.

То неблагоприятное впечатление, которое вызвала эта поэма в радикальных кругах, было значительно усилено цензурным вмешательством. Цензура запретила указывать на «тяжелые стоны» крестьян. Поэтому вместо —

Тяжеле стонов не слыхали —

в «Современнике» напечатано:

Молитвы жарче не слыхали.

Вместо —

Проклятья, стоны и молитвы

напечатано:

Прощанья, стоны и молитвы.

Вместо —

Ни божьих, ни ревижских душ —

напечатано:

Безропотно-покорных душ.

Некрасов сделал попытку протестовать против этих искажений. После его смерти нашлось написанное его рукою «Объяснение касательно стихов, признанных неудобными к печатанию, из стихотворения «Тишина» (Стих 1879, т. IV, стр. LI).

«Попытка Некрасова вразумить цензуру, — пишет по поводу этого «Объяснения» новейший исследователь М. М. Клевенский, — обращает на себя внимание тем почти издевательским тоном, который чувствуется в его толкованиях». Приводим это «Объяснение» полностью:

«. . .Пусть ропот укоризны
За мною по пятам бежал.

Здесь автор разумел дошедшие до него за границу слухи, что многие обвиняли его в нелюбви к родине.

Христос снимет
С *души оковы.*

Никакая мирская власть не может наложить оков *на душу,* равно как и снять их. Здесь разумеются *оковы греха,* оковы страсти, которые налагает жизнь и человеческие слабости, а разрешить может только бог.

Прибитая к земле слезами
Рекрутских жен и матерей.

Что война есть народное бедствие и что после нее остаются сироты, вдовы и матери, лишившиеся детей, — об этом я не считал неудобным упомянуть в стихах, тем более что это уже относится к прошедшему.

Проклятья, стоны и молитвы
Носились в воздухе. . .

Проклинали пленные враги, *стонали* раненые, *молились* все пораженные бедствием войны. — Если зачеркнуть *проклятия* на том основании, что, может быть, проклинали и свои, то вслед за тем придется зачеркнуть и *стоны,* потому что, может быть, стонали не от одних ран, — а затем придется зачеркнуть и *молитвы,* потому что мало ли о чем можно молиться.

Военный поп. Известно, что после войска самые страдательные лица в войне врач и поп, едва успевающие лечить и отпевать. Поэтому упомянув о враче, я упомянул и о попе, служащем при войске — в этом смысле употреблено прилагательное военный» (М. Клевенский. К истории борьбы Некрасова с цензурой. — «Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», вып. 6. М., 1940, стр. 42—43).

Убогая и нарядная. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 162—168. Впервые — С 1860, № 1, стр. 330—334.

Как поэт революционной демократии, Некрасов с самого начала своей поэтической деятельности не раз выражал протест против общественного угнетения женщин («Три тяжкие доли имела судьба», «Крестьянка», «Прекрасная партия», «Мать»). В ряде стихотворений он объяснял проституцию как результат уродливых социальных условий. В этом отношении сатира «Убогая и нарядная» тематически связана с такими стихами Некрасова, как «Еду ли ночью по улице темной», «Когда из мрака заблужденья», «Ванька», «Папаша» и другие.

Одна из заключительных строк «Убогой и нарядной» —

Дураков не убавим в России —

является отголоском знаменитой строки из послания Фонвизина «К уму моему»:

Ты хочешь дураков в России поубавить.

1858

«Стихи мои! Свидетели живые!» Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 92. Впервые — Стих 1864, стр. 42.

Размышления у парадного подъезда. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 7—14. Впервые — «Колокол» 1860, 15 января, № 61, стр. 505—506 с примечанием: «Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворение нет возможности не поместить». Впервые в русской легальной печати — Стих 1863, ч. II, 187—191.

В этом стихотворении Некрасов выразил не только свою ненависть к жестоким чиновникам, но и глубокую скорбь о покорности и долготерпении той части крестьянства, которая на протяжении веков так смиренно и кротко сносила обиды властей и помещиков. Страстно желая, чтобы угнетенный народ восстал наконец против своих притеснителей, Некрасов, насколько это было возможно по цензурным условиям, сурово порицал тех крестьян, в характере которых он видел черты примирения с крепостническим гнетом (напр., Ипата в «Последыше»).

Та кротость, которую проявили крестьяне, безропотно удалившись от министерских палат,

Повторяя: суди его бог!
Разводя безнадежно руками —

всегда вызывала негодование Некрасова:

Их нищета, их *терпенье безмерное*
Только досаду родит, —

говорил он об этих долготерпеливых крестьянах.

И, конечно, когда в «Размышлениях» он спрашивал, обращаясь к народу:

Ты проснешься, исполненный сил? —

он знал, что на этот вопрос существует единственный ответ — утвердительный. Недаром в таких образах, как «Савелий богатырь святорусский», как Кудеяр, расправившийся с паном Глуховским, как Яким Нагой и др., он показал, сколько сокрушительного гнева накопилось в народе и как велика его революционная мощь.

По словам А. Я. Панаевой, возникло это стихотворение так: против того дома, где жил Некрасов, находилась квартира министра государственных имуществ. Однажды осенью, в холодное и дождливое утро, Некрасов увидал из окна, как дворники и городовой гнали от министерского подъезда иззябших и промокших крестьян, «кото-

рые, по всем вероятиям, желали подать какое-нибудь прошение и спозаранку явились к дому». «Поэт, — рассказывает Панаева, — сжал губы и нервно пощипывал усы; потом быстро отошел от окна и улегся опять на диване. Часа через два он прочел мне стихотворение «У парадного подъезда» (А. Я. Панаева. Воспоминания. М., 1948, стр. 216—217).

Рассказ Панаевой несколько расходится с тем, что сообщает Елисей Колбасин: «К концу 1857 года он <Некрасов> задумал свои «Размышления у парадного подъезда», а в следующем году окончательно обработал это стихотворение» («Тени старого «Современника». — «Современник», 1911, № 8, стр. 237).

В своем письме из Сибири к Пыпину по поводу посмертного издания «Стихотворений Н. А. Некрасова» Н. Г. Чернышевский говорит о «Размышлениях у парадного подъезда»:

«Могу сказать, что картина:

Созерцая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное и т. д.

живое воспоминание о том, как дряхлый русский грелся в коляске на солнце «под пленительным небом» Южной Италии (не Сицилии). Фамилия этого старика — граф Чернышев.

«Вторая заметка: в конце пьесы есть стих, напечатанный Некрасовым в таком виде:

Иль судеб повинуясь закону, —

этот напечатанный стих — лишь замена другому» (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. I. М., 1939, стр. 754).

Какому? — установить не удалось. Было высказано предположение, что последние строки «Размышления у парадного подъезда» в свободном от цензурного просмотра тексте читались так:

Ты проснешься, исполненный сил,
Сокрушив палача и корону,
Иль судеб повинуясь закону и т. д.

(«Некрасовский сборник». Пг., 1917, стр. 9).

Но мы считаем это чтение сомнительным, так как Н. Г. Чернышевский говорит не о новом, добавочном стихе, а о замене одного стиха другим.

В легальной печати «Размышления» появились лишь через пять лет после того, как они были написаны. Задолго до напечатания они ходили по рукам в различных списках («Русская мысль», 1913, № 1, стр. 136).

Последние строки «Размышлений у парадного подъезда» (начиная со стиха «Назови мне такую обитель») стали одной из популярнейших студенческих песен 60—80-х годов.

На тематическое сходство «Размышлений у парадного подъезда» с «Вельможей» Державина было указано в статье С. Ставрина «Гоголевский период» («Дело», 1875, № 2, стр. 17); см. также статью Ал. Слонимского «Некрасов и Маяковский» («Книга и революция», 1921, № 2(14), стр. 6).

Песня Еремушке. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 169—173. Ст. 55 и 66 даны в доцензурной редакции, сообщенной Н. А. Добролюбовым в его письме к И. И. Бордюгову от 20 сентября 1859 г. Впервые — С 1859, № 9, стр. 237—239.

Писательница Е. Литвинова, учившаяся в шестидесятых годах в одной из петербургских гимназий, пишет в своих воспоминаниях, посвященных Некрасову: «... Песня Еремушке» оглашала то и дело рекреационные залы новой женской школы; это стихотворение заключало в такой доступной форме правила новой житейской мудрости. «Жизни вольным впечатлениям душу вольную отдай» — начинала, бывало, одна, самая бойкая из нас, и тотчас находились другие, которые продолжали: «Человеческим стремлениям в ней проснуться не мешай» ... И вскоре собиралась целая толпа девочек..., соединенная «Песнью Еремушке», которая была в полном смысле слова нашею ходячею песнью! Когда старшие заставляли нас подчиняться стариной освященным обычаям, которые приходились нам не по вкусу, мы отвечали словами из «Песни Еремушке»: «Будь он проклят, растлевающий пошлый опыт, — ум глупцов!» и говорили самим себе: «Силу новую животворных юных дней в форму старую, готовую необдуманно не лей!» По словам автора воспоминаний, эта песня служила первым воплощением возникавшей тогда розни между поколениями отцов и детей (Е. Л<итвинова>. «Воспоминания о Некрасове». — «Научное обозрение», 1903, № 4, стр. 132).

Вообще, эта песня, появившаяся во время революционного подъема шестидесятых годов, стала боевым лозунгом молодого демократического поколения. Добролюбов, посылая ее своему другу И. И. Бордюгову, писал: «Милейший! Выучи наизусть и вели всем, кого знаешь, выучить песню Еремушке Некрасова, напечатанную в сентябрьском «Современнике»... Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идут прямо к молодому сердцу, не совсем еще погрязшему в тине пошлости. Боже мой, сколько великолепнейших вещей мог бы написать Некрасов, если б его не давила цензура! (Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I. М., 1890, стр. 534).

«Песня Еремушке» была испорчена цензурой. Из письма Добролюбова мы знаем, что в четырнадцатой строфе вместо «равенства» было слово «истина», а в строфе семнадцатой вражда «к угнетателям» была заменена враждою «к лютой подлости».

«Ночь. Успели мы всем насладиться». Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 95. Впервые — Стих 1861, ч. I, стр. 108—109.

Критики не раз утверждали, будто в этом отрывке Некрасов прославляет христианское долготерпение угнетенных крестьян, отказавшихся от революционной борьбы. Эту ошибочную мысль особенно резко выразил Г. В. Плеханов в своей известной статье о Некрасове. Изображаемый в «Отрывке» народ, по словам Плеханова, не умеет бороться и не сознает необходимости борьбы. «Главной отличительной чертой этого народа является вечное терпение... Такому народу только и можно пожелать, что доброй ночи: проснуться он не способен...» (Г. Плеханов. Сочинения, т. X, стр. 389).

Это истолкование отрывка основано на недоразумении, которое объясняется тем, что Плеханов воспринял эти строки Некрасова

вне всякой связи с другими стихами. Некрасов не прославлял бы в своей «Песне Еремушке» (написанной в это самое время) —

Необузданную, дикую
К угнетателям вражду, —

если бы его привлекала смиренная безропотность народа. Если бы Некрасову было свойственно такое пессимистическое отношение к народу, он не воскликнул бы еще за два года до этих стихов:

Лишь бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней —
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.

(1856)

Бунт. Печатается по копии из бумаг А. А. Буткевич, ИЛИ, ф. 203, № 45 (при копии письма Некрасова к А. С. Суворину от 1 мая 1876 г.). Впервые — «Заветы», 1913, № 6, стр. 33.

В этом стихотворении изображается, по всем вероятиям, кровавая расправа с крестьянами, произведенная рязанским губернатором П. П. Новосильцевым в селе Мурмине в июне 1857 г. В герценовском «Колоколе» была напечатана корреспонденция об этом событии («Колокол», 1858, № 10).

Посылая в 1876 г. это стихотворение А. С. Суворину для напечатания в «Новом Времени», Некрасов сделал такое «Примечание для редакции»:

«Этот отрывок пропустил г. Стасюлевич при печатании записок г. Ломачевского».

А. И. Ломачевский, жандармский полковник тридцатых и сороковых годов, напечатал в журнале М. М. Стасюлевича «Записки жандарма» («Вестник Европы», 1872, №№ 3—5). В «Записках» он между прочим рассказывает о бесчеловечном усмирении крестьян деревни Стошаны, Минской губернии, которые три дня подряд были сечены розгами за неповиновение самодуру-помещику.

Очевидно, ссылкой на эти «Записки» поэт хотел указать редакции «Нового Времени», что изображение таких эпизодов не возбраняется цензурой.

И все же «Бунт» мог появиться в печати лишь по истечении сорока с лишним лет — в 1913 г.

Н. Ф. Крузе. Печатается по беловому автографу из архива Н. Ф. Крузе, хранящемуся в ИЛИ.

Ст. 15—22 приведены в статье Б. Городецкого. «Памяти Н. Ф. Крузе. — «Исторический Вестник», 1901, № 10, стр. 262. Полностью впервые напечатано по автографу в «Полном собрании стихотворений Н. А. Некрасова», Л., 1927, стр. 428.

В середине пятидесятых годов московский цензор Н. Ф. фон Крузе (1828—1901) проявил такой либерализм, что вызвал гнев Александра II и в начале 1858 г. был уволен от занимаемой должности.

Для многих писателей это послужило поводом выразить ему горячее сочувствие, как смелому «защитнику свободы печати», и тем заклеймить остальных цензоров. В феврале 1858 г. уволенному цен-

зору был поднесен в Москве приветственный адрес от 59 литераторов, подписанный Некрасовым, Салтыковым-Щедриным, Чернышевским, Добролюбовым, Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем и другими. Петербургские писатели решили было чествовать Крузе обедом в ресторане Дюссо, но испугались широкой огласки и устроили чествование на квартире Некрасова — 8 апреля 1858 г. Тут Некрасов и сказал свои стихи «неустрашимому бойцу», после чего записал карандашом и вручил их ему на память («Русские Ведомости», 1901, № 243).

Характерно сказавшееся в этих стихах скептическое отношение Некрасова к реформам Александра II: «Луч света трепетный, сомнительный, чуть зримый». Тот же образ повторен поэтом в стихотворении «Тургеневу»: «Луч едва блеснул сомнительного света».

1859

О погоде. *Часть первая.* Печатается по Стих 1873, ч. II, стр. 147—170. Собственные имена в «До сумерек» в ст. 113, 124 и 125 (Николая Алексеича <Некрасова>, Фрейганга и Краевского) восстановлены по Стих 1879, т. I, стр. 277—278. Впервые — С 1859 (I—№ 1, стр. 307—311; II—№ 2, стр. 507—512; III — № 3, стр. 5—8).

«Петербург, город великолепный и обширный! — восклицал Некрасов в своей юношеской повести. — Как полюбил я тебя, когда в первый раз увидел твои огромные домы, в которых, казалось мне, могло жить только счастие ... Но прошло несколько лет... Я узнал, что у великолепных и огромных домов, в которых я замечал прежде только бархат и золото, дорогие изваяния и картины, есть чердаки и подвалы, где воздух сыр и зловреден, где душно и темно и где на голых досках, на полусгнившей соломе, в грязи, стуже и голоде, влачатся нищета, несчастия и преступления. Узнал, что есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и в подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые домы...

И я спустился в душные те подвалы, поднялся под крыши высоких домов и увидел нищету, падающую и падшую, нищету, стыдливо прикрывающую лохмотья свои, и нищету, с отвратительным расчетом выносящую их напоказ.

...И сильней поразили меня такие картины, неизбежные в больших и кипящих народонаселением городах, глубже запали в душу, чем блеск и богатство твои, обманчивый Петербург».

Эти строки из юношеской повести Н. А. Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (1843) наглядно показывают, какова была система идей, лежавшая в основе его революционного урбанизма. Эта система идей сказалась с особенной яркостью в цикле его сатир «О погоде».

Слава богу, стрелять перестали! .. Ночью пушечный гром грохотал. — В Петербурге, где нередко весной и осенью бывают наводнения, жители оповещались о подъеме воды в Неве выстрелами из пушек Петропавловской крепости. *Там одной незаметной могилы, где уснули великие силы, мне хотелось давно поискать.* — Поэт говорит о могиле В. Г. Белинского. *Федотов Павел Андреевич* (1815—1852) — знаменитый художник, жанрист. *Воейков Александр Федо-*

рович (1777—1839) — поэт, переводчик, критик и журналист. *Василий Андреевич* — Жуковский (1783—1852). *Тут бедняк-итальянец с фигурами* — продавец гипсовых статуэток. *«Много было до сорок девятого, отдохнули потом... да опять с пятьдесят этак прорвало с пятого...».* —Эти строки указывают определенный период в истории цензуры: до 1849 г. (вернее, до 1848 г.) цензура была сравнительно терпима, но с основания знаменитого бутурлинского комитета (2 апреля 1848 г.) наступила эпоха цензурного террора, длившаяся до декабря 1855 г., когда, после смерти Николая I, комитет был упразднен. *«Я «Записки» носил с основания...»* — Журнал «Отечественные Записки» основан П. Свиньиным в 1820 г. и реорганизован А. А. Краевским в 1839 г. Здесь, очевидно, датой основания считается эта вторая дата. *«С Современником» нянчусь давно».* — «Современник» перешел в руки Некрасова в 1847 г. *«То носил к Александру Сергеичу»* — то есть к Пушкину. *«А теперь уж тринадцатый год все ношу к Николай Алексеичу — на Литейной живет».* — Николай Алексеевич Некрасов, живший на Литейной улице (ныне Литейный проспект), редактировал «Современник» с 1847 г. *«Даже Фрейганг устанет марать».* — А. И. Фрейганг (р. в 1805 г.) — цензор. *« — Объяви, говорит, ты Краевскому».* — А. А. Краевский (1810—1889) — редактор-издатель журнала «Отечественные Записки». *Там торчит Веллингтонов сапог* — вывеска сапожника: высокий, выше колен, сапог для верховой езды. *Там с открытою грудью Диана* — манекен в витрине парикмахерской.

Папаша. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 233—241. Впервые — С 1860, № 3, стр. 251—256.

«Легкой службой» в те времена иронически называли службу в тайной полиции.

1860

«Что ты, сердце мое, расходилося?» Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 112. Впервые — Стих 1864, ч. III, стр. 28.

Политические враги Некрасова, стремясь дискредитировать его в глазах передовой молодежи, распространяли небылицы о его корыстолюбии, двуличии и проч. Именно такой клеветой и вызвано его стихотворение «Что ты, сердце мое, расходилося?» Это был ответ клеветникам. По воспоминаниям одного современника, Некрасов выступил с этим ответом публично:

«Большой зал Дворянского собрания был битком набит. С благотворительной целью давался вечер при участии известных писателей. Появление каждого из них восторженно приветствовалось публикой. И только, когда на эстраду вышел Николай Алексеевич Некрасов, его встретило гробовое молчание. Возмутительная клевета, обвившаяся вокруг славного имени Некрасова, очевидно, делала свое дело. И раздался слегка вздрагивающий и хриплый голос поэта «мести и печали»:

Что ты, сердце мое, расходилося?..
Постыдись. Уж про нас не впервой
Снежным комом прошла — прокатилася
Клевета по Руси по родной и т. д.

Что произошло вслед за чтением этого стихотворения, говорят, не поддается никакому описанию. Вся публика, как один человек, встала и начала бешено аплодировать. Но Некрасов ни разу не вышел на эти поздние овации легковерной толпы...» (Р. Антропов. Памяти Некрасова. — «Звезда», 1902, № 51, стр. 6).

«...одинокий, потерянный». Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 113—114. Впервые — Стих 1864, ч. III, стр. 53—54.

«Навеяно разладом с Тургеневым в 1860 г.» — пояснил поэт (Стих 1879, т. IV, стр. LV).

Долгое время Тургенев был единственным другом Некрасова. Никому Некрасов не писал таких откровенных писем о себе, о своем творчестве. Он считал Тургенева лучшим из русских писателей и чрезвычайно дорожил его дружбой, его сотрудничеством в своем журнале. Тургенев тоже относился к нему с неизменной приязнью.

Но в шестидесятых годах в русском обществе выдвинулись в качестве крупной общественной силы новые люди — разночинцы, представители революционной демократии. Все прежние друзья Некрасова, верные своей дворянской природе, отшатнулись от «новых людей» и примкнули к либеральному лагерю. Один только Некрасов из всего поколения «отцов» примкнул к «детям» и стал вдохновителем разночинной молодежи. Его журнал «Современник» сделался центральным органом революционно-демократической «партии», руководимой Чернышевским и Добролюбовым. Разрыв с Тургеневым стал неизбежен. Он произошел в конце 1860 г., но Некрасов, по его собственному признанию, продолжал попрежнему любить своего «друга-врага».

Незадолго перед смертью Некрасова, в начале июня 1877 г., Тургенев посетил умирающего и помирился с ним.

Знахарка. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 174—176. Впервые — С 1860, № 11, стр. 189—190.

Последний стих «Как от господ отойдем мы на волю» имел особое значение, так как «Знахарка» была напечатана за три месяца до «освобождения» крестьян. Некрасов и сам указал на это в письме к Н. А. Добролюбову от 1 января 1861 г.: «Что Вы о моих стихах <то есть о «Знахарк'е»>? Они просто плохи, а пущены для последней строки» («Звенья», т. V, М.-Л., 1935, стр. 487).

На Волге. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 188—201. Ст. 251, 277 и 288 даны в редакции Стих 1879, т. I, стр. 302—303. Впервые — С 1861, № 1, стр. 5—12.

По поводу знаменитого места поэмы, где изображается разговор бурлаков, Н. Г. Чернышевский писал из Сибири:

«Однажды, рассказывая мне о своем детстве, Некрасов припомнил разговор бурлаков, слышанный им ребенком, и передал; пересказав, прибавил, что он думает воспользоваться этим воспоминанием в одном из стихотворений, которое хочет написать. Прочитав через несколько времени пьесу «На Волге», я увидел, что рассказанный мне разговор бурлаков передан в ней с совершенною точностью, без всяких прибавлений или убавлений; перемены в словах сделаны лишь такие, которые были необходимы для подведения их под размер стиха; они нимало не изменяют смысла речи, и даже часто с грамма-

тической и лексикальной стороны не многочисленны и не важны. Вместо —

«а кабы умереть к утру, так было бы еще лучше», — в пьесе сказано:

А кабы к утру умереть,
Так лучше было бы еще; —

только такими пятью, шестью переменами отличается передача разговора в пьесе от воспоминания об этом разговоре, рассказанного Некрасовым мне» (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. I. М., 1939, стр. 753, 754).

По первоначальному замыслу Некрасова стихотворение «На Волге» должно было составить первую часть большой поэмы «Рыцарь на час». Замысел остался невыполненным. Некрасов написал только первую и четвертую части. Эта четвертая часть и называется теперь «Рыцарь на час». Обе эти части печатаются в виде отдельных стихотворений, не связанных между собою.

На псарне. Печатается по Стих 1873, ч. IV, стр. 248. Впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 242.

Рыцарь на час. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 79—91. Стихи 43 и 46 печатаются в редакции Стих 1879, ч. I, стр. 305. Впервые — С 1863, № 1, стр. 209—214.

В 1860 г. Некрасов задумал большую поэму «Рыцарь на час». Героем этой поэмы должен был явиться он сам под вымышленной фамилией Валежников. Замысел не был приведен в исполнение; в печати появились только два отрывка: первая часть поэмы под заглавием «На Волге» («Детство Валежникова») и то стихотворение, которое ныне известно под заглавием «Рыцарь на час». По первоначальному плану оно составляло четвертую главу задуманной поэмы и называлось «Бессонница». Так оно и названо в «Современнике», где оно напечатано до слов: «Что умел он любить», после чего следовало три строки точек. В прежних изданиях своих стихотворений под заголовком «Рыцарь на час» Некрасов печатал в скобках:

«Из поэмы того же названия, глава IV: Валежников в деревне. — Светлая осенняя ночь с легким морозом».

В «Современнике» не было восьмистишия:

По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко... и т. д.

Очевидно, оно было написано позже.

В альбоме Л. П. Шелгуновой (см. «Литературный архив», изд. П. Картавовым, П., 1902, стр. 99) стихотворение было посвящено гражданскому мужу Л. П. Шелгуновой — поэту, переводчику, критику и публицисту Михаилу Ларионовичу Михайлову (1862—1865), который был арестован (в сентябре 1861 г.) и сослан на каторгу за распространение прокламации «К молодому поколению», составленной Н. В. Шелгуновым. Очевидно, под впечатлением его ареста и ссылки Некрасов написал в альбоме после стихов:

Суждены нам благие порывы,
Но свершить ничего не дано!

«Редки те, к кому нельзя применить этих слов, чьи порывы способны переходить в дело... Честь и слава им — честь и слава тебе, брат! 24 мая 6 часов утра <1862 г.>

Некрасов».

По поводу «Рыцаря на час» Н. К. Михайловский писал: «...какая странная судьба этого изумительного стихотворения Некрасова, которое, если бы он даже ни одной строки больше не написал, обеспечивало ему «вечную память», которое едва ли кто-нибудь, по крайней мере в молодости, мог читать без предсказанных поэтом «внезапно хлынувших слез с огорченного лица». Мне вспоминается один вечер или ночь зимой 1884 или 1885 года. Я жил в Любани, ко мне приехали из Петербурга гости, большею частию уже немолодые люди, в том числе Г. И. Успенский. ... кто-то предложил по очереди читать. Г. И. Успенский выбрал для себя «Рыцаря на час». И вот: комната в маленьком деревянном доме; на улице, занесенной снегом, мертвая тишина и непроглядная тьма; в комнате, около стола, освещенного лампой, сидит несколько человек, повторяю, большею частию немолодых; Глеб Иванович читает; мы все слушаем с напряженным вниманием, хотя наизусть знаем стихотворение. Но вот голос чтеца слабеет, слабеет и — обрывается: слезы не дали кончить... Простите, читатель, это маленькое личное воспоминание. Но ведь оно, пожалуй, даже не личное. По всей России ведь рассыпаны эти маленькие деревянные домики, где читают (или читали?) «Рыцаря на час» и льются (или лились?) эти слезы...» («Русское Богатство», 1897, № 2, стр. 134).

Сохранилось воспоминание, что Чернышевский, по возвращении из ссылки, читая однажды это стихотворение вслух, «не выдержал и разрыдался» («Переписка Чернышевского...», М.-Л., 1922, стр. 14).

Один из старых сотрудников «Современника» вспоминал, что Некрасов и сам читал это стихотворение «со слезами в голосе» (П. М. К о в а л е в с к и й. Стихи и воспоминания. П., 1912, стр. 279).

Е. М. Феоктистов рассказывает в своих мемуарах, что однажды вечером, находясь у него в доме, поэт стал читать его жене свое стихотворение, в котором он обращается к матери с горькими сожалениями, что загубил свою жизнь <т. е. стихотворение «Рыцарь на час»>, то закрыл лицо руками и зарыдал («Воспоминания» Е. М. Ф е о к т и с т о в а. Л., 1929, стр. 25).

Церковь Петра и Павла, которую описывает в этом стихотворении Некрасов, находится в селе Авакумцеве. При церкви — могила матери поэта (см. снимки в «Архиве села Карабихи». М., 1916, после стр. 48 и 64).

Д е р е в е н с к и е н о в о с т и. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 177—183. Впервые — «Век», 1861, № 1, стр. 32—33.

Сестра Некрасова, Анна Алексеевна Буткевич, писала в своих заметках о нем: «С 1844 г. по 1863... он почти каждое лето проводил в деревне у отца в сельце Грешнево в двадцати верстах от Ярославля. Если брат извещал о дне приезда, отец высылал в Ярославль

тарантас, чаще же брат нанимал вольных лошадей или просто телегу в одну лошадь» («Из дневников и воспоминаний А. А. Буткевич». — ЛН, стр. 178).

В стихотворении «Деревенские новости» поэт изображает один из таких приездов в Грешнево. *Качалов лесок* — роща у самого въезда в деревню. Та дружеская связь поэта с грешневскими крестьянами, которая изображается здесь, существовала в действительности. По поводу стихов, где говорится, что при его приезде в деревню из каждых ворот выходили ему навстречу крестьяне («Что ни мужик, то приятель»), Некрасов сообщал в одной заметке: «Я постоянно играл с деревенскими детьми и когда мы подросли, естественно, что между нами была такая короткость» (Автобиографии Некрасова. — ЛН, стр. 143). Крестьянин Кузьма Ефимович Солнцев, который еще мальчишкой охотился в тех местах с Некрасовым, вспоминал в 1902 г., что, приезжая в Грешнево, Некрасов не забывал никого из своих деревенских знакомых. Детям он часто привозил игрушки. «Другая семья — большая, а он и на другой год всех по именам называет» (Ф. Смирнов. Перед некрасовскими днями. Ярославль, 1902, стр. 20).

Последние строки стихотворения объясняются тем, что оно было написано за несколько месяцев до манифеста о крестьянской реформе.

Дума. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 186—187. Впервые — С 1861, № 9, стр. 255—256.

Это стихотворение было напечатано через несколько месяцев после крестьянской реформы, когда трагедия безработицы, изображенная в нем, стала реальной угрозой для многих «освобожденных» крестьян. Вынужденные продавать свой труд на «вольном» рынке, они в те годы впервые столкнулись с этим капиталистическим злом. Таким образом, в стихотворении «Дума» заключалась косвенная оценка «раскрепощения» крестьян (см. ниже примечание к стихотворению «Калистрат», стр. 481).

Плач детей. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 184—185. Ст. 17 и 33—40 даны в редакции Стих 1879, т. II, стр. 12—13. Впервые — С 1861, № 1, стр. 367—368.

Подготовляя незадолго до смерти новое издание своих стихов, Некрасов сделал такое примечание к «Плачу детей»:

«Это стихотворение принадлежит в подлиннике одной английской писательнице и пользуется там известностью вроде как «Песня о рубашке» Т. Гуда, — конечно, гораздо меньшею... Все остальное, что она писала, плохо. Я имел подстрочный перевод в прозе и очень мало держался подлинника: у меня оно наполовину короче. Я им очень дорожу» (Стих 1879, т. IV, стр. LIX—LX).

Английская писательница, о которой пишет Некрасов, — Элизабет Баррет Браунинг (1806—1861) — занимает в истории английской лирики видное место. «Плач детей» («The cry of children») был написан ею в 1843 г. под впечатлением одного официального отчета, где изображалась ужасная эксплуатация детского труда на английских заводах и шахтах. В русской литературе около этого времени появилась статья «Работа детей в английских рудокопнях», наглядно изображавшая страдания малолетних рабочих. Некрасов был знаком

с этой статьей, так как она была напечатана в «Литературной Газете» (1844, № 11, стр. 189), где поэт был постоянным сотрудником. Через месяц в той же газете появился рассказ «Рудокопы», опять-таки о детях-шахтерах (№ 16, стр. 281).

В сущности Некрасов мог бы и не ссылаться на Элизабет Браунинг: такая была огромная разница между ее манерной и вялой риторикой, не чуждой религиозно-сентиментального стиля, и сдержанным пафосом его самобытных, немногословных и могучих стихов.

В подлиннике — 156 строк, в стихотворении Некрасова — 40. Он сократил эту поэму не вдвое, как показалось ему, но почти вчетверо, и от этого она значительно выиграла.

Некрасов выбросил из своего стихотворения шахты, фигурирующие в английском подлиннике, так как они не характерны для русской промышленности пятидесятых годов. Точно так же Некрасов отметил в своем стихотворении то, на что не обратила внимания Элизабет Браунинг, — ту жестокую роль, которую играют на фабрике надсмотрщики за детской работой.

1861

На смерть Шевченка. Печатается по записи А. А. Буткевич — ИЛИ, ф. 203, № 45. Под текстом: «Писала со слов брата 25 декабря 1876 года». Ст. 15, пропущенный в этой записи, восстановлен по журналу «Зоря». Впервые — по копии А. А. Буткевич, в журнале «Зоря» (Львов), 1886, № 6, стр. 87.

Великий украинский поэт Тарас Григорьевич Шевченко был арестован в Киеве 5 апреля 1847 г. по обвинению в принадлежности к Кирилло-Мефодиевскому братству. Так как среди его бумаг были найдены революционные стихи, «исполненные ненависти к правительству», а также злые карикатуры на царя и царицу, он был определен по приказу Николая I в Отдельный Оренбургский корпус рядовым под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать... Впоследствии Шевченко писал в дневнике: «Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого нечеловеческого приговора!»

Десять лет и четыре месяца томился в неволе гениальный поэт. Лишь в 1858 г. он получил разрешение вернуться в столицу. Некрасовский «Современник» в лице Чернышевского и Добролюбова очень сочувственно встретил его. В статье Добролюбова о «Кобзаре» была воспроизведена автобиография Шевченко. Некрасов охотно печатал в своем журнале переводы его стихов. Шевченко скончался вскоре после возвращения из ссылки (26 февраля 1861 г.).

В 1867 г. в Петербургском окружном суде рассматривалась тяжба двух издателей книги Шевченко «Кобзарь». Некрасов выступил в этом процессе одним из экспертов и с величайшим сочувствием отозвался о творце «Кобзаря» (см. «Глобус» 1928, № 6, и «Шевченко та його доба», Киев, 1925, т. I, стр. 99—108).

«Что ни год — уменьшаются силы». Печатается по Стих 1873, ч. III, стр. 127. Впервые — Стих 1864, ч. III, стр. 128.

Крестьянские дети. Печатается по Стих 1873, ч. II, стр. 171—185. Впервые — «Время», 1861, октябрь, стр. 356—363.

«Крестьянские дети» в журнальном тексте были посвящены Ольге Сократовне Чернышевской, жене Н. Г. Чернышевского. Под заглавием было напечатано: «(О. С. Ч-ской)».

Недавно была опубликована записка Некрасова, вклеенная в альбом О. С. Чернышевской: «Обязуюсь написать Ольге Сократовне Чернышевской стихотворение ко дню ее ангела 11 июля, коего содержанием будут красоты природы в пределах Ярославской губернии. Ник. Некрасов. 14 мая 1861. С.П.Б. (Н. Чернышевская. Новое стихотворение Некрасова. — «Звенья», т. V, М.-Л., 1935, стр. 510).

Двустишие, входящее в седьмой абзац:

Те честные мысли, которым нет воли,
Которым нет смерти, — дави не дави,

было по цензурным условиям напечатано так:

Те честные мысли, которым нет доли,
Которым нет смерти —...

Гаврила, упоминаемый здесь, — тот самый Гаврила Захаров, которому посвящены «Коробейники» (см. ниже примечание к «Коробейникам», стр. 474). *«Большая дорога»*, изображаемая в этой поэме, проходила неподалеку от некрасовского имения Грешнево. Она соединяла Кострому с Ярославлем и в те времена была многолюдным и бойким трактом (см. А. В. Попов. Топография поэмы «Кому на Руси жить хорошо». — «Литература в школе», 1946, № 2, стр. 40).

Отрывок из «Крестьянских детей», начинающийся словами «Однажды в студеную зимнюю пору», вошел в хрестоматии под заглавием «Мужичок с ноготок» и до настоящего времени является одним из самых популярных стихотворений Некрасова.

Похороны. Печатается по Стих 1873, ч. I, стр. 202—205. Впервые — С 1861, № 9, стр. 128.

Судя по черновому автографу, Некрасов первоначально намеревался придать охотнику-самоубийце черты народолюбивого барина:

Ты у нас про житье наше спрашивал,
Ровней с нами себя называл...

А лицо было словно дворянское...
Приносил ты нам много вестей
И про земское дело крестьянское,
И про войны заморских царей.

Слезы и нервы. Печатается по тексту газеты «Новое Время», 1876, № 55, от 25 апреля, где напечатано впервые.

В этом стихотворении Некрасов говорит об А. Я. Панаевой. Написанное в крайнем раздражении, оно отнюдь не выражает подлин-

ного мнения Некрасова о той женщине, про которую он сказал в более поздних стихах:

Все, чем мы в жизни дорожили,
Что было лучшего у нас,
Мы на один алтарь сложили,
И этот пламень не угас.

Т<ургене>ву. Печатается по тексту корректуры ИЛИ, ф. 135, оп. 11, № 3. Впервые — «Заветы», 1913, № 12, стр. 45.

В примечании к одному из черновиков этого стихотворения Некрасов собственноручно указывает, что оно написано незадолго до появления в печати тургеневских «Отцов и детей», когда разнесся слух, будто Тургенев намерен изобразить в своем романе Добролюбова.

В. Евгеньев <Максимов> доказывал, что на самом деле это стихотворение адресовано не Тургеневу, а Герцену («Заветы», 1913, № 12, стр. 45). С его аргументацией почти согласился М. Лемке (А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XI. Пг., 1919. стр. 215).

Мы не имеем возможности высказаться по этому поводу категорически, так как не располагаем для этого объективными данными, однако не исключена возможность, что Некрасов мог посвятить свое стихотворение Тургеневу, так как оно в достаточной степени соответствовало той репутации автора «Отцов и детей», которая сложилась в «Современнике» в 60-х годах.

Коробейники. Печатается по Стих 1873, ч. II, стр. 187—223. Доцензурная редакция ст. 137 восстановлена по автографу ЛБ 5761. Ст. 39 и 543 печатаются по Стих 1861—1869. Впервые — С 1861, № 10, стр. 599—620.

Писатели старого времени часто посвящали свои произведения какому-нибудь важному лицу, надеясь найти в нем своего покровителя. Эти посвящения обычно печатались в виде предисловий к стихам или книгам. Они были исполнены самой необузданной лести. В противовес этим раболепным изъявлениям почтительных чувств к высокопоставленной знати Некрасов посвятил свою поэму простому «мужику» Гавриле Яковлевичу, которого и провозгласил наиболее авторитетным судьею своей поэзии:

Буду рад, коли понравится,
Не понравится — смолчу!

Для того чтобы сильнее подчеркнуть всю полемичность этого посвящения, обращенного к крестьянину, Некрасов в издании 1861 года придал этим стихам типографскую внешность старинных посвящений королям и вельможам: им были отведены две страницы, причем имя и отчество крестьянина выделены особым шрифтом.

Этот крестьянин, Г. Я. Захаров, был в шестидесятых годах товарищем Некрасова по охоте. Его имя упоминается также в поэме «Крестьянские дети».

Деревня Шода (или Новая Деревня) находится в Мисковской волости, Костромской губернии, в тридцати семи верстах от Костромы.

Сотрудник газеты «Костромской Листок» посетил в 1902 г. деревню Шоду и разыскал там Ивана Захарова (сына Гаврилы). Иван рассказал ему следующее о знакомстве поэта с отцом:

«Некрасов приехал как-то летом в Кострому, остановился в одной из гостиниц на Сусанинской площади и послал лакеев разыскать какого-нибудь охотника для указания мест в Костромской губернии. Один из лакеев увидел на рынке Гаврилу, который нес дупелей по губернаторскому заказу. Лакей сказал Гавриле о Некрасове и передал желание «барина» найти охотника. Гаврила пришел к поэту, познакомился с ним и обещал показать свои охотничьи места. Сейчас же собрались и поехали на тройках в Шоду. Некрасов, по словам Захаровых, ездил на двух-трех тройках со всякими запасами и припасами. Дорогой останавливались и охотились, по указаниям Гаврилы, около Мискова и Жарков... Начавшееся таким образом знакомство поэта с Гаврилой с тех пор не прерывалось. Гаврила часто ходил в Грешнево и иногда жил там подолгу...»

По словам Ивана Захарова, сюжет «Коробейников» дан Некрасову тем же Гаврилой.

«Однажды на охоте с Гаврилой Некрасов убил бекаса, а Гаврила в тот же момент — другого, так что Некрасов не слыхал выстрела. Собака, к его удивлению, принесла ему обоих бекасов. «Как, — спрашивает он Гаврилу, — стрелял я в одного, а убил двух?» По этому поводу Гаврила рассказал ему о двух других бекасах, которые попали одному охотнику под заряд. Этот случай дал повод для рассказа об убийстве коробейников, которое произошло в Мисковской волости:

Два бекаса нынче славные
Мне попали под заряд!

Другие подробности, например, о Катеринушке, которой приходилось

Парня ждать до Покрова,

основаны на рассказах Матрены, жены Гаврилы, теперь тоже умершей, которая так же сидела в одиночестве, как и Катеринушка.

Некрасов дарил Гавриле деньги, его детям и жене гостинцы, позднее дал ему книгу своих стихов с собственноручной надписью» («Костромской Листок», 1902, № 140).

Сестра поэта сообщала в своих мемуарных заметках, что «Коробейников» он написал в деревне, воротившись с охоты, и тогда же прочитал их крестьянину Кузьме («Из дневников и воспоминаний А. А. Буткевич». — ЛН, стр. 177). Этим первым слушателем великой поэмы был, очевидно, Кузьма Ефимович Солнцев, местный уроженец (о нем см. примечание к стихотворению «Деревенские новости»).

В конце поэмы Некрасов приложил примечания; среди них было одно, впоследствии устраненное автором. Оно относилось к строкам:

Не сама ли принесла
Полуштофик сладкой водочки?

Примечание было такое:

«Этот полуштофчик (заметил автору некто) лишает поэтичности вашу героиню, давая повод читателю воображать ее покупающею в кабаке водку». Не входя в длинные объяснения, напомню читателям, что у нас почти в каждой деревне есть так называемые корчемники, а еще чаще корчемницы, у которых можно купить вина (или выменять на лен, холст или пряжу) и даже сделать это потихоньку» (Стих 1861, ч. I, стр. 246).

Вскоре после опубликования «Коробейников» в «Современнике» Чернышевский воспользовался включенной в их текст «Песней убогого странника» для пропаганды революционных идей о переустройстве крестьянского быта: процитировав в статье о Николае Успенском знаменитые строки поэмы:

Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?
Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименькой, холодно!

Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь?
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименькой, голодно!

дал им такой комментарий: «Жалкие ответы, слова нет, но глупые ответы. «Я живу холодно, холодно». — А разве не можешь ты жить тепло? Разве нельзя быть избе теплою? — «Я живу голодно, голодно». — Да разве нельзя тебе жить сытно, разве плоха земля, если ты живешь на черноземе, или мало земли вокруг тебя, если она не чернозем, — чего же ты смотришь? — «Жену я бью, потому что рассержен холодом». — Да разве жена в этом виновата? — «Я в кабак иду с голоду». — Разве тебя накормят в кабаке? Ответы твои понятны только тогда, когда тебя признать простофилею. Не так следует жить и не так следует отвечать, если ты не глуп» («Современник», 1861, № 11, стр. 101).

Эту же «Песню» вскоре процитировал и Герцен в «Колоколе» от 1 февраля 1862 г.

Голодно, странничек, голодно!
Холодно, родименькой, холодно!

Седьмая строфа «Песни убогого странника» и в «Современнике» и в издании 1873 г. начинается так:

Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь?

Но редактор посмертного издания самовольно вставил лишний слог («поправил ритм»): «Что ты бабу-то бьешь?» Против этого протестовал Н. Г. Чернышевский. Он писал из Сибири Пыпину: «Некрасов не по недосмотру, а преднамеренно сделал последнюю стопу стиха двусложною; это дает особенную силу выражению. — Поправка портит стих...» (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. I. М., 1939, стр. 751).

Встрелось нам лицо духовное — суеверная примета: встретить попа — не к добру. *Гогулино*, упоминаемое в эпиграфе к пятой главе, — деревня в Ярославской губернии, принадлежавшая деду поэта (Некрасовский сборник. Ярославль, 1922, стр. 77). Недавно опубликован фотоснимок этой деревни, сделанный А. В. Поповым (ЛН, стр. 203).

Эпиграф к первой главе заимствован из одного рассказа Николая Успенского, где приводится такая песня:

Кумачу я не хочу,
Китайки не надо!
Наши в поле не робеют
И на печке не дрожат.

(«Сцены из сельского праздника» — «Современник», 1853, № 5).

Коробейники знаменуют собою новый этап в творчестве Некрасова. Поэт стал писать не только о народе, но и для народа, начав именно с этого времени свой знаменитый цикл — народных поэм («Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо» и др.).

Стремясь к тому, чтобы «Коробейники» возможно скорее дошли до народа, он, вскоре после того как они появились в журнале, выпустил их отдельной брошюрой под заглавием: «Красные книжки». Книжка первая: Коробейники. Сочинил и издал Некрасов, СПб., 1862, 36 страниц. Цена 3 коп.

Поэт не только отказался от дохода с этих народных книжек, но и весь расход по их печатанию принял на себя. Об этом свидетельствует следующее его письмо к крестьянину-книготорговцу И. А. Голышеву от 28 марта 1862 г.:

«Посылаю вам 1500 экземпляров моих стихотворений, назначающихся для народа. На обороте каждой книжечки выставлена цена — 3 копейки за экземпляр, — потому я желал бы, чтобы книжки не продавались дороже: чтобы из трех копеек одна поступала в вашу пользу и две в пользу офеней, — таким образом книжка и выйдет в три копейки, не дороже» (Собр. соч., т. V, стр. 372).

Эти книжки имели в ту пору агитационное значение. Характерно, что в числе их распространителей был Салтыков-Щедрин. «Нет ли у вас «Красных книжек» Некрасова 1-й и 2-й? — писал он Ип. Панаеву 11 мая 1863 г. — Если есть, то пришлите мне по 30 экземпляров каждой» (Н. Щедрин <М. Е. Салтыков>. Полное собрание сочинений, т. XVIII. Л.-М., 1937, стр. 182).

С середины семидесятых годов первые двадцать четыре строки «Коробейников» вошли в народные лубочные песенники под заглавием «Коробушка», иногда «Коробочка», чаще без имени автора. «Коробушка» поныне распевается как одна из любимейших народных песен.

Свобода. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 242—243. Впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 237—238.

Написано в 1861 г., вскоре после «раскрепощения» крестьян.

Чернышевский вспоминал впоследствии, как встретил Некрасов царский манифест.

«В тот день, когда было обнародовано решение дела, я вхожу утром в спальную Некрасова... Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него. Рука лежит вдоль тела. В правой руке тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице выражение печали. Глаза потуплены в грудь. При моем приходе он встрепенулся, поднялся на постели, отыскивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил:

— Так вот что такое эта «воля»! Вот что такое она!

Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал:

— А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это.

— Нет, этого я не ожидал, — отвечал он и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения» (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. I. М., 1939, стр. 747).

По словам Пантелеева, Некрасов говорил еще резче:

«Да разве это настоящая воля! Нет, это чистый обман, издевательство над крестьянами» (Л. Ф. Пантелеев. Из воспоминаний прошлого. М.-Л., 1934, стр. 552).

В стихотворении «Свобода» эта отрицательная оценка крестьянской реформы выразилась недостаточно ясно. Очевидно, поэтому Некрасов не напечатал «Свободы» в своем «Современнике» и всегда относил ее в сборниках своих стихотворений в отдел приложений.

Более отчетливо выразил он свое отношение к крестьянской реформе в позднейших стихах. Например:

В жизни крестьянина, ныне свободного,
Бедность, невежество, мрак...

Дешевая покупка. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 103—107. Впервые — С 1862, № 2, стр. 683—686.

Двадцатое ноября 1861 года. Печатается по Стих 1873, ч. III, стр. 123. Впервые ст. 5—17 — в статье Некрасова «Посмертные стихотворения Н. А. Добролюбова», где стихотворение помещено без заглавия и первой строфы в качестве лирической концовки статьи (С 1862, № 1, стр. 348). Впервые полностью — Стих 1863, стр. 180.

По словам Некрасова, написано в день похорон Н. А. Добролюбова. Вскоре, 2 января 1862 года, когда петербургские студенты устроили поминки по Н. А. Добролюбове, Некрасов выступил с краткою речью и, между прочим, сказал:

«...мы во всю нашу жизнь не встречали русского юноши столь чистого, бесстрашного духом, самоотверженного! Наше сожаление о нем не имеет границ, и едва ли когда изгладится. Еще не было дня с его смерти, чтоб он не являлся нашему воображению, то умирающий, то уже мертвый, опускаемый в могилу нашими собственными руками. Мы ушли с этой могилы, но мысль наша осталась там и поминутно зовет нас туда и поминутно рисует нам один и тот же неотразимый образ» (С 1862, № 1, стр. 348).

Вслед за этим поэт прочитал приводимые в тексте стихи.

1862

Зеленый шум. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 119—122. Впервые — С 1863, № 3, стр. 143—144.

В великорусских народных песнях нет упоминания о зеленом шуме. Поэт заимствовал этот образ из игривой песни украинских де-

вушек, которая была напечатана в «Русской Беседе» (1856, № 1, Смесь, стр. 77).

Песня начинается так:

Ой, нумо ж мы, нумо,
В зеленого Шума!
А в нашего Шума
Зеленая шуба и т. д.

Замечательно, что Некрасов в своих стихах воспроизвел не эту песню, а прозаические комментарии к ней, написанные украинским этнографом проф. М. А. Максимовичем. Комментарии были такие:

«...в этом зеленом шуме девчат отозвался Днепр, убирающийся в зелень своих лугов и островов, шумящий в весеннем разливе своем и дающий тогда полное приволье рыболовству. В одно весеннее утро я видел здесь, что и воды Днепра, и его песчаная Белая коса за Шумиловкою, и самый воздух над ними — все было зелено... В то утро дул порывистый горишний, т. е. верховой, ветер, набегая на прибрежные ольховые кусты, бывшие тогда в цвету, он поднимал с них целые облака зеленоватой цветочной пыли и развевал ее по всему полуденному небосклону».

И песня и комментарии к ней входили в статью Максимовича «Дни и месяцы украинского селянина». Максимович был не только этнограф, но и ботаник (см. собрание соч. М. А. Максимовича, т. II, Киев, 1877, стр. 479. Ср. статью И. С. Абрамова в «Науковом збірнике Ленінградського товариства дослідників української історії, письменства та мови», 1928, стр. 51).

Изображенная картина произвела на Некрасова такое впечатление, что он через восемь лет воспроизвел ее в стихах, сохраняя даже фразеологию М. А. Максимовича.

В истории некрасовского творчества «Зеленый шум» замечателен тем, что здесь впервые появился новый стих, который впоследствии был положен в основу поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Это — трехстопный ямб с дактилическими окончаниями, причем мужские окончания, появляясь после некоторого числа дактилических, замыкают собой каждую фразу. Этот гибкий и емкий стих был гениальной находкой Некрасова.

По своему ритму этот стих наиболее близок к двум стихотворениям Кольцова: «Песня» («На что ты, сердце нежное») и «Пора любви» («На что ты, степь зеленая»), с той существенной разницей, что в первом из этих стихотворений трехстопные ямбы, замыкающие каждую фразу, чередуются через строку, в правильном порядке, симметрически, а во втором и вообще нет трехстопных ямбов, организующих строфику «Зеленого шума» и «Кому на Руси жить хорошо».

Литература, с трескучими фразами. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 124. Цензурный пропуск ст. 3—4 восстанавливается по автографу ЛБ 5761. Впервые — Стих 1864, ч. III, стр. 18.

Краткая характеристика той атмосферы, которая отразилась в этом стихотворении, дана в статье В. И. Ленина «Гонители земства и Ан-

нибалы либерализма». В. И. Ленин ссылается на воспоминания Л. Ф. Пантелеева, где, по его словам, «сгруппированы некоторые очень интересные факты о революционном возбуждении 1861—1862 гг. и полицейской реакции...» Не принимая ложных выводов этой статьи, Ленин приводит из нее следующее: «К началу 1862 г. общественная атмосфера была до крайности напряжена; малейшее обстоятельство могло резко толкнуть ход жизни в ту или другую сторону. Эту роль и сыграли майские пожары 1862 года в Петербурге». Начались,— продолжает Ленин, — они 16-го мая, особенно выделились 22 и 23 мая — в этот последний день было пять пожаров, 28-го мая запылал Апраксин двор и выгорело громадное пространство вокруг него. В народе стали обвинять в поджогах студентов, и эти слухи повторялись газетами. Прокламацию «Молодой России», которая объявляла кровавую борьбу всему современному строю и оправдывала всякие средства, рассматривали как подтверждение слухов об умышленных поджогах. «Вслед за 28-м мая в Петербурге было объявлено нечто вроде военного положения». Учрежденному особому комитету было поручено принятие *чрезвычайных* мер к охране столицы. Город был разделен на три участка, с военными губернаторами во главе. По делам о поджоге введен военно-полевой суд. Приостановлены на 8 месяцев «Современник» и «Русское Слово», прекращен «День» Аксакова, объявлены суровые временные правила о печати (утвержденные еще 12-го мая, *т. е. до пожаров*. След., *«ход жизни»* резко направлялся в сторону реакции и независимо от пожаров, вопреки мнению г. Пантелеева), правила о надзоре за типографиями, последовали многочисленые аресты политического характера (Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича, Рымаренко и др.), закрыты воскресные школы и народные читальни, затруднено разрешение публичных лекций в С.-Петербурге, закрыто 2-ое отделение при Литературном Фонде, закрыт даже Шахматный клуб.

Следственная комиссия не открыла никакой связи пожаров с политикой... есть очень веское основание думать, что *слухи о студентах-поджигателях распускала полиция*. Гнуснейшее эксплуатирование народной темноты для клеветы на революционеров и протестантов было, значит, в ходу и в самый разгар «эпохи великих реформ» (В. И. Ленин. Сочинения, т. V, изд. 4-е, стр. 26—27).

В стихотворении Некрасова цензура изъяла две строки (ст. 3 и 4):

Администрация наша с указами
О забирании каждого встречного.

При жизни Некрасова этот цензурный пропуск восстановлен не был.

«Надрывается сердце от муки». Печатается по Стих 1873, ч. III, стр. 76—77. Впервые — С 1863, № 9, стр. 312.

Первое четверостишие написано под впечатлением расправы с революционными деятелями, которое учинило правительство Александра II в 1862—1863 гг. (Дело Чернышевского, Писарева, Михайлова, Серно-Соловьевича и др.).

Та строка, где говорится о топоре и цепях (ст. 4), была в журнале по цензурным условиям выброшена и заменена точками.

Что думает старуха, когда ей не спится. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 117—118. Впервые — С 1863, № 3, стр. 203—204.

«В полном разгаре страда деревенская...» Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 115—116. Впервые — С 1863, № 4, стр. 557—558.

1863

Кумушки. Печатается по Стих 1873, ч. III, стр. 108—110. Впервые — «Солдатская Беседа», СПб., 1863, кн. 1, стр. 31—32.

Калистрат. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 102. Впервые — С 1863, № 9, стр. 313.

Написав в 1846 году две фольклорные песни («Тройка» и «Огородник»), Некрасов около пятнадцати лет не возвращался к песенному народному творчеству. Но в шестидесятых годах, когда крестьянская тематика заняла в его поэзии господствующее место, он снова обратился к фольклору и создал в короткое время целый цикл народных песен из крестьянского быта: «Дума» (1861), «Зеленый шум» (1862), «Калистрат» (1863), «Молодые», «Катерина», «Сват и жених», «У людей-то в дому» (1866), не говоря уже о поэмах «Коробейники» и «Мороз, Красный нос», многие части которых приближаются к песенно-фольклорному стилю.

Преобладающая тема большинства этих песен (если в них не трактуется любовный сюжет): крестьянская нищета, разоренность («Дума», «Песня убогого странника» и т. д.). Но характерно, что крестьяне, от лица которых говорит в этих песнях поэт, склонны относиться к своей нищете иронически. Нищета не сломила этих несокрушимых людей, и они находят в себе душевные силы смеяться над нею, шутливо изображая ее как особую форму богатства. Эта изумительная жизнестойкость и бодрость русского крестьянина особенно явственно выразилась в песнях «Калистрат» и «Молодые».

Существует мнение, что литературным источником для «Калистрата» послужил образ неудачника из распространенной повести в народном духе «Како Горе-Злосчастие довело молодца во иноческий чин» («Наука на Украине», 1922, июнь, стр. 195—203).

Но так как в этой повести совершенно отсутствует бравурно-насмешливое отношение к собственной бедности, отличающее песню Некрасова, близость этих двух произведений представляется нам сомнительной.

Пожарище. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 125—126. Впервые — С 1863, № 10, стр. 519—520.

Блюхер — прусский фельдмаршал (1742—1819). Совместно с английским полководцем Веллингтоном (1815) выиграл битву при Ватерлоо. Его лубочный портрет долгое время был популярен в России. Некрасов еще в романе «Три страны света» (ч. II, гл. VIII) упоминал портрет Блюхера в качестве обычного украшения станционной избы. (См. также «Сельскую ярмонку» в поэме «Кому на Руси жить хорошо».) *Забалканский* — русский генерал-фельдмаршал Ди-

бич (1785—1831), получивший имя Забалканского за переход через Балканский хребет в русско-турецкую войну в 1829 г.

«Благодарение господу богу». Печатается по Стих 1873, ч. IV, стр. 251—252. Цензурный пропуск ст. 29—32 восстановлен по Стих 1879, т. II, стр. 76. Впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 244—246.

Дорога, изображаемая здесь, — знаменитая «Владимирка», по которой гнали арестантов в Сибирь. Последние строфы посвящены арестованному революционеру, отправляемому на каторгу в сопровождении жандарма. Стихотворение написано в 1863 г., когда правительство Александра II стало ссылать в Сибирь польских повстанцев.

Орина, мать солдатская. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 93—101. Впервые — С 1864, № 2, стр. 573—576.

В то время, когда писалась поэма, вопрос о солдатчине был злобою дня: с 1862 г. в военном ведомстве под руководством либерального министра Д. А. Милютина (1816—1912) стали проводиться реформы по комплектованию и содержанию армии, значительно сократившие срок военной службы.

По поводу «Орины» сестра Некрасова А. А. Буткевич записала в своих воспоминаниях о поэте:

«Орина, мать солдатская, сама ему рассказывала свою ужасную жизнь. Он говорил, что несколько раз делал крюк, чтобы поговорить с ней, а то боялся сфальшить» («Из дневников и воспоминаний А. А. Буткевич». — ЛН, стр. 178).

«Орина, мать солдатская» предназначалась Некрасовым для одиннадцатой книжки «Современника» за 1863 г. Но цензура первоначально запретила ее, и Некрасов мог поместить ее лишь в 1864 г.

Мороз, Красный нос. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. III, стр. 15—75 и посвящение; ч. IV, стр. 248—250. Стих 367 печатается в редакции посмертного издания 1879 г., ч. II, стр. 98. Впервые полностью — С 1864, № 1, стр. 5—40.

Сестра поэта Анна Алексеевна Буткевич (1823—1882), которой посвящена поэма «Мороз, Красный нос», всю жизнь была в дружеских отношениях с братом. Он писал ей (30 октября 1874 г.), незадолго до своей смертельной болезни: «Моя усталая больная голова привыкла на тебе, на тебе единственно во всем мире, останавливаться с мыслью о бескорыстном участии» (Собр. соч., т. V, стр. 554).

Поэма «Мороз, Красный нос» писалась в 1863 г., когда правительство Александра II, испуганное революционным подъемом, выступило в поход против передовой демократии.

Воспользовавшись паникой, вызванной знаменитыми петербургскими пожарами 1862 года, власти приостановили некрасовский журнал «Современник», арестовали вождя революционной демократии Н. Г. Чернышевского, заключили в крепость Д. И. Писарева. Обыски и аресты в среде молодежи стали обычным явлением. Либералы отшатнулись от демократических масс.

Польское восстание 1863 года было использовано самодержавием для дальнейшей полицейской расправы со своими врагами.

Естественно, что, переживая этот разгром, Некрасов испытывал

очень тяжелое чувство. Отсюда его мрачные строки о том, что его творчеству приходит конец, что это — его последняя песня, которая —

Будет много печальнее прежней,
Потому что на сердце темней
И в грядущем еще безнадежней.

Но даже эта поэма, которую сам Некрасов называет «печальной», свидетельствует о его оптимистической вере в грядущее торжество народа. Всеми ее величавыми образами Некрасов убеждает читателя, что как бы ни была в ту пору мучительна крестьянская жизнь, сами крестьяне так мудры и мужественны, так богаты огромными духовными силами, их быт, несмотря ни на что, так гармоничен, устойчив и крепок, что нет на свете такого врага, которого не могли бы они сокрушить в борьбе за свое всенародное счастье.

Хотя в этой поэме изображаются похороны, но не они составляют ее главную тему. Главная тема ее заключается в том, как крепка и прекрасна народная жизнь, сколько силы, доброты и величия в русском простом народе.

Замечательно, что в эту поэму, равно как и в поэму «Кому на Руси жить хорошо» (которую Некрасов начал писать в том же 1863 году), он вводит фантастические образы, подсказанные ему фольклором. В одной поэме — скатерть-самобранка и волшебная птица, в другой — знаменитый Мороз-воевода. Это свидетельствует об органической близости поэта к фольклору, к устной народной поэзии.

О том, как Некрасов использовал для своей поэмы народную сказку «Морозко», народные похоронные причитания, обряды, поверья, обычаи, — см. статью Н. Андреева «Фольклор в жизни Некрасова» (см. сб. «Некрасов в русской критике». М.-Л., 1944, стр. 165—168). Н. Андрееву принадлежит указание, что слова самой Дарьи: «Стала скотинушка в лес убираться, стала рожь матушка в колос метаться» — являются переложением слов из сборника Афанасьева: «Стала мать рожь на колос метаться, скотинушка в лес убираться» (А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки, изд. 3-е, т. II, М., 1897, стр. 439).

1864

Памяти Добролюбова. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 176—177. Впервые — С 1864, № 11—12, стр. 276.

Петр Вейнберг в своих воспоминаниях о Добролюбове между прочим сообщил, что за несколько минут до его смерти он «...увидел, что Некрасов, черствый, холодный Некрасов, которого все знали именно таким <!>, плакал. Под тяжелым впечатлением страдающего Добролюбова он произнес тогда те слова, которые потом вылились у него в форме его знаменитого стихотворения: «Какой светильник разума угас! ..» («Россия», 1901, стр. 946).

Впоследствии Некрасов сделал к этим стихам примечание: «Надо заметить, что я хлопотал не о верности факта, а старался выразить тот идеал общественного деятеля, который одно время лелеял Добролюбов».

В третьей строке цензура вычеркнула слова «для свободы», поэтому Некрасову пришлось написать «для отчизны». Вследствие этого первая строка была переделана так:

Суров ты был, ты на расцвете жизни...

Восклицание Некрасова:

Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало! —

В. И. Ленин процитировал в качестве эпиграфа к некрологу Фридриха Энгельса (Сочинения, т. II, изд. 4-е, стр. 5).

Притча о Ермолае трудящемся. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 173. Впервые — в Стих 1869, ч. IV, стр. 169.

Железная дорога. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 127—137. Впервые — С 1865, № 10, стр. 547—552.

Стихотворение основано на подлинных фактах, относящихся к постройке Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги между Петербургом и Москвой (1842—1852). Строил эту дорогу главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями П. А. Клейнмихель (1793—1868), николаевский сановник аракчеевской школы. Чтобы щегольнуть перед царем быстротою постройки, он не щадил ни здоровья, ни жизни рабочих (см. А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни, т. I, М.-Л., 1930, стр. 388—590).

Участвовавший в постройке инженер В. А. Панаев, близкий приятель Некрасова, вспоминал впоследствии о положении этих рабочих:

«Землекопы преимущественно нанимались в Витебской и Виленской губерниях из литовцев. Это был самый несчастный народ на всей русской земле, который походил скорее не на людей, а на рабочий скот, от которого требовали в работе нечеловеческих сил без всякого, можно сказать, вознаграждения» (РС, 1901, № 7, стр. 39).

Это подтверждает и официальный доклад тогдашнего ревизора Мясоедова, опубликованный в «Архиве истории труда». Оказывается, что за полгода каторжной работы землекопы получали в среднем 19 рублей (то есть три рубля в месяц), что у них нехватало ни одежды, ни обуви, что, пользуясь их темнотой, приказчики обсчитывали их на каждом шагу, а когда один из них выразил недовольство казенным пайком, его наказали плетьми. В другой раз жандармы выпороли 80 рабочих из партии в 728 человек. Доведенные до крайнего отчаяния, рабочие то и дело убегали на родину, но их ловили и приводили назад.

Впоследствии Некрасов, по цензурным условиям, выбросил из эпиграфа имя Клейнмихеля и заменил его словом инженеры. Но мы сочли необходимым восстановить первоначальную редакцию.

Возможно, что замысел этой поэмы возник у Некрасова в 1860 г. под влиянием статьи Н. А. Добролюбова «Опыт отучения людей от пищи», в которой была изображена бесчеловечная эксплоатация рабочих подрядчиками при постройке железных дорог. «Рабочих не кормят по нескольку дней, привозят и пускают в голую, бесплодную степь, без хлеба, без всяких запасов, на 40° жару, не заготовивши

им никаких помещений, не пославши с ними ни лекаря, ни медикаментов... Как тут не умереть человеку?..» («Современник», 1860, № 5, «Свисток», стр. 17; Полное собрание сочинений Н. А. Добролюбова, т. VI. 1939, стр. 130—131).

6 мая 1864 г. цензурный комитет запретил печатание «Железной дороги», так как в этих стихах «объясняется генеральскому сыну картина мучений, испытываемых рабочим людом при постройке железных дорог; генерал — представитель другого быта, другого сословия, смеется над участью рабочих» (В. Евгеньев-Максимов. Некрасов как человек, журналист и поэт. Л., 1928, стр. 237).

Через год Некрасов, пользуясь освобождением журналов от предварительной цензуры, напечатал «Железную дорогу» в «Современнике», выбросив несколько наиболее «дерзостных» мест: строфу о голоде («Водит он армии» и пр.) и строфу об эксплоатации рабочих подрядчиками («Все заносили десятники в книжку»).

В подзаголовке он написал, что стихотворение посвящается детям, а в конце поставил дату: 1855 год, указывая таким образом, что его сатира якобы относится к предыдущему царствованию.

Но эти меры не спасли его стихов. Член совета главного управления по делам печати Мартынов дал такой отзыв о «Железной дороге»: «Нельзя без содрогания читать эту страшную клевету... на первое благодетельное предприятие нашего правительства к усовершенствованию на западный образец наших путей сообщения... Автор утверждает, что люди, употребленные на работах, гроб обрели здесь себе, что рельсы дороги, вместо подушек, укрепляемы чуть ли не на косточках русских, что начальство секло народ, предоставляя ему мерзнуть и гибнуть от цынги в землянках. Не удовольствуясь общими выражениями наглой клеветы, автор позволяет себе даже сделать произвольное исчисление мучеников, потерпевших смерть за железную дорогу, утверждая, что таковых пять тысяч» (В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». Л., 1939, стр. 107—108).

Возмущало Мартынова также и то, что в эпиграфе упомянут граф Клейнмихель — очевидно, с целью возбудить в читателях негодование против этого имени, рассчитывая на страшную эффектность стихотворения. Мартынов находил, что стихотворение Некрасова «Железная дорога» заслуживает нарекания и преследования, как представляющее сооружение этого пути результатом притеснения народа со стороны правительства, «с возбуждением негодования против высшего правительственного лица».

Совет согласился с Мартыновым, и 4 декабря 1865 г. министр внутренних дел П. А. Валуев определил объявить второе предостережение журналу «Современник» в лице издателя-редактора дворянина Николая Некрасова и редактора, состоящего в чине VIII класса, Александра Пыпина (там же, стр. 110—111). Для Некрасова это было большой неприятностью, но уже в марте 1866 г. (в «Песнях о свободном слове») он посмеялся над распоряжением министра:

Все пошатнулось! О, где ты,
Время без бурь и тревог?..
В бога не верят газеты,
И отрицают поэты
Пользу железных дорог. .

Влияние «Железной дороги» на тогдашнюю молодежь было огромно. Замечателен в этом отношении рассказ Плеханова:

«Я был тогда в последнем классе военной гимназии. Мы сидели после обеда группой в несколько человек и читали Некрасова. Едва мы кончили «Железную дорогу», раздался сигнал, звавший нас на фронтовое учение. Мы спрятали книгу и пошли в цейхгауз за ружьями, находясь под сильнейшим впечатлением всего только что прочитанного нами. Когда мы стали строиться, мой приятель С. подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: «Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский народ!» Эти слова, произнесенные украдкой в нескольких шагах от строгого военного начальства, глубоко врезались в мою память; я вспоминал их потом всякий раз, когда мне приходилось перечитывать «Железную дорогу» (Г. В. Плеханов. Сочинения. Изд. 2-е, т. X, 1925, стр. 389).

Святой Стефан — собор в Вене, памятник средневекового зодчества. *Или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка* — перифраза строк Пушкина:

Тебе бы пользы все — на вес
Кумир ты ценишь бельведерский...
. . . .
Печной горшок тебе дороже;
Ты пищу в нем себе варишь.

Возвращение. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 171—172. Впервые — С 1865, № 9, стр. 32.

В этих стихах Некрасов изображает свое возвращение на родину после пребывания за границей весною и летом 1864 г. Вероятнее всего, стихи сложились у него по дороге в Карабиху, куда он приехал осенью.

Начало поэмы. Печатается по Стих 1873, ч. IV, стр. 244—246. Впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 239—240.

Во второй строфе Некрасов вспоминает, что он в Италии писал о русских ссыльных. Это было в 1856 г., когда он жил в Риме и заканчивал поэму «Несчастные».

1865

О погоде. *Часть вторая*. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 9—16. Впервые — первая сатира — С 1865, № 2, стр. 541—545.

I. Крещенские морозы. *«Самоед на Неве удивляется»*. — Самоедами в ту пору назывались ненцы. Приезжали они в Петербург ежегодно. Еще в 1859 г. в некрасовском журнале было напечатано такое известие: «В Петербург приехали самоеды из Архангельска с оленями показывать себя и прокатывать на оленях петербургских жителей. Они устроили на Неве юрту и покрыли ее оленьими шкурами. Олени запряжены по четверке в маленькие санки...» («Современник», 1859, № 2, стр. 414). Итальянская певица *Анджиолина Бозио*, которая упоминается в этих стихах, с огромным успехом выступала на петербургской сцене и умерла от простуды в 1859 г. *«Никакие известья из Вильно, никакие статьи из Москвы»*. — Под заголовком: «Известия из Вильно» в тогдашних газетах печата-

лись сообщения о польском восстании. В «Московских Ведомостях» помещал статьи против поляков ретроградный публицист М. Н. Катков.

II. Кому холодно, кому жарко. В журнале заглавие кончалось восклицательным знаком. Цензура не разрешила строки:

Где катаются сами цари.

И потому в «Современнике» было:

Где катаются моды цари.

Шпиль за угрюмой Невою — то есть Петропавловская крепость, где были заключены революционеры. Место казни декабристов. *«Над Думой показались два красных шара».* — Эти деревянные шары были сигналом пожара; они вывешивались на высокой башне городской думы (на Невском проспекте) и на пожарных каланчах. Количество шаров зависело от того, в каком районе («части») города происходил пожар. *И на окнах аптек, в разноцветных шарах вверх ногами на миг отразилась...* — В то время отличительным признаком аптек были большие стеклянные шары, которые выставлялись на окнах.

Газетная. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 49—66. Впервые — С 1865, № 8, стр. 505—514.

«Газетной» называлась особая комната петербургского Английского клуба, предназначенная для чтения газет и журналов.

Стихотворение «Газетная» является откликом на тогдашнюю злобу дня. Незадолго до того (6 апреля 1865 г.) правительство Александра II даровало литераторам весьма своеобразную «свободу», издав закон о предоставлении «некоторых облегчений и удобств отечественной печати». По этому закону все газеты и журналы освобождались от предварительной цензуры. Но на деле «свобода печати» оказалась хуже цензурных тисков, потому что за малейшее нарушение цензурных правил были назначены тяжелые кары. Прежде за содержание статей отвечал главным образом цензор, теперь вся тяжесть ответственности падала на автора и редактора-издателя. Тем не менее в первой же «бесцензурной» книжке своего «Современника» Некрасов воспользовался этой мнимой свободой и напечатал «Газетную», где заклеймил ненавистных ему цензоров. Совет по делам печати, рассмотрев эту книжку «Современника», на основании нового закона нашел там немало «зловредных» статей — в том числе и стихотворение «Газетная», где «изображено в крайне оскорбительном виде звание Цензора».

Когда в ноябре «Современник» получил первое предостережение, «Газетная», несомненно, была одним из поводов к недовольству «Современником», хотя и не упоминалась в числе произведений, вызвавших административную кару (М. Лемке. Эпоха цензурных реформ. СПб., 1904, стр. 431).

Печатая «Газетную» в книге своих стихотворений, Некрасов, из цензурных соображений, снабдил ее таким предисловием:

«NB. Само собою разумеется, что лицо цензора, представленное в этой сатире, — вымышленное, и, так сказать, исключительное в ряду тех почтенных личностей, которые, к счастью русской литературы, постоянно составляли большинство в ведомстве, державшем до 1865 года

в своих руках судьбы всей русской прессы» (Стих 1869, ч. IV, стр. 48).

Предисловие издевательское, но оно было принято всерьез, и «Газетная» беспрепятственно появилась в печати.

Как видно из автографа (ЛБ), «Газетная» является лишь частью большой сатиры, которую Некрасов хотел написать об Английском клубе. Другая часть была впоследствии выделена поэтом в самостоятельную сатиру «Недавнее время» (1871), посвященную тому же клубу.

«Прав доныне старик Грибоедов» — намек на слова Фамусова в «Горе от ума»:

> Ей сна нет от французских книг,
> А мне от русских больно спится.

«Просто Толстой» — Феофил Матвеевич Толстой (1809—1881), цензор, композитор и романист, автор повестей и рассказов, главным образом из жизни великосветского общества. *«До того расходилась печать, что явилась потребность субсидий».* — Начиная с 60-х годов правительство Александра II ввело, по европейскому образцу, систему подкупа прессы для борьбы с нарастающим революционным движением. *«Нам Катков предстоит великаном, мы Тургенева кушать зовем...».* — Сопоставление Тургенева с реакционером Катковым должно было восприниматься тогдашним читателем как резкий выпад против Тургенева. *Вральня* — комната московского Английского клуба. А. И. Дельвиг указывает, что вице-президентом вральной комнаты был М. Н. Лонгинов (А. И. Дельвиг. Мои воспоминания, т. III, М., 1913, стр. 23). *«Инвалид»* — официальная газета военного министерства «Русский Инвалид», в которой, наряду с другим газетным материалом, печатались приказы о служебных перемещениях, назначениях и наградах. Цензор в «Газетной» упоминает ряд умеренных либералов, реакционная роль которых была видна и тогда. Но в отсталой России даже эти реакционеры-парламентарии казались охранителям «красными». Поэтому и реформист *Маколей* и демагог *Гизо*, проводивший во Франции крайне консервативную политику в угоду дворянской олигархии, оказываются в одном ряду с «кровопийцей» Прудоном, запальчивым пропагандистом мелкобуржуазного анархизма. *Тьер*, ныне известный как палач Коммуны 1871 г., в те времена заявлял о своей принадлежности к «партии революции» и мог быть причислен русскими ретроградами к «злодеям» (то есть к борцам за свободу). *Канупер* — ядовитое растение (*Balsamina vulgaris*).

Песни о свободном слове. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 67—100. Имя Пановского в ст. 19 песни «Фельетонная букашка» восстановлено по С 1866, № 3, стр. 5. Ст. 36 восстановлен конъектурно.

Впервые цикл был напечатан в С 1866, № 3, стр. 5—20, в составе восьми песен: «Рассыльный», «Наборщики», «Журналист-руководитель», «Журналист-рутинер», «Поэт», «Литераторы», «Фельетонная букашка», «Публика».

О тех цензурных реформах, которыми вызваны «Песни о свободном слове», см. примечание к стихотворению «Газетная» (стр. 487).

Особенно пострадал от этих реформ некрасовский «Современник». 10 ноября 1865 г. министр внутренних дел П. А. Валуев объявил «Современнику» первое предостережение, 4 декабря — второе. Два предостережения были серьезной угрозой журналу, так как после третьего он подлежал закрытию.

В стихотворении «Наборщики» выражено глубокое сочувствие Некрасова типографским рабочим, которые в то время вынуждены были трудиться в антигигиенических условиях по 14 и 16 часов в сутки.

«Что в Петербурге климат плох». — Когда в 40-х гг. об этом написал Фаддей Булгарин, один из жандармов грозно заметил ему: «Ты, ты у меня! вольнодумствовать вздумал!? Климат царской резиденции бранишь!? Смотри!» (П. Каратыгин. Бенкендорф и Дубельт. — «Исторический Вестник», 1887, № 10, стр. 168). Возможно, что в данном случае Некрасов имел в виду следующие строки Н. А. Добролюбова: «Либерал восхищался нашим прогрессом... Но после всех этих восхищений либерал, осмотревшись вокруг себя и наклонясь к уху своего приятеля, замечал для большей безопасности по-французски: «но климат — отвратителен, мой друг». И затем снова боязливо осматривался» («Современник», 1861, № 8, стр. 399). *«Все лишь подобье».* — В передовице аксаковского «Дня» по поводу уничтожения предварительной цензуры были такие строки: «Всмотритесь пристально вокруг себя — что вы увидите? Толпу призраков, теней или, вернее сказать, подобий, вы окружены подобием всего» («День», 1865, № 313). *«Ясно — премудрый Аксаков, автор премудрого «Дня!»* — Ив. Аксаков, славянофил, редактор газеты «День». Называя эту газету премудрой, поэт тем самым напоминал о статье Антоновича «Суемудрие «Дня» («Современник», 1865, № 10, стр. 181), за которую (наряду с «Железной дорогой») Валуев и объявил журналу второе предостережение. В статье разоблачалась реакционная сущность передовиц Аксакова, прикрывавшаяся мнимо радикальными фразами (М. А. Антонович. Избранные статьи. Л., 1938, стр. 398). *«Мы же должны мужикам!»* — Здесь Некрасов снова напоминает о статье «Современника», вызвавшей репрессии П. А. Валуева. Один из подзаголовков этой статьи был таков: «Как измерить примерно долг народу цивилизованных классов?» Написана она была Ю. Г. Жуковским. В ней доказывалось, что, судя по налогам, которые государство взимает с крестьян, так называемые культурные классы (то есть дворяне) должны крестьянам около шести миллиардов («Современник», 1865, № 9, стр. 92). *«И отрицают поэты пользу железных дорог!»* — новая насмешка над министром Валуевым, который объявил второе предостережение «Современнику» за напечатание некрасовской «Железной дороги» (наряду с «Суемудрием «Дня»). *«Он положеньем Ташкента разволновался, как лев».* — 30 ноября 1865 г. совет главного управления по делам печати нашел, что в газете «Голос» (№ 325) в статье по поводу принятия Ташкента под покровительство России заключаются «резкие порицания и неприличные суждения о правительственных мероприятиях», и постановил объявить первое предостережение газете «Голос» (см. «Сборник постановлений и распоряжений по делам печати с 5 апреля 1865 г. по 1 августа 1868 г.» СПб., 1868, стр. 75—76). *«Даже коснулся министра неустрашимый Катков».* — В газете «Московские Ведомости» реакционный публицист Катков изобличил либеральствовавшего мини-

стра народного просвещения А. В. Головнина в том, что он действовал на два фронта, одновременно заискивая перед Катковым и поощряя его врагов (М. Лемке. Эпоха цензурных реформ. 1904, стр. 352—357).

Так как в последнем отрывке стихотворения «Осторожность» (о пожаре в селе Остожье) было задето духовное ведомство, отрывок удалось напечатать лишь в 1869 г. в новом издании стихотворений Некрасова.

Вторая строка «Литераторов» в автографе читается так:

(Писцов, Дворянчиков, Кутьин).

Эти три фамилии несомненно указывают на три разных социальных слоя, которые по-разному отнеслись к дарованной им «свободе печати». Писцов — чиновник, Дворянчиков — помещик, Кутьин — разночинец (от слова кутья, которым дразнили тогда лиц духовного звания). В то время как чиновники и помещики встречают «свободу» с восторгом, разночинец Кутьин скептически качает головой.

«Господин Пановский» — Н. М. Пановский (1802—1872), московский фельетонист, близкий сотрудник катковских изданий. *«Курил на улицах сигары».* — Курение на улицах и в общественных местах воспрещалось. Это нелепое стеснение было отменено только в 1865 г. особым постановлением государственного совета (А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. М.-Л., т. II. 1930, стр. 319).

Стихотворение «Пропала книга!» написано по следующему поводу. В 1866 г. фельетонист либеральных «Петербургских Ведомостей» А. С. Суворин (впоследствии издатель и редактор ретроградной газеты «Новое Время») напечатал фельетонную повесть «Всякие. Очерки современной жизни». Эта книга еще до выхода в свет была арестована, и 20 декабря 1866 г. петербургская судебная палата (вслед за окружным судом) приговорила ее к уничтожению, найдя в ней: «1) оскорбительные и направленные к поколебанию общественного доверия отзывы о постановлениях и распоряжениях правительственных установлений, 2) одобрение действий, запрещенных законом, с целью возбудить неуважение к законам, 3) оскорбление высшего слоя общества».

Книга эта замечательна тем, что в ней (под именем Самарского) сочувственно изображен Н. Г. Чернышевский, незадолго до того (в 1864 г.) сосланный на каторгу. В книге указывалось, что вынесенный ему приговор был основан на фальшивых документах, и даже было названо имя того лжесвидетеля, который создавал эти фальшивки: по словам автора, Самарский «погиб от подделок под его руку письма каким-то Всеволодом Теломаровым», т. е. Всеволодом Костомаровым («Сборник сведений по книжно-литературному делу за 1866 г.», М., 1867, ч. II, стр. 87—123; А. С. Суворин. Всякие. Очерки современной жизни. Изд. 2-е, СПб., 1909).

Это разоблачение преступных махинаций сената и царской охранки было настоящей причиной уничтожения книги Суворина. Кроме Чернышевского, в повести выведен М. Л. Михайлов (под именем Ильменева).

Некрасов именно потому и отнесся к этой книге с таким горячим сочувствием, что в ней заключался протест против расправы с Н. Г. Чернышевским.

Этой «пропавшей книге» и посвящено стихотворение Некрасова.

В. И. Ленин использовал двустишие из «Песен о свободном слове» в статье «Эсеровские меньшевики»: народный социалист Пешехонов спрашивает, «можно ли взять всю землю?» и тоже отвечает *нельзя*. Осторожность, осторожность, осторожность, господа!» (В. И. Ленин. Сочинения, т. XI, изд. 4-е, стр. 174).

1866

Балет. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 27—48. Впервые — С 1866, № 2, стр. 608—618.

Сила этой сатиры — в резком контрасте крестьянского горя и бессмысленной праздности социальных верхов. На таких «очных ставках» угнетенной и бесправной деревни с «ликующими, праздно болтающими, обагряющими руки в крови» основаны многие сатиры Некрасова: «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», «Современники», пьеса «Как убить вечер» и пр.

Те стихи «Балета», где трактуется тема всеобщего безденежья, были написаны Некрасовым несколькими годами ранее и предназначались для сатиры «Клуб», которая впоследствии была напечатана под заглавием «Недавнее время». Эта тема в ту пору была злободневной (см. брошюры: «Два современные вопроса: безденежье и дороговизна», СПб., 1860; Н. Тарасенко-Отрешков. Причины нынешнего безденежья и средства к ослаблению их действия. СПб., 1861; А. Красильников. Наше безденежье. СПб., 1864, и др., указанные А. Максимовичем в его статье «Некрасов — участник «Свистка». — ЛН, стр. 316).

«Стихотворение Н. Некрасова «Балет» навеяно впечатлениями от балетов «Дочь фараона», «Конек-горбунок» и танца «Мужичок», — говорит Ю. Слонимский в своей книге «Мастера балета» (М.-Л., 1937, стр. 280).

О танце «Мужичок», вызвавшем иронию Некрасова, в той же книге приводится следующий отзыв современной печати: «Особенно наэлектризовала г-жа Петипа публику в «Мужичке» в национальном русском костюме, в плисовых шароварах, в красной рубахе, с отвороченными сапожками и в ямщицкой, украшенной павлиным пером, шапочке набекрень» (там же, стр. 212).

Рита Бернарди — итальянская певица. *Мышиный жеребчик.* — Некрасов имеет в виду следующее место «Мертвых душ»: «...семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички-щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам» (Часть 1, гл. VIII). *М. С. Петипа (Суровщикова)* — известная характерная танцовщица, жена балетмейстера Мариуса Петипа. *Андрей Адамович Роллер* — декоратор петербургских театров.

«Ликует враг, молчит в недоуменьи». Печатается по Стих 1873, ч. IV, стр. 246. Впервые с подзаголовком: «(Из Лары)» — Стих 1869, ч. IV, стр. 241.

В эпоху террора, наступившую после каракозовского выстрела (1866), Некрасов, желая спасти от гибели свой журнал «Современник», являвшийся в ту пору единственным органом революционной демократии, совершил большую политическую ошибку, о которой впоследствии весьма сожалел: принял участие в чествовании М. Н. Муравьева.

По словам Некрасова, стихотворение «Ликует враг» написано в тот же день, когда были написаны стихи, произнесенные им в Английском клубе М. Н. Муравьеву (ЛН, стр. 192).

Текст некрасовской оды до сих пор неизвестен. П. И. Бартенев, а вслед за ним и другие ученые опубликовали, в качестве этой оды, стихи, автором которых, как выяснилось впоследствии, было другое лицо («Русский архив», 1885, № 2, стр. 202; Ч. Ветринский (В. Е. Чешихин). Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников, письмах и несобранных произведениях. Под редакцией А. Е. Грузинского. М., 1911, стр. 280—281). Хотя редактор настоящего тома в своей статье «Поэт и палач» высказал (вслед за М. Лемке) сомнение в принадлежности опубликованной оды Некрасову и привел ряд аргументов, подтверждающих эти сомнения (К. Чуковский. Некрасов. Л., 1926, стр. 15), но, положившись на авторитет вышеупомянутых исследователей, он не счел себя вправе, на основе своих личных сомнений, исключить эту оду из числа стихотворений Некрасова. То была большая ошибка, на которую указал Б. Бухштаб в статье «О муравьевской оде Некрасова» («Каторга и ссылка», 1933, № 12; перепечатана в сб. «Некрасов в русской критике». М.-Л., 1944, стр. 183—189).

Песни. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 178—186. Песня «Сват и жених» впервые — ОЗ 1868, № 4, стр. 531—532. Песня «Гимн» впервые — ОЗ 1868, № 2, стр. 322. Остальные три песни впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 174—182.

Первые четыре песни написаны народным языком, но в них, по словам фольклориста Н. Андреева, не обработка непосредственного фольклорного материала, а самостоятельное творчество Некрасова в духе и стиле фольклора. «Фольклор отчасти подсказывает автору темы (отчасти — потому, что темы эти существовали и в самой жизни), фольклор (опять-таки отчасти) подсказывает ему и формы... Песня «У людей-то в дому — чистота, лепота» написана анапестом; анапест вместе с хореем является размером, наиболее свойственным фольклорному материалу... Песенность «Катерины», по свидетельству того же ученого, настолько велика, что произведение это стало действительно песней и вошло в широкий песенный обиход. Некоторой аналогией к песне «Молодые» является фольклорная песня такого характера:

Хвалилася теща зятем:
У моего зятюшки
Нет ни ус, ни бородушки,
Ни сохи, ни боронушки,
Землицы ни бороздушки,
На току ни кладушечки,
На столе ни краюшечки.

Однако у Некрасова значительно острее подчеркнута ирония в изображении «богатства» «молодых» («Это — стойлице коровье, а коровку — бог прибрал» и т. д.).

«Молодые» и «Сват и жених» написаны четырехстопным хореем, но без дактилических окончаний и с более четкими ритмическими ударениями, что придает этим песням несколько рубленый, скороговорочный, прибауточный характер (это особенно естественно для «Свата и жениха», где скороговорочность и прибауточность усилена и подчеркнута соседней рифмовкой) (Н. Андреев. Фольклор в поэзии Некрасова. Сб. «Некрасов в русской критике». М., 1944, стр. 162 и 163).

1867

«Умру я скоро. Жалкое наследство...» Печатается по Стих 1873, т. II, стр. 228—230. Впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 224—226.

Тема этого стихотворения имеет непосредственную связь с обстоятельствами, изложенными в примечании к стихотворению «Ликует враг» (см. настоящий том, стр. 492).

В. И. Ленин цитировал стихотворение «Умру я скоро», чтобы показать, что либералы-кадеты напрасно «хватаются за фалды» Некрасова: «Некрасов, — говорил Ленин, — по той же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал своих «грехи» и *публично каялся* в них:

Не торговал я лирой, но бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры *звук неверный* исторгала
Моя рука...

«Неверный звук» — вот как называл сам Некрасов свои либерально-угоднические грехи» (В. И. Ленин. Сочинения, т. XVIII, изд. 4-е, стр. 287).

Стихотворение является ответом на укоризненное анонимное послание, полученное Некрасовым 4 марта 1866 года и подписанное «Неизвестный друг».

Незадолго перед смертью поэт, подготовляя новое издание своих стихотворений, написал на полях возле слов «Неизвестному другу»: «Невыдуманный друг, но точно неизвестный мне... Где-нибудь в бумагах найдете эту пьесу, превосходную по стиху. Ее следует поместить в примечании» (Стих 1879, т. IV, стр. XXIII). Автор анонимного послания к Некрасову до сих пор не установлен: оно приписывалось Е. П. (?) Владимирской, П. А. Гайдебурову и даже И. С. Никитину (!) (см. «Свисток». Сб. 1. М., 1922, стр. 163; «Литературный Вестник», 1903, т. V, кн. 1, стр. 119—120 и сообщение В. Е. Евгеньева-Максимова).

Выбор. Печатается по Стих 1873, т. II, стр. 165—170. Впервые — ОЗ 1868, № 1, стр. 75—76.

В одном из черновых вариантов поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Матрена Корчагина, рассказывая странникам свою горькую жизнь, обращалась к ним с такими словами:

Крестьяне, сами знаете,
Какая баба русская
Раз двадцать на веку
Не подходила к проруби,
Не думала повеситься?

Эти строки могут служить комментарием к стихотворению «Выбор»: по мысли Некрасова, тогдашние крестьянки видели в самоубийстве единственное средство спасения от своей тягостной доли — и весь вопрос заключался для них только в выборе между петлей и прорубью.

Медвежья охота. Сцены из лирической комедии. Печатается по Стих 1873, том II, ч. IV, стр. 187—216. Впервые — ОЗ 1868, № 9, стр. 1—16.

Весною 1867 г. Некрасов уехал во Флоренцию, взяв с собой начатую в России стихотворную драму «Как убить вечер». Содержание драмы таково: несколько праздных богачей приехали в глушь развлечься медвежьей охотой и случайно познакомились с молодой красавицей Любой Тарутиной, которая мечтает о поступлении на столичную сцену. Девушка просит приезжих помочь ей, не подозревая, как бесчеловечно относятся к ней эти люди (см. Н. Некрасов. Тонкий человек. М., 1928, стр. 271—319).

Пьеса осталась неоконченной. Вместо нее Некрасов начал во Флоренции новую — «Медвежья охота». Хотя в этой новой пьесе сохранились те же персонажи (за исключением Любы и Лесничего), но прежняя фабула была уничтожена, и пьеса превратилась в собрание монологов на общественные темы. Некрасов и эту пьесу не довел до конца. Перед смертью он написал о ней на полях своей книги:

«Несколько раз я принимался окончить эту пьесу, которой содержание само по себе интересно, и не мог — скука брала. Вообще свойство мое таково — как только сказал, что особенно занимало, что казалось важным и полезным, так и довольно, — скучно досказывать басню. Если найду время, расскажу прозой с приведением отрывков» (Стих 1879, т. IV, стр. XXV—XXVI).

Времени «досказать басню» поэт не нашел, и мы можем только догадываться, что в конце пьесы он хотел изобразить гибель своей героини, доверившейся столичным развратникам. Публицистические темы отвлекли его от первоначального замысла.

Миша Воинов, выведенный в пьесе «Как убить вечер», — историк литературы XVIII века М. Лонгинов (1823—1875), впоследствии начальник главного управления по делам печати. В первой половине пятидесятых годов был умеренным либералом, дружил с Некрасовым и сотрудничал в журнале «Современник», но по мере повышения в чинах все ближе примыкал к реакционерам и вскоре сделался одним из самых воинственных мракобесов. В первом варианте «Медвежьей охоты» поэт отнесся к Лонгинову гораздо суровее и придал ему большее портретное сходство. Здесь же Лонгинов очерчен мягче и туманнее. Это, так сказать, либерал на казенной подкладке. Он в высшей степени доволен тем «прогрессом», который установился при Александре II. «Медвежья охота» написана вскоре после разгрома, которому подверглись представители революционной

демократии в середине шестидесятых годов. При этом разгроме обнаружилась контрреволюционная сущность либерального «общественного мнения». Вторая половина «Медвежьей охоты» посвящена оценке дворянского либерализма сороковых годов. Здесь образ *Миши* теряет свое сходство с М. Н. Лонгиновым. Поэт придает ему другую идейную сущность, *Миша* становится выразителем убеждений Некрасова. Поэт влагает этому персонажу в уста свои поэтические характеристики деятелей эпохи сороковых годов. Есть основания думать, что три отрывка были вначале написаны Некрасовым отдельно в виде самостоятельных стихотворений и лишь впоследствии были связаны между собою в «Медвежьей охоте». Как выяснилось недавно, некоторые стихи о Грановском написаны еще в 1855 г. Восьмистишие, начинающееся словами: «Бог на помочь! бросайся прямо в пламя» — написано в 1861 г. и в рукописи озаглавлено: «Молодому поколению».

Когда цензор Лебедев делал доклад о направлении «Отечественных Записок», он обратил внимание на «Медвежью охоту»: «В этой пьесе преданы осмеянию молодые бюрократы, представленные людьми формы и слова, а не дела, в ней весьма неуместно, между прочим, описание времен 40-х годов, в которые будто приходилось всякому мыслящему человеку задыхаться от невыносимого гнета» («Голос Минувшего», 1918, № 4—6, стр. 86). Из поэмы Некрасова взято В. И. Лениным выражение «диалектик обаятельный» в ироническом применении к лидеру кадетской партии П. Н. Милюкову (В. И. Ленин. Сочинения, т. X, изд. 4-е, стр. 202). Разоблачая ликвидаторов в статье «Наши упразднители», В. И. Ленин писал, цитируя стихи из «Медвежьей охоты»: «Про г. Потресова и К° нельзя повторить известного стиха: «они не предали, они устали свой крест нести; покинул их дух гнева и печали на полпути» (В. И. Ленин. Сочинения, т. XVII, изд. 4-е, стр. 50). *Сам Гомер не смел Омиром называться.* В эпоху цензурного террора (1848—1855) цензура находилась в ведении мрачного изувера, министра народного просвещения кн. П. А. Ширинского-Шихматова, который в 1852 г. запретил произносить греческие слова «по Эразму», т. е. потребовал, чтобы в университетах и школах вместо «герой» произносили и писали «ирой», вместо «Гомер» «Омир» и т. д., ибо такое произношение было утверждено православной церковью введением в духовные училища» (С. М. Соловьев. Записки. М., 1915, стр. 139—140, и А. Горнфельд. Омир и Гомер. — «Резец», 1939, № 6, стр. 21).

Песня о труде. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 217—219. Впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 213—215.

Эту песню поет Остроухов во втором действии пьесы «Как убить вечер» (первоначальная версия «Медвежьей охоты»). Песню хвалит Миша: («отличные куплеты») на что Сухотин отзывается:

А что всего странней, — что их сложил
Ленивейший, бездеятельный трутень.

(Н. Некрасов. Тонкий человек и другие неизданные произведения. М., 1928, стр. 309).

Песня. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 220—221. Впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 216—217.

Г. В. Плеханов по поводу этого стихотворения писал:

«Скажите, согласилась ли бы объявить его чуждым поэтического вдохновения одна из тех до сих пор многочисленных у нас девушек, которые рвутся на простор, — куда-нибудь «на курсы», в Петербург, в Москву, за границу — и которым приходится встречать любвеобильное, нежное, но тем труднее преодолеваемое сопротивление со стороны матерей, отцов или вообще близких лиц» (Сочинения. Изд. 2-е, т. X, 1925, стр. 338).

Вначале эта песня называлась «Песней Любы», но перед смертью Некрасов зачеркнул последнее слово и написал на полях: «Нужно большое примечание — если успею. Мать девочки была трагическая актриса».

Сделать большое примечание он не успел, и композиционная связь «Песни Любы» с «Медвежьей охотой» оставалась неизвестна. Но в 1913 году был найден вариант этой лирической комедии, озаглавленный «Как убить вечер» (см. примечание к «Медвежьей охоте»). Тогда выяснилось, что Люба — это та провинциальная девушка Тарутина, которая стремится стать актрисой. Мать Любы, бывшая актриса, и слышать не хочет о ее сценической карьере, так как ненавидит театр, в котором сама перенесла столько унижений и мук. Узнав, что в город приехали какие-то влиятельные господа из столицы, Люба отправляется к ним и просит их похлопотать перед матерью, чтобы мать отпустила ее на столичную сцену. Те предлагают ей спеть что-нибудь. Она отвечает:

Теперь не расположена я петь,
Но вы не будьте строги. Я готова
Вам песню спеть, которую певала
Я матери моей, когда еще надежда
Во мне была, что можно убедить
Упрямую несчастную старуху.

Садится к роялю и поет «Песню Любы»: «Отпусти меня, родная, отпусти, не споря!» (Н. Некрасов. Тонкий человек и другие неизданные произведения. М., 1928, стр. 270—319).

Человек сороковых годов. Печатается по тексту газ. «Новое Время», 1876, № 96, от 6 июня, где напечатано впервые. Двенадцатая строка по цензурным условиям во всех прежних изданиях читалась:

Незабываемых годов.

Но тогдашние читатели хорошо понимали, что речь идет о Николае I, ибо, с тех пор, как его наследник Александр II, вступая на престол, назвал его в одном из своих манифестов «незабвенным», это прозвище стало официальным эпитетом. Газеты так и писали в некрологах царя: «Августейший его преемник в порыве сыновней любви наименовал его незабвенным. Покойся на лоне вечности, незабвенный монарх! . . .» («Северная Пчела», 1855, № 51, 7 марта).

Нелегальная революционная пресса, вслед за Герценом, придала этому прозвищу иронический смысл и стала называть Николая I «неудобозабываемым»: см., например, в дневнике Т. Г. Шевченко: «полюбовался монументом неудобозабываемому», в «этом великолепном храме искусств сильно напечаталась казенная казарменная лапа неудобозабываемого дрессированного медведя» (Тарас Шевченко. Повна збірка творів, т. V. Киев, 1939, стр. 244 и 257).

Строки из этого стихотворения цитировал В. И. Ленин в статье, направленной против ликвидаторской группы Чхеидзе, «Как В. Засулич убивает ликвидаторство». «Одна из самых видных фигур — Чхеидзе, которого как будто пророчески предвидел Некрасов, когда писал:

...«Но иногда пройти сторонкой
В вопросе трудном и больном»...

(В. И. Ленин. Сочинения, т. XIX, изд. 4-е, стр. 371).

Стихотворения, посвященные русским детям. Печатается по Стих 1873, ч. IV, стр. 147—164. Впервые — ОЗ 1868, № 2, стр. 239—246.

I. Дядюшка Яков. В беловом автографе (ПБ) есть одна особенность, которую мы не воспроизводим, — в рефрене поставлено ударение: «Пó грушу, пó грушу». В печатном тексте Некрасов это ударение уничтожил. Весьма, впрочем, возможно, что то было не ударение, но указание на долготу звука «о».

Строки о сбоине маковой, повидимому, заимствованы из сборника Вл. Даля «Пословицы русского народа» (1862), где в отделе «Клич носячих» имеется фольклорная запись:

Ой, избоины маковой
Под окошками плакала,
На грош двá кома.
(стр. 588)

В тетради Некрасова, относящейся к самому началу 60-х годов, есть его собственноручная запись:

У дядюшки Якова
Сбоина макова
Больно лакома,
На грош двá кома.

II. Пчелы. В журнале напечатано вместе с «Дядюшкой Яковом» под общим заголовком «Стихотворения, посвященные русским детям», и к заголовку сделано примечание:

«Из приготовляемой к печати книги стихотворений для детского чтения».

Эта детская книга не вышла в свет, но в 1869 г. М. Е. Салтыков-Щедрин помянул ее в шуточном примечании к своей «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил». «Автор настоящего рассказа, — писал Щедрин, — предполагал издать книгу для

детского чтения, составленную из прозаических рассказов и стихотворений (последние принадлежат Н. А. Некрасову). Но предварительно он желал бы знать мнение публики, насколько намерение его осуществимо и полезно. С этой целью помещается здесь образчик детского рассказа».

III. Генерал Топтыгин. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 158—164. Впервые — ОЗ, 1868, № 2, стр. 240—246.

Суд. Печатается по Стих 1873, ч. IV, стр. 101—120. Стих 396 восстановлен по автографу ИЛИ, ф. 203, № 32. Впервые — ОЗ 1868, № 1, стр. 227—238.

В третьей книжке некрасовского «Современника» за 1866 г. была напечатана статья Ю. Г. Жуковского «Вопрос молодого поколения». Статья была направлена против помещиков, которым автор предсказывал неминуемое обнищание. «Когда разовьется новое царство кулаков-промышленников, тогда дворяне либо покумятся с кулаками, либо пойдут к ним в лакейскую службу», — такова была главная мысль статьи. За эту статью Ю. Г. Жуковский был привлечен к суду вместе с ответственным редактором «Современника», историком литературы А. Н. Пыпиным.

Дело слушалось 25 августа 1866 г. в петербургском окружном суде. По словам обвинительного акта, статья «вредила чести и достоинству всего сословия дворян-землевладельцев, так как в ней землевладельческое дворянство изображалось отличающимся перед другими сословиями преимущественно тунеядством и мотовством». Окружной суд вынес оправдательный приговор, но товарищ прокурора Н. Б. Якоби обжаловал это решение, и дело было перенесено в петербургскую окружную судебную палату, где слушалось 4 октября 1866 г. Защищал обоих подсудимых адвокат К. К. Арсеньев. Судебная палата приговорила А. Н. Пыпина и Ю. Г. Жуковского к денежному штрафу по сто рублей и к аресту на военной гауптвахте в течение трех недель каждого («Сборник сведений по книжно-литературному делу за 1866 год». М., 1867; «Архив села Карабихи», М., 1916, стр. 159—160)..

Под впечатлением этого судебного дела Некрасов написал свою «современную повесть» «Суд».

«Суд» предназначался для первой книжки возобновленных «Отечественных Записок», но после напечатания был вырезан оттуда по распоряжению цензуры.

Вечерний звон! вечерний звон! Как много дум наводит он! — строки из стихотворения И. И. Козлова «Вечерний звон». Строка «*Одно из славных русских лиц*» взята из «Казначейши» Лермонтова. Строка «*С печатью тайны на челе*» — из «Последних стихов» Д. В. Веневитинова. *Как голый пень среди долин...* — Неточная цитата из ранней редакции «Демона» Лермонтова, напечатанной в ОЗ 1859. Т. VII. У Лермонтова:

Таков осеннею порой
Среди долины опустелой
Один чернеет пень горелый...

(Сообщено И. Л. Андрониковым.)

Алексей Федорович Орлов (1787—1862) — шеф корпуса жандармов, главный начальник III отделения. Та «мораль», которую читал он Некрасову, излагается в сатире «Недавнее время». См. примечание к этой сатире (т. II). *«Модный Магазин»* (основан в 1862 г.) — иллюстрированный журнал. До 1881 г. редактор — С. Г. Мей, жена известного поэта. Программа журнала: «Распространять между нашими женщинами уменье хорошо одеваться, с соблюдением наибольшей экономии». В рукописи Некрасова «Модный Магазин» был сначала иронически назван «преступным».

Эй, Иван! Печатается по Стих 1873, ч. IV, стр. 139—146. Впервые — ОЗ 1868, № 2, стр. 373—376.

В 1869 г. по поводу этого стихотворения цензор Лебедев доносил в комитет по делам печати: «Здесь в самом возмутительном виде представлено положение бывшего крепостного человека, употреблявшегося на всевозможные работы и получавшего в награду одни побои («Голос Минувшего», 1918, № 4—6, стр. 86).

С работы. Печатается по Стих 1873, ч. IV, стр. 174—175. Впервые — ОЗ 1868, № 3, стр. 262.

Зачем меня на части рвете. Печатается по тексту К. И. Чуковского, восходящему к ныне утраченному беловому автографу и копии А. А. Буткевич. Впервые — ОЗ 1878, № 1.

Эта отповедь «остервенелой толпе» вызвана той травлей, которой подвергся Некрасов после каракозовских дней (см. примечание к стих. «Ликует враг», стр. 491).

На полях поэт написал: «Это написано в минуту воспоминания о мадригале <Муравьеву>. Хорошую ночь я провел!»

Стихи были напечатаны тотчас же после смерти поэта в статье Г. З. Елисеева «Внутреннее обозрение», которое было посвящено в первой своей части похоронам Некрасова. До читателя они не дошли, так как вся эта часть была, по распоряжению цензуры, вырезана из журнала.

Еще тройка. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 121—126. Впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 119—124.

На тройках в сопровождении жандармов отправляли в Сибирь революционеров. В ту пору, вскоре после каракозовских дней, такие «тройки» стали бытовым явлением.

Заглавие объясняется тем, что в первой части того же издания была напечатана «Тройка», ставшая популярным романсом («Что ты жадно глядишь на дорогу»).

В 1883 г., уже после смерти Некрасова, директор департамента полиции представил Александру III «Записку о направлении периодической прессы в связи с общественным движением в России». В «Записке» между прочим говорилось: «Некрасов со злобной насмешкой встретил меры правительственного преследования, которое постигло пропагандистов, и призывал новые силы на смену выбывающим». В подтверждение этой мысли автор цитировал стихотворение «Еще тройка» (Б. Папковский и С. Макашин. Некрасов и литературная политика самодержавия. — ЛН, стр. 526).

1868

Мать. Печатается по Стих 1873, ч. IV, стр. 226. Впервые — ОЗ 1868, № 10, стр. 530.

Подготовляя незадолго до смерти новое издание своих книг, Некрасов написал на полях этого стихотворения «Думаю — понятно: жена сосланного или казненного».

Высокую оценку этого стихотворения дал Г. В. Плеханов в своей статье о Некрасове: «Тут поэзия Некрасова, никогда не бывшего *революционером <?>, становится революционной поэзией*, и не удивительно, что отрывки, подобные только что приведенному, заучиваются наизусть русскими передовыми людьми. Такие отрывки нисколько не утратили значения до настоящего времени и не утратят его до тех пор, пока передовое человечество останется вынужденным силой пролагать дорогу к своему идеалу» (Г. В. Плеханов. Сочинения. Изд. 2-е, т. X, 1925, стр. 385).

Не рыдай так безумно над ним. Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 223—224. Впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 219—220.

«Навеяно смертью Писарева и посвящено М. А. Маркович», — написал поэт на своем экземпляре стихов. Критик Д. И. Писарев утонул в Дуббельне во время морского купанья 4 июля 1868 г. Его гражданская жена, известная украинско-русская писательница Мария Александровна Маркович (Марко-Вовчек), была потрясена этой смертью. 7 августа Некрасов прислал ей стихи «Не рыдай так безумно над ним» с такой запиской:

«Только Вам, Мария Александровна, решаюсь покуда дать это стихотворение. Писарев перенес тюрьму не дрогнув (нравственно) и, вероятно, так же встретил бы эту могилу, которая здесь разумеется, но ведь это исключение — покуда жизнь представляет более фактов противоположного свойства и поэтому-то и моя мысль приняла такое направление. Словом — Вы понимаете — так написалось» (Собр. соч., т. V, стр. 446).

Писареву было 28 лет, когда он утонул (род. 1840). С 1862 по 1866 г. он находился в заключении в Петропавловской крепости. По выходе его из тюрьмы Некрасов пригласил его сотрудничать в «Отечественных Записках», где Писарев и поместил свои последние статьи.

Об отношениях Некрасова и Писарева см. статьи Е. П. Казанович: «Некрасов и Писарев». — «Печать и революция», 1925, № 1, стр. 79, и «Д. И. Писарев после крепости». — «Звенья», т. VI, М.-Л., 1936, стр. 634—635.

К последним двум стихам Некрасов сделал примечание: «Пословица эта не выдумана. Ее можно найти в сборнике пословиц Даля».

«Душно! Без счастья и воли». Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 222. Впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 218.

Этими стихами начинается известная студенческая прокламация «Союза объединенных землячеств» («Литература и марксизм», 1930, № 2, стр. 72).

При жизни Некрасова в подзаголовке указывалось по цензурным причинам, что это стихотворение «Из Гейне». Но перед смертью Некрасов зачеркнул эту строчку и написал: «Собственное» (Стих 1879, т. IV, стр. LXXVII).

Дома — лучше! Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 225. Впервые — ОЗ 1868, № 10, стр. 120.

«Наконец не горит уже лес». Печатается по Стих 1873, т. II, ч. IV, стр. 227. Впервые — Стих 1869, ч. IV, стр. 223.

СОДЕРЖАНИЕ

---

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая — страницу примечания.

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

Редактор С. Рейсер

Художник И. Серов. Техн. редактор А. Кирнарская. М 16356. Подписано к печати 29/VI 1949 г. Печ. л. $33\frac{3}{4}$. Уч.-изд. л. 36,74. А. л. 35,66. Тираж 10 000. Цена 21 р. 60 к. Заказ № 329. Типография № 3 Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета